Цена свободная

Индекс 70250

«ДН» — 2017

Романы, повести:

Мария АНУФРИЕВА. Доктор Х и его дети. *Роман*
Ирина БОГАТЫРЁВА. Ганин. *Роман*
Алексей ИВАНОВ. Опыт № 1918. *Роман*
Хамид ИСМАЙЛОВ. Пляска бесов, или Большая игра. *Роман*
Керен КЛИМОВСКИ. Дорога. Скорость. Высоцкий. *Повесть*
Александр МЕЛИХОВ. Воскрешение Лаэрта. *Повесть*
Марина МОСКВИНА. КРИО. *Роман. Книга вторая*
Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Зять владыки. *Документальная повесть об Алексее Аджубее*
Сергей РЯЗАНЦЕВ. Кочевники проспекта Возрождения. *Повесть*
Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Новая повесть
Теймураз ТВАЛТВАДЗЕ. Небесная Call of Duty. *Повесть*
Ася УМАРОВА. Приходи свободной. *Повесть*
Левон ХЕЧОЯН. Чёрная книга, тяжёлый жук. *Роман. С армянского*
Владимир ШПАКОВ. Формула Атлантиды. *Роман*

Архив:

Лев АННИНСКИЙ — Игорь ДЕДКОВ. Из переписки 1973–1987 гг.
Александр ГЛАДКОВ. Из дневников и переписки с Надеждой МАНДЕЛЬШТАМ
Ольга КЛЮКИНА. Муравей на мониторе.
Как мы жили с Инной Львовной ЛИСНЯНСКОЙ летом на даче

Новые сочинения: Василия АВЧЕНКО, Ольги БРЕЙНИНГЕР, Алисы ГАНИЕВОЙ, Валерия БЫЛИНСКОГО, Дмитрия ВЕРЕЩАГИНА, Андрея ВОЛОСА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Фарида НАГИМА, Владимира НЕКЛЯЕВА, Ульи НОВЫ, Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Мариам ПЕТРОСЯН, Романа СЕНЧИНА, Александра СНЕГИРЁВА, Владимира ТОРЧИЛИНА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛИВИНСКОГО, Вадима МУРАТХАНОВА, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Александра ОРЛОВА, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Ильи ФАЛИКОВА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА, Санджара ЯНЫШЕВА и других авторов

Следите за рубриками:

«ДРУЖБА НА ВЫРОСТ»
«ПЕРВЫЕ СТИХИ» *Сергея НАДЕЕВА*
«БИБЛИОНАВТИКА» *Ольги БАЛЛА*
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР» *Евгения АБДУЛЛАЕВА*

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 2017, № 4, 1—256

ISSN 0012-6756

ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 4/2017

Олег Ермаков
Приключение странное
Повесть

«Спешу на голоса
и всматриваюсь в лица...»
Поэты многонациональной России

Александр Блинов
Мандариновая птица
Итальянские дневники и сказки

Олег Хлебников
Три отца и много дядек
Фрагменты документальной повести

Вера Зубарева
«Удвоенность молитв прими...»
Две родины в поэзии Беллы Ахмадулиной

4'2017

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.02.2017.
Подписано в печать 25.03.2017.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 5281. Цена свободная.

Дружба народов

4'2017

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Лев АННИНСКИЙ

Ирина ДОРОНИНА

Первый зам. главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Зам. главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Алла ГЕРБЕР
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
Александр ЭБАНОИДЗЕ
ЭЛЬЧИН
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

16+

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

«Спешу на голоса и всматриваюсь в лица...» *Поэты многонациональной России* **3**
Олег ЕРМАКОВ. Приключение странное. *Повесть* **12**
Герман ВЛАСОВ. Герой в пейзаже. *Стихи* **38**
Роман СЕНЧИН. К мужу. *Рассказ* **43**
Инга КУЗНЕЦОВА. Бумажная архитектура. *Стихи* **53**
Владимир МЕДВЕДЕВ. Лети вместе с ветром. *Повесть* **56**
Наталья ЛЯСКОВСКАЯ. С нетленного листа. *Стихи* **101**
Александр БЛИНОВ. Мандариновая птица. *Итальянские дневники и сказки* **104**

Поэт и о поэте

Сергей ПАГЫН. Небо плачет человеком. *Стихи* **129**
«Моя душа пустячное любила...». *Разговор с Сергеем Пагыном ведет Елена Константинова* **132**

Проза.doc

Олег ХЛЕБНИКОВ. Три отца и много дядек. *Фрагменты документальной повести* ... **142**

Нация и мир

Александр ДЖУМАЕВ. Хворост для костра. *О разрушительной силе невежества во взаимоотношениях цивилизаций и конфессий. Центральная Азия и Россия* **163**

Публицистика

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О понимании. *Три письма на одну тему* **173**

Критика

Вера ЗУБАРЕВА. «Удвоенность молитв прими...». *Две родины в поэзии Беллы Ахмадулиной* **183**

МИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Евгения ДОБРОВА. «Слова идут навстречу темноте...». *Альманах молодой поэзии «Terra poetica»* **192**

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Союз разрушимый. *Нужны ли сегодня писательские организации?* **200**

Презентация

Литературная классика: диалог со временем. *Проект издательства «Время»* **204**

Подробное чтение

Дмитрий ШЕВАРОВ. «Ангел выбрал меня на сочувствие праведникам...» **231**

Книжный развал

Александр КОТЮСОВ. Девятнадцать короткометражек про жизнь **236**
Данила ДАВЫДОВ. Письмо во время катастрофы **240**
Галина ЗАЙНУЛЛИНА. Голова садовая — в яблочке **242**
Александр НЕВЕРОВ. Дом окнами на кладбище **244**
Марк АМУСИН. Гора и город сквозь призму мифа **248**

Культурная хроника

Людмила СИНИЦЫНА. «Привлечь к себе любовь пространства» **251**

Эхо

Магомед — свидетель. *Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* **253**

© «Дружба народов», 2017

«Спешу на голоса и всматриваюсь в лица...»

Поэты многонациональной России

От издателя

В самое ближайшее время выйдет в свет многоязычная антология «Поэзия» из серии жанровых антологий «Современная литература народов России», которая выпускается «Объединенным гуманитарным издательством» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В книге собраны стихи 229 современных российских поэтов, пишущих на 57 языках. Каждой национальной поэзии в антологии предоставлен отдельный раздел, предваряющийся кратким обзором истории литературного языка и поэтического контекста. Большая часть произведений переведена на русский язык впервые, специально для этой антологии, не имеющей аналогов ни в отечественном, ни в мировом книгоиздании. Для презентации проекта на страницах «Дружбы народов» мы выбрали по одному стихотворению десяти поэтов из разных уголков России.

Максим АМЕЛИН

Шерьян Али (Алиев)

Крымскотатарский поэт, прозаик, публицист. Родился в 1937 г. в деревне Джамал — ныне село Низовка Черноморского района Республики Крым. Окончил Ташкентский педагогический институт. Преподавал в школе, работал в редакции районной газеты, был главным редактором Комитета по радио и телевидению Джизакской области. Автор четырех сборников поэзии и прозы. Член Союза крымскотатарских писателей. Возглавлял литературный клуб молодых талантов «Ильхам» («Вдохновение») при библиотеке им. И.Гаспринского. Живет в Сакском районе Республики Крым.

Жалею

Жалею мелко плавающих рыб.
Они не знают радостей глубинных.
Легко нырнуть и ускользнуть могли б,
Но в сети попадаются и гибнут.

Игра оттенков, тайные цвета,
Глубинная извечная отрада
Объятий, где прохлада и услада, —
Глубины, где не меркнет красота.

Жалею мелко плавающих рыб.
Им не видны глубины океана.
Их ограничен свет, их мир закрыт,
Им не дано широкого дыханья.

Перевод Ирины Ермаковой

Вячеслав Васильев

Цыганский поэт, прозаик, композитор, актер. Родился в 1954 г. в Москве. Автор популярных русских и цыганских песен. Председатель правления межрегиональной общественной организации «Цыгане XXI века». Живет в Москве.

Живут богато

По городам живут богато
теперь цыгане — видит Бог.
И в сапогах цыгана-брата
уже не пустят на порог.

«Сам чай поставь. Я выйду после.
Так голова болит — нет сил.
Зачем он вообще припёрся?
Уж поскорей бы уходил».

Жена командует: «Веди же
на кухню, чтоб не пачкал дом».
Заварки норовит пожиже,
да и сама хлебнёт тайком.

Цыгане сплошь — интеллигенты,
а не цыгане. Вот те на!
Теперь заставит алименты
их запросто платить жена.

А ведь недавно он как будто
бежал за мамой, босоног,
бродил по миру без приюта,
от голода уснуть не мог.

У них я в долг просить не стану —
скорей, чужой спасёт от бед.
Ты с просьбой подойдёшь к цыгану —
в ответ: «Братишка, денег нет!»

«Из грязи в князи», — так, Ромалэ,
тот, кто скопил свой капитал,
был человек. Теперь, чавалэ,
зажиточным цыганом стал.

Спроси: кем на ноги был поднят,
с кем рос, когда был слишком мал.
Вот старые цыгане — помнят.
Вдруг он не всё позабывал?

Перевод Виктора Куллэ

Зейнаб Дербендли

Азербайджанская дербентская поэтесса. Родилась в 1970 г. в селе Рукель Дербентского района Республики Дагестан. Инвалид по зрению, писать и читать научилась сама, образования нет. Автор трех книг стихов. Член СП Азербайджана и Союза литераторов «Гюлистан». Живет в Дербенте.

Земля

С тех пор, как родилась на свет
и начался мой путь земной —
страданиям исхода нет.
Земля, страдаешь ты со мной.

Ужель конца мученьям нет
и жизнь немыслима без бед?
Коль обречён весь белый свет —
и ты, земля, умрёшь со мной.

Тоска мне не даёт вздохнуть.
Обида раздирает грудь.
Когда окончится мой путь —
что станет с бедною землёй?

Зейнаб ты сотворила зря,
оставив без поводыря.
Я умираю... Что ж, земля,
хотя бы саваном укрой.

Перевод Виктора Куллэ

Светлана Динисламова

Мансийская поэтесса, прозаик. Родилась в 1960 г. в поселке Сосьва Березовского района Тюменской области. Окончила Ханты-Мансийское медицинское училище, Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена. Кандидат филологических наук. Автор шести книг поэзии и прозы, трех монографий и более девяноста научных публикаций. Автор-составитель и главный редактор журнала для детей на мансийском языке «Витсам» («Капелька»). Работает ведущим научным сотрудником Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Живет в Ханты-Мансийске.

* * *

Дай сил подняться мне на немощных крылах,
Окинуть взглядом землю, скинуть страх,
Взлетали наши пращуры повыше облаков
И землю открывали без потайных замков.

Они по небу шли, как по родным местам,
Внизу бежали облака, бегут и ныне там,
Лишь Торум[1] помнит поимённо всех до одного,
Всех женщин и мужчин народа своего.

Где ж сила их и мудрость? И где сейчас они?
В каких веках потеряны? В какие дни?
Сегодня мы, бескрылые, сидим в тепле,
Не знаю, кто и почему нас привязал к земле?

Но снова песни раздаются и на старый лад
Из памяти моей, из древности звучат,
Мой манси, мой родной народ, ты же крылат,
Преданья старины об этом говорят.

Вот снова Эква-пыг-пыгрись[2], живой и на коне,
Как царь бегущих облаков, спешит к родне,
И каждый слышит на заре семикрылатый звон,
И каждый видит на заре мудрёный сон.

Как немощны мои крыла! Хватило б сил взлететь...
Здесь, на родной земле, мне долго жить и петь!
Но духи пращуров зовут меня летать,
И Торума о светлых днях молю опять.

Перевод Галины Климовой

[1] Верховный бог, бог неба.

[2] Персонаж хантыйских сказок; всадник на белом восьмикрылом коне с золотой гривой, посредник между небом и землей.

Николай Куулар

Тувинский поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1958 г. в селе Торгалыг Овюрского кожууна (района) Республики Тыва. Окончил факультет автоматики и электромеханики Томского политехнического института, Литературный институт им.А.М.Горького. Работал инженером, корреспондентом газеты «Шын» («Правда»), председателем правления СП РТ, главным редактором журнала «Улуг-Хем». В настоящее время работает главным редактором Тувинского книжного издательства. Автор нескольких поэтических сборников, книги рассказов и повестей и книги сказок для детей. Перевел на тувинский язык сборник «Жизнь Будды», «Буддийскую практику» 14-го Далай-Ламы, Новый Завет, Ветхий Завет; поэзию и прозу классиков русской и мировой литературы. Член СП России, Союза журналистов РФ. Народный писатель РТ, заслуженный работник культуры РТ. Живет в Кызыле.

Баллада о скакуне

Он понимал, что это его последний забег,
и шёл, как на праздник, — бывало, мчался быстрее стрелы
старый скакун, ветру не уступавший вовек,
гордый крылатый потомок Аран-Чулы[1].

Круг людей расступился. Скакун в ответ
на их приветствия грустно поник головой.
Но, припомнив победы на скачках минувших лет,
загарцевал перед праздничной толпой.

Без хозяина праздник коню ни к чему,
но сегодня хозяин, похоже, лишился сил —
он, как к давнему другу, сына подвёл к нему.
«Не подведи!» — доверчиво попросил.

Вот собрались наездники в поле пустом
и отпустили поводья. Скакун воскрес!
Из-под копыт вырывается пыль столбом,
ибо земная пыль — опора небес.

Грива как флаг по ветру пластается. Воздух сух
и горяч. Скакун летит, не касаясь земли.
Кажется: в скачке ожил древних шаманов дух.
Благословенье даря, бубны рокочут вдали.

Вот-вот и сердце не выдержит — вырвется из груди,
чтоб налегке отправиться в сумасшедший полёт.
Обгоняя соперников, он летит впереди!
Травы степные пахнут крепче, чем конский пот.

Но заходится сердце, и дышать всё трудней:
бешеный воздух скачки ноздри ожёг.
За спиною он слышит хрип разъярённых коней.
Осталось совсем немного. Последний рывок.

[1] Мифический крылатый конь в тувинском фольклоре.

Он победил! Он останется непобедим!
Но подкосились ноги — больше он встать не смог.
К нему подходили люди, один за другим,
молча склоняли головы, глаза отводили вбок.

А он, затихая, видел: там, где солнце в зенит
восходит, где вечного неба бескрайня голубизна —
вновь в нескончаемой скачке он первым мчит
и продолжает бег небесного табуна.

Перевод Виктора Куллэ

Екатерина Рультынэут

Чукотская поэтесса-песенник, фольклорист, самобытный композитор, хореограф. Родилась в 1942 г. в селе Хатырка Анадырского района Чукотского автономного округа. Окончила Ленинградский государственный педагогический институт им.А.И.Герцена по специальности «филология». Тексты и нотировки песен печатались на страницах репертуарных сборников. Является автором нескольких методических пособий, в том числе пособия «Чукотские и эскимосские танцы». Одна из основателей Государственного ансамбля «Эргырон» («Рассвет») и Ассоциации коренных народов Чукотки. Живет в Анадыре.

Моим землякам

В стародавние, говорят, года
наш народ весьма многолюден был.
Выпасать бесчисленные стада
у оленеводов хватало сил.

Все стада сегодня легко сочтёшь;
сильных старость выгнала на покой.
Кто куда разъехалась молодёжь,
помощи родителям никакой.

Наши дети, где же вы? Мы вас ждём
вечным ожиданием матерей!
Из краёв чужих в свой родимый дом
возвращайтесь, милые, поскорей!

Перевод Максима Амелина

Анатолий Тимиркаев

Марийский поэт, переводчик. Родился в 1952 г. в деревне Сазово Калтасинского района Республики Башкортостан. Окончил Марийский государственный педагогический институт. Автор семи поэтических сборников на марийском языке, двух — на русском. Перевел на марийский язык роман в стихах А.Пушкина «Евгений Онегин». Член СП России. Народный поэт Республики Марий Эл, заслуженный работник культуры РМЭ. Лауреат Государственной молодежной премии им. О.Ипая. Работает главным редактором журнала «Ончыко» («Вперед»). Живет в Йошкар-Оле.

Август

Когда под музыку пшеницы
Стихи рассказывает рожь —
Кудрявый хмель, кончай лениться —
Когда ты браги наведёшь?

Ах, август, август — пенье жита,
И небо — выше и синей,
И вообще душа открыта
Для превосходных степеней,

И мы под музыку пшеницы
За рожью повторим слова —
Как хлеб, поэзия родится,
Страдой и зрелостью жива.

Перевод Ивана Волкова

Тайана Тудегешева

Шорская поэтесса. Родилась в 1957 г. в аймаке Усть-Анзас Таштагольского района Кемеровской области. Окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им.А.М.Горького. Работала заместителем директора Новокузнецкого городского дворца культуры, директором этнографического объединения «Тазыхан». Автор четырех поэтических сборников. Член СП России. Лауреат премии Кузбасса, дипломант IX Международной литературной премии им.П.Ершова. Награждена юбилейной медалью «В память 200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова». Живет в Новокузнецке.

Под небом родной стороны

Под неба густым сплетеньем ветвей,
Под небом седым родной стороны,
Под кедра сплошным покровом ветвей,
Что хвою ронял века и века,
Осенней порой так сладостны сны —
Подушка из лап кедровых мягка.

Там горы стоят сквозь тысячи лет,
В обнимку стоят вкруг юрты моей,
Где отчий огонь и прадедов след,
Тяжёлый ремень неслышно спадёт —
Как хвоя спадёт с кедровых ветвей —
С тебя, мой родной, души моей свет.

Твой строгий ремень легко упадёт
На ложе мое, и мы вслед за ним —
Пусть счастье тайком к нам в юрту войдёт,
Пусть вечности кедр роняет века,
Осенней порой так сладостны сны —
Подушка из рук сплетённых мягка.

Перевод Анны Золотарёвой

Шамиль Узденов

Карачаевский поэт. Родился в 1990 г. в Черкесске, столице Карачаево-Черкесской Республики. Окончил юридический факультет Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. Работает в правоохранительных органах КЧР. Автор трех поэтических сборников. Член СП России. Награжден медалями им.М.Лермонтова, Р.Гамзатова, И.Крымшамхалова, медалью «За компетентность и профессионализм», Почетной грамотой Президиума Народного собрания (Парламента) КЧР. Живет в родном городе.

Фиолетовый горизонт Петербурга

В Петербурге на рассвете мне привиделось у моря,
Словно ты на горизонте в фиолетовом стоишь.
Но дыханье волн смешалось с дуновеньем ветра вскоре,
И подёрнулась туманом неразгаданная тишь.

Фиолетовое платье стало тотчас белоснежным,
Облик твой над горизонтом стал скрываться от меня:
Безобразные узоры на лице змеились нежном,
И безумствовал я, белый цвет по-чёрному кляня.

Фиолетовое в белом проступало лишь местами.
Разбодяжилась блескучим роковая белизна.
И лицо твоё исчезло за белёсыми мазками,
И душа опустошилась, обессмыслилась до дна.

Надоедливая морось в мокрый снег преобразилась,
В жутком шабаше смешались утро, вечер, ночь и день.
Фиолетовые дали — отданы зиме на милость.
В одиночество уводит взор стесняющая тень.

С одиночеством шагаешь ты, дорог не выбирая,
Только в мир потусторонний забрести возможно с ним.
Потому его боится всякая душа живая.
Лишь Всевышний возвеличен одиночеством своим.

Я не стану бесполезно со своим бодаться горем.
Приучу к полётам душу, чтобы с нею мы смогли
Улететь туда, где небо на заре сольётся с морем,
И навеки раствориться в фиолетовой дали.

Перевод Максима Калинина

Юрий Шидов

Черкесский поэт, прозаик, драматург. Родился в 1949 г. в ауле Кызыл-Кала Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесской Республики. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Работал трактористом в колхозе, слесарем, заведующим отделом культуры Черкесского горисполкома, директором киновидеообъединения. Автор книги рассказов и повестей, книги пьес. Член СП России. Живет в Черкесске.

* * *

В том городе, где я живу с рожденья, стали
Всё реже узнавать прохожие меня,
И небо хмурится, понять пытаясь: я ли,
Не я ли, и куда бреду средь бела дня?

Где, одинокою блуждая в парке тенью,
Я вдруг остановлюсь и сяду на скамью?
К какому дереву прильну, как к утешенью?
Кому души моей все тайны изолью?

Спешу на голоса и всматриваюсь в лица,
Мне кажется, и там знакомые, и тут,
И с каждым я готов из них разговориться,
Но как, когда меня они не узнают?

Иль жизнь мои черты изрядно потрепала,
И стал я стар и сед, и это не предел?
Так нет же. — Близких мне сердец осталось мало,
Знакомыми, увы, мой город поредел.

Ушла моих друзей компания живая:
Из памяти к себе их внятный слышу зов...
А здесь, навстречу мне, меня не узнавая,
Их сыновья идут с улыбками отцов.

Перевод Максима Амелина

Олег Ермаков

Приключение странное

Повесть

Едем в трамвае втроем, Андрей что-то рассказывает, шутит, вдруг говорит, что очень рад. Чему? Тому, что мы есть у него. Как-то это странно звучит. Я с сомнением гляжу на него. И мне приходит в голову мысль... какое-то воспоминание... Я наклоняюсь к Женьке, спрашиваю, не кажется ли ему, что Андрей... раньше так не говорил. А теперь — говорит. И мы все абсолютно трезвы. Мы оба смотрим на Андрея. Он улыбается.

«Что-то тут не так», — тихо соглашается Женька.

Трамвай дребезжит, покачивается, входят-выходят какие-то люди.

Что-то тут не так, не так, и с Андреем что-то произошло... уже год назад... И всего этого просто не может быть.

Андрей улыбается и говорит: «Может, может быть».

Андрей

Ездил вчера на велосипеде в Рогачево, на кладбище; день был светозарный. На дороге после невиданно жаркого лета мертвые ужи и птицы, синицы, зяблики. Возле Рогачева на обочинах россыпи желудей. В деревню ведет дубовая аллея купца Ланского, конезаводчика.

Плиту с лицом Андрея и вершинами горы Пачангар над нашим полком в Газни увидел издалека, поднимаясь на небольшой, но крутой кладбищенский холм у дороги.

— Привет! — воскликнул и махнул рукой.

Тот смотрел сквозь потемки черного мрамора. Изображение взято с фото, где мы с ним вдвоем стоим, обритые налысо по случаю ста дней до приказа. Половина фотографии обернулась мрамором, окаменела, как в сказке или во сне. А может быть, все это и есть сон? Сон, который видит мой друг. Ведь говорят об умершем: усопший, сиречь — уснувший. Язык не врет?

Дома листал его и свои дневники.

Ермаков Олег Николаевич родился в 1961 году в Смоленске. Прозаик, автор книг «Знак зверя» (1994), «Запах пыли» (2000), «Свирель вселенной» (2001) и др. Живет в Смоленске.

Из книги «Телевизор, или Разговоры со щеглом».

* * *

В словах навсегда застрявшее дыхание человека. Это глубже, интереснее изображения, даже кинопленка была бы беднее — да такая кинопленка и невозможна, вот повествующая обо всем со жгучей подлинностью.

Первая запись в дневнике Андрея в сентябре 1981 года, последняя в марте 1983. Часть записей в самодельной записной книжке, неровно обрезанной и прошитой суровой ниткой, кое-где порыжевшей; цвет вытертой обтрепанной обложки — выгоревшей на солнце крови. Еще вырванные листки, сцепленные скрепкой, запачканные чернилами; в кандагарских листках есть рисунок гор.

Начинаются его записи в пятницу: «Вот уже больше недели ношу этот самодельный блокнот... Моей службе... через 3 недели исполняется полгода... Особенно насыщены последние 2 месяца (в Афганистане). Ну, об этом как-нибудь в более свободное время. Теперь же в любую минуту может потревожить ротный...»

Пятница, сентябрь, 191-й мотострелковый полк в 18 км от Газни. Наверняка полк был залит солнцем или затянут пыльной мглой.

Ведь и я начал свои записи в Газни в сентябре, Андрей — четвертого числа, я — двадцать четвертого. Шестого сентября в воскресенье мы познакомились, Андрей оставил об этом запись.

Окружающие находили, что мы похожи, иногда спрашивали, не братья ли. На самом деле мы совсем не были похожи внешне. У Андрея тяжелый подбородок, крупный нос, светло-серые глаза. Характеры тоже разные, у него более мрачный и решительный, у меня послабее и оптимистичнее, но в чем-то и похожие, с уклоном в идеализм, разведенный романтизмом. Мы хотели борьбы за идеалы. И как могли, делали это. Провели, например, такую акцию: Андрей написал и вывесил у себя в разведроте стенгазету с огромной статьей «Душу к бою!» Точно с таким же названием статью в стенгазете в то же время вывесил и я. Это была акция против дедовщины, для отслуживших по полгода или чуть больше — довольно смелое предприятие. «Душу к бою» — таков был приказ за какие-либо провинности в понимании «дедов», услышав его, «молодой» должен был выпятить грудь колесом и получить удар. Дедовщину мы не искоренили, но шум пошел, деды, особенно узбеки, туркмены, татары, шумели. В статьях задевались сыновьи чувства, обыгрывалось это наименование молодых — «сын» и упоминались родители грозных и жестоких «дедов». Солдаты из азиатских республик восприняли болезненно эти упоминания. Но обошлось без мордобития. А у стенгазет иногда стояли по нескольку человек. Это ли не лучшая награда пишущему.

Сочинительством занимались мы оба, но Андрей писал стихи, я — прозу. Все это было беспомощно, что моя проза, что его стихи. Но тогда важен был этот запал творчества, обмен идеями, суждениями о прочитанном. Да, в полку была библиотека, можно было брать книги. Не всегда находилось время для чтения, но зимой выпадали свободные часы, да и летом. У Андрея этого времени было меньше, он служил в разведроте. У меня — больше, я служил в артбатарее и, например, мог в тягаче над Чарикарской долиной, над дорогой на Саланг читать «Мертвые души» при свете плафона в тягаче с работающей рацией: это было время моего дежурства. И я курил сигареты «Охотничьи» и под треск и шорох эфира читал Гоголя в тоске по этим дорогам и поместьям, в которые заворачивал Чичиков. Конечно, в горы книгу я бы не взял. Но на тягаче — почему бы и нет? На самом деле время для чтения всегда можно найти. Хотя мой троюродный брат Володя Калентеенков, попавший в смоленскую больницу и рассказавший как-то соседям по палате об этих «Мертвых душах» над Чарикарской долиной, тут же угодил под перекрестный огонь насмешек. «Ага, ну-ну! Читал на

войне. Чтец! Библиотекарь, что ли?» Нашелся, разумеется, больной, у которого друг или брат как раз и занимался день и ночь только тем, что сидел в засадах, гонялся за духами по горам и пустыням двадцать четыре часа в сутки, а письма домой писал, сидя на трупе поверженного врага.

Судя по статистике, большинство населения России и сейчас несет какую-то такую вот беспросветную службу. Только уже и писем никто никому не пишет, довольствуясь скорострельными эсэмэс-сообщениями. Некогда. Враг — на экране — не дремлет.

Рисунок гор Андрей сделал по дороге в Кандагар, в апреле 82 года. А в июле того же года и наша батарея отправилась той же дорогой, и как-то вечером я, вдохновившись видом кишлака и потемневших на закате гор, попытался нарисовать это. Теперь сравниваю оба рисунка и удивляюсь: похожи.

Андреев рисунок тоже вечерний, ему предшествует запись: «Тихий вечер. Просторная долина утопает в лучах заходящего солнца. (...) День кончился. Горы выглядят спокойно, торжественно, особенно одна, справа, изогнутая, сине-серая. Рядом с ней желтый глиняный кишлак, укрываемый вечерним туманом. Вот и свит сусликов, дождавшихся спада жары».

Мы свернули, до Кандагара не дошли. Андрей участвовал в Кандагарской операции месяц. Передвигались вокруг Кандагара, устраивали засады, входили в кишлаки; выкапывали «роднички» — пить было нечего; но затем переместились в места, где всюду блестели арыки, болотца; ловили и варили крабов, рыбу.

«К вечеру привезли пленных душманов. Свирепые хищные лица... Был среди них мальчик лет 14. Ком. полка грозными окриками разогнал толпу зевак вокруг них. Те вели себя непринужденно, жевали «нас» (табачное зелье), переговаривались. Были изъяты ружья, гранаты. (...)

Днем было жарко...

К закату солнца выбрались на другую позицию. К другому, еще более зеленому кишлаку. Блестит в лучах солнца довольно широкая река. (...)

20. 4. 82. Вечером вчера расстреливали 2 душманов... Слышны были крики. Последние звуки погибающих тел. Жутко, тоскливо.

Когда уезжали, афганец с коричневого цвета лицом махал руками, приглашая зайти в дом. Мы мчались мимо, он понимающе качал головой».

Страх всех одолевал.

«Жутко ночью в горах. Когда заставляют вздрагивать и настораживаться внезапные тени, шорохи, крики. Один раз с недалекой верхушки горы не то засмеялся кто-то, не то поперхнулся. Мы дали туда выстрел».

И афганцев.

«Местность прочесывали цепью... Заходили в дома, где рушили и простреливали уголки... Нас все боялись, все трепетали от страха. Много в этот день было душманов — человек 20. Особенно памятен один расстрел во дворе дома, здесь полегло человек 7 — старики в основном, был один мальчик. А солнце светило действительно нещадно. Разлагались трупы людей и животных, вздутых, облепленных кровью и мухами».

* * *

В ходу у нас были свои определения. Два из них это «уход» и «борьба». Теперь ясно видно по дневникам, что каждый понимал это по-своему. Андрей — глубже и тоньше. Борьба для меня означала противодействие недругам — вот как дальше написать после тех кандагарских записей — «красоты и добра»? Тем не менее все так и было, одно и

другое рядом. Борьба — это какие-то сплоченные выступления, акции, протесты, письма. «Уход» означал одно: сторожку лесника на краю мира. Андрей разделял в какой-то мере мои представления, но «уход» в его интерпретации оказывался попустительством своим слабостям, а следовательно, «борьба» прежде всего означала самовоспитание. Андрей был глубже, умнее.

Поначалу он был полон желаний и сил: «Хочется взяться за себя. Работать. Писать, читать, думать, узнавать, учить и т. д. Чувствую вглядчивость в людей. Люблю изучать их. И кажется, понимаю их вполне серьезно».

Да, у него много заметок о солдатах, офицерах. «Вглядчивость в людей» — что это? Огрубленное «люблю людей».

«Да и так ли здесь скверно? — спрашивает сам себя Андрей после концерта заезжих артистов. — Разве внешний комфорт... счастье? Благо? Нет, счастье здесь — в лишениях. Оно здесь, зарытое в смертоносной пустыне. Я раскопаю этот клад и покажу его несметное богатство людям».

Молодость берет свое. Ощущение счастья неподконтрольно, это контрабанда на войне.

«Кто я? Кто я? Зачем я? Зачем я?» — пытает он себя.

Его девиз: «Ни дня без нового». Под «новым» он понимает наблюдения, мысли. Как школьник, вычерчивает график — расписание, где первую колонку занимают оценки стихотворений, затем анализа прочитанного, наблюдений, мыслей, волевых усилий.

Разумеется, все клетки для оценок остались пустыми.

Его пассия из Душанбе, откуда и он сам родом, наполовину болгарин, наполовину украинец, собирается на Байкал. Андрей ходит мрачный. Воображает, как там вокруг будут увиваться туристы.

Она на Байкал, Андрей — в засаду: «Шли ночью в ближайший кишлак Рабат цепью без слов... Очертания предметов нечеткие. Призрачные цепи гор. Мы все идем, не знаешь, скоро ли, может, от этого и не устаешь. Но стоило приблизиться к кишлаку, и вот уже знаешь, что устал. Восхождение в горы, еще шаг за предел. Помог Колюжину дотащить рюкзак с патронами от ПК... Занимаем позицию, ждем утра... Рассвело быстро.

(...)

Внизу у пересохшего русла из домика началась стрельба. Я разбудил Абрамова. Трое. Один с «буром». С горы очень удобно стрелять, чем мы и воспользовались. Люди внизу метались, но скрылись скоро в доме. Ждали других, но не дождались. Операция, в общем, прошла впустую. Очень устали, спали на ходу. Пыль, усталость, солнце, движение. В тот же вечер снова в поход. Едва успели выспаться. Шли в район Газни. Спины впереди... Продрогли, ожидая рассвета. Я, Новиков с рацией, лейтенант Славик. У последнего не выдержали нервишки, стал стрелять по ближайшим теням. Потом чувствовал себя виноватым. Поймали 2 афганцев, убегали. На одном какой-то английский френч, залатанный. Бумаги оказались в порядке. Другой пытался уйти на велосипеде. Стрельнули в него, он в другую сторону — на нас прямо. Тут его и зацепили. Бывший солдат. Глаза пугливые. Руки белые, холеные. Приборы для чистки ногтей, флакон розового масла... улик нет.

Офицер: «Кто по нему стрелял?»

Молчание.

Офицер: «Я же говорил, стрелять наверняка».

Б. спокойно, без эмоций: «А чё их не шлепнули, зачем привели?»

Бронегруппа, пехота. Все друг перед другом бравируют. Вояки.

Да, устал я. Даже буквы нормально вывести не могу. Но ничего, все равно счастлив. Оклемаюсь, возликую».

Солдат Б. на другой операции был убит выстрелом в спину. А этих двоих афганцев, видимо, так и отпустили.

От своей пассии, Гал*а*, Андрей получил последний ответ: нет. И пришел к выводу, что на самом деле не любит ее. Но тут я подлил масла в огонь, заметив, что такой он больше не встретит. Он много о ней рассказывал, показывал ее фото: светловолосая девушка в чем-то белом, легком, «из ситца», в белой шляпке — девушка из какого-то девятнадцатого века. И он написал ей еще одно письмо. И отослав, пожалел.

И вот окончательный вывод: «По крайней мере, ничем теперь не связан, волен, как птица, пока не подстрелят».

* * *

В афганской биографии Андрея были два «советских» эпизода: один раз его отправили в Союз с подозрением на тиф, второй раз он сопровождал погибшего в Панджшере. Вертолет обстреляли при посадке, вертолетчики перепутали место высадки, экипаж сразу расстреляли, солдаты стали прыгать с высоты двадцати примерно метров (!?), и многие, как ни странно, спаслись, а этот парень и еще один не успели — упали вместе с вертолетом и «были смяты». Завернул он после похорон и в деревню, где в доме с родителями жили моя Нина и дочка.

...Сейчас солнечным августовским вечером, скользнув взглядом по озаренным верхушкам домов, уходящих ущельем в новый микрорайон, вообразил ясно это: вертолет, прошиваемый очередями, крики, путаница... «Прыгай!» А высоко. Крупнокалиберный пулемет долбит нещадно, гвоздит беспомощную цель, гигантскую консервную банку. Наверняка глаза у пулеметчика были безумные, лицо сведено судорогой, ладони вспотели. Из вертолета посыпались люди. Начальник разведки «прикипел» к борту, его тело потом вырезали вместе с металлом. Долг Родине.

Андрей во время этой похоронной поездки записывает: «Человек — ничто, ничто...»

И тем сильнее его притягивают живые.

«Наблюдать, больше наблюдать! Как интересны люди. Какие все разные, не похожи друг на друга. Я начинаю видеть это особенно остро теперь. Все, без исключения.

(...)

Первое знакомство побуждает к сдержанности перед таинственностью незнакомого человека».

А до меня это дошло вполне двадцать лет спустя. Вообще меня больше занимала природа. Природа казалась исполненной загадок, в ней мерещился какой-то чистый ответ на все вопросы. А человек... ведь я и сам человек... Как будто я понимал самого себя! Теперь-то для меня таинственны даже близкие. А природа все чаще представляется фоном, декорациями.

Андрей писал: «В себе все не так ясно, стоит взяться писать, и просыпается совесть бумаги. И оттеняется черное от белого, злое от доброго».

Пишет уже и о болезни афганской, о том, что «больней и чувствительней все всплывет дома». И дальше: «Клад человеческих страданий, познаний их сполна...» Буквально вчера я наткнулся на чью-то стихотворную строчку: «Человек начинается со страдания».

Но ведь и Андрей был поэтом, точнее человеком явно одаренным, призванным к *вглядчивости* в людей, к перенесению этой вглядчивости на бумагу. Стихи он писал беспомощные. А вот в его записках виден прозаик. Повести об Афгане должен был писать он. Не написал. И я за него не написал, не напишу. Он моими писаниями был недоволен.

Почему все так случилось? И он планомерно сжигал себя?

На последней странице он пишет: «Клянусь делать все необходимое к возрождению».

Это уже 83 год, март, до возвращения в Союз остается меньше двух месяцев. Это мог написать только человек, погрузившийся по горло в летейские воды.

И вот он причалил к берегу, ступил на сушу, пошел навстречу своим призракам.

Запах пыли

Осень принесли три черные журавля, опустившиеся перед позицией с орудиями. Они погуляли и, увидев высыпавшую толпу галдящих ребят, взлетели. Кто-то бросился за автоматом. Но птицы были уже над штабом. Стрелять в ту сторону не решились. И осень началась. Уже на следующую ночь на посту стало довольно прохладно, да. Надо запахивать полы шинели и поворачиваться спиной к ветру. Хотя днем еще настоящая жара. Но синева неба чистая, не летняя. А в Паджаке, кишлаке рядом с полком, виноградники еще зеленые и тополя. Но дехкане хлеб убрали с полей, и зерно желтыми горками лежит в открытых хранилищах из глины, проветривается.

Мне нравится ходить в ночные дежурства на позиции. Люблю то время, когда напарник закемарит (что случается редко) или задумается (еще реже), и тогда я остаюсь наедине с собой. Смотрю на звездное небо, на массивные вершины гор, на темнеющие сады кишлака, вышагиваю взад-вперед и мечтаю.

Как обычно, где-то в той стороне, где находится провинциальный центр Газни, то и дело вспыхивает перестрелка.

Одни строят, возделывают землю, другие разрушают. Но цели у всех одни: мирно и сытно жить.

Страшно хочется что-либо писать. Сборник рассказов, которые будут написаны, я озаглавлю так: «Запах пыли».

По кандагарской дороге

...Ночью уходим на операцию, говорят, жарко и много мин. Еще раз проверим судьбу.

Весь день катили по ровной асфальтированной дороге. Унылые степные пейзажи оживлялись кишлаками-оазисами, и глаза радовались яркой зелени ухоженных огородов, прохладной тени роскошных садов, мутной воде арыков, квадратам светло-желтых, любовно ухоженных, без малейшего намека на сорняки хлебных полей; афганские женщины пугливо смотрели на колонну. Часто попадались разукрашенные бумажными цветами и открытками автобусы.

Остановились рядом с трассой, неподалеку от придорожного кишлака, у подножия живописных, потемневших на закате гор, похожих на какие-то бараньи пастушьи шапки. А я взял с собой два фото, присланных Вовкой Русецким из Смоленска. Смотрю сейчас: березы, опавшие листья, трава, подберезовик.

Снялись с места и поехали дальше. Странная дорога пошла — на Кандагар. Вроде

удобная, прямая, асфальтированная, с бетонными мостами. Вдоль дороги железные столбы с оборванными проводами. Многие столбы повалены. Увесистые дорожные знаки сбиты. Много кишлаков, превращенных в руины. Призраки кишлаки. Вот бетонный мост взорван. Объезд. По обочинам искореженные сгоревшие машины. Наши машины и армейские афганские.

Жизнь на дороге замерла. Редко прошмыгнет легковушка, нагруженная дынями, арбузами. А ночью вообще мрак и все. Ни лучика. Только сверху звезды.

Мы сворачиваем то направо, то налево. Влезаем в горы. Устанавливаем гаубицы и начинаем бить. В ущельях рыщут пехотинцы. Что мы делаем? Какая задача? Кого ищем? Ну, душманов. Только результаты мизерные: ящик гранат, ящик мин, несколько буров — старинных английских ружей, и все. Ни одного духа. У нас один пехотинец разбил голову, сорвавшись со скалы. И сегодня подорвался БРДМ, в результате чего советник получил ранения в живот, водителя ранило в ноги.

Неизвестно, жив ли советник. Его и водилу увезли на вертолете.

Очень жарко. Голова все время сонная, дурная. В такую жару быстро труп распухает. Не хотелось бы. Едем мимо мертвого осла, покрытого роем мух. Но никто не подает виду, что думает об этом или боится. Кто курит, сплевывает, кто напевает. А у меня большой палец левой руки — как тот осел, раздулся, дергается, спать не дает, хотя в тягаче сон — не сон, через каждые два часа подъем на дежурство. В нашем командирском экипаже три человека, не считая комбата. Водила не дежурит, ему целый день рвать рычаги. Остаемся мы с Шурой Фефеловым. Ходишь возле тягача взад-вперед, шатаясь, пялишься на черную полынную степь, зеваешь на звезды.

Панариций меня доконал, иду сдаваться к медикам. Сопровождает меня Вовка из взвода управления. Прапор хотел так резать, без обезболивающего, но старлей его остановил и велел вколоть промедол. Нечего, мол, парня мучить. Прапор: а если будут раненые? Старлей: на всех хватит. Прапор: ну, сейчас забалдеешь. Вколол. Сидим в БРДМ с открытым задним люком. Вовка стоит напротив, курит, смотрит. Прошло минут 20. Давай. Скальпель, ножницы. Режет как будто чужую руку, тупые ощущения. Закрываю глаза, и мне кажется, что руку рвут собаки, стая псов. Чик-чик, кость немного поскоблил, и готово. Сказал, что если бы еще подождал, могли бы и палец отрезать.

Дали болеутоляющих таблеток, сказали есть, когда закончится действие промедола. Так что никакой боли я и не почувствовал. Как деревянный солдат Урфина Джюса, помню, была такая картинка в этой сказке: у солдата горит палец, а он ржет.

А рано утром хорошо в степи: небо свежее, косые лучи заливают холмистую равнину, приятной горечью сизо-зеленой полыни напоен воздух. Степь безлюдная, молчаливая... И заработали гаубицы, древний сон степи взорван.

Разведчик

Андрей звонит как будто с острова, откуда-то с полярной станции, в трубке свист-треск, голос иногда отдаляется, уплывает, возвращается.

— Ванька?.. Пишет, служит... В город я не приеду. Хрен мне ваш город! Я теперь здесь... в новом шкафу! Читаю Джека Лондона. Собрание сочинений еще из Душанбе привез. Это — дааа... Человек идет, а кругом лед... льды...

Собираемся с Женькой 15 февраля в Николу-Яровню, к о.Григорию, заберем и Андрея по пути, эта церковь рядом с его Рогачевом. В церкви давным-давно Женька шабашил, налаживал отопительную систему. Еще до всяких перестроек он ушел на

вольные хлеба, оставил завод, где был неплохим спецом — по ремонту ЧПУ, станков с программным управлением. Отопительную систему он устраивал даже и в Успенском кафедральном соборе Смоленска, заодно и другими работами там занимался, перевозил, например, памятник первого историка города Никифора Мурзакевича с Соборной горы на кладбище Окопной церкви, где на самом деле священник и был похоронен.

С о.Григорием Женька познакомился, как-то заехав в эту сельскую церковку в полях, чтобы освежить в памяти былые деньки.

* * *

Сегодня 15 февраля, жду Женьку. Припоминаю сон: Лев Толстой приснился! И он подарил мне часы.

Листаю журналы, в «Новом мире» рецензия на книгу Татьяны Бек «Прощай, алфавит!», автор рецензии недоумевает: «Не знаю, почему Татьяна Бек так назвала свою книгу /.../ ведь жизнь /.../ не закончилась /.../. Короче говоря, названием своим книга обязана какому-то минутному капризу. Оно случайно /.../».

Это номер десятый за 2004 год.

Седьмого февраля 2005 года Татьяна Бек умерла. Правда, она успела выпустить еще одну книгу, но составленную из сборников стихов разных лет, а новой и последней, по сути, была все-таки та, вышедшая в 2003 году, — «Прощай, алфавит!»

Что-то Женька не едет. Смотрю на часы, подаренные не Львом Толстым. А в снах я теперь буду смотреть на часы, подаренные гением. «Да вот, Лев Николаевич как-то снял с руки и вручил со словами...» Правда, слов не было. И не помню, снимал ли он их со своей руки.

Однажды Лев Толстой приснился старцем с палкой и вороном на плече. Он шел мимо шеренги арестантов или солдат и смотрел на нас. Вдруг остановился передо мной. Остро посмотрел из-под насупленных бровей... И ворон снялся с его плеча. Я замер. А ворон опустился на голову стоявшего рядом. И все глядели на него с завистью. Это был выбор Толстого. Проснувшись, я мучительно старался представить лицо этого человека — ведь наверняка какой-то литератор. Кто? Так и не опознал его.

А часы... Что часы? Кто это мог бы растолковать? Это не то же, что и во сне про ворона, а что-то другое. Что?

Женька позвонил. Едем.

* * *

Купили вина, коньяка, колбасы, приготовленную курицу, сыр, огурцы, виноград, хлеб, что-то еще и уже под вечер выехали. Я прочно сидел в городе с сентября, считай — полгода. И вот взглянул на холмы-поля-рощи. Но как-то без особого восторга. Сейчас меня больше привлекают пространства внутренние.

Свернули с кружной дороги, потом еще поворот — в дубовую аллею купца Ланина, конезаводчика. Рогачевский конезавод был известен и в советское время. Туда нас и привез в начале девяностых председатель сельсовета, которого мы с Андреем отыскали совершенно случайно в пустом сельсовете на Сокольей горе. Андрей только что прибыл из Таджикистана с рассказами о бесчинствах в Душанбе, о криках таджиков: «Русские рабы, не уезжайте!» На самом деле эти бурные таджики делали все, чтобы русские оставили их город, построенный в том числе и русскими руками. И вот мы начали шарить вокруг Смоленска. Для устройства в самом Смоленске нужна была прописка. А с этим были проблемы. Председателю сельсовета мы вкратце все рассказали, и он мгновенно *проникся*. «Айда!» — сказал, и мы пошли в его «уазик» и

помчались в Рогачево. Там стояли кирпичные дома, два или три дома пустые. «Выбирай, Андрюха!» — сказал председатель, крупный светлоглазый мужик с большими ладонями.

Так Андрей стал конюхом. Перевез семью. А через пару или тройку лет сумел устроиться — не без моей подмоги — мастером пишущих машинок, которым и работал в Душанбе, в Смоленске. Из Рогачева сначала ездил на электричке, потом пустили автобус. Дорога занимает минут двадцать, ну, тридцать.

Директор конезавода сначала пеняла Андрею, но потом смирилась, тем более что его жена пошла работать продавцом в местный магазин.

Конезавод уже загнулся. Конюшни полуразрушенные. Чем занимается население — кто знает. Так, картошку сажают у себя в огородах, огурцы, коров держат. В начале девяностых коров много было, выпасать их надо было по очереди, — целое стадо. Андрей пас. Мне с детства хотелось стать пастухом, только не коровьего стада, а оленьего. Ну и все-таки пастушья жизнь в чем-то всюду одинакова. Так что я решил хотя бы частично осуществить мечту — напросился в подпаски к Андрею. Приехал рано, дубы Ланина только начали солнце ловить курчавыми лапами, по тропинке к дому шел — башмаки в росе. Андрей вышел в рабочей куртке, с кнутом на плече. Погнали стадо вдоль речушки. Андрей лихо щелкал кнутом. Ну, часов примерно в одиннадцать присели на горячий уже от солнца пригорок... Нет, жарковато, сошли вниз, в тенек. Андрей полез в сумку, я — в свою... Откупорили бутылку.

Ненароком мне вспомнился склон Мраморной — Пачангара, горы, возле которой притулился палаточный городок полка. В ней брали мрамор для всяких нужд. Да и в Союз тоже вывозили контрабандой, как я понимаю. Однажды по весне мы там тоже сидели. Правда, не выпивали, а так, покуривали махорочные сигареты «Охотничьи» и глядели на весенние степи, зеленые, птичьи...

Коровы вроде тут все рядом крутились, мычали. И вдруг как-то притихли. Глядь — да нет их. Стадо исчезло. Я опешил. Чудеса рогачевские! Андрей сразу сообразил, что стадо густыми кустарниковыми зарослями ушло вдоль реки — в деревню. Жарко, и слепни донимают. Мы поспешили в деревню, заткнув недопитую бутылку водки пробкой, скрученной из газеты, и припрятав в кустах. Нет нигде коровок. Точно — ушли.

А из деревни уже бежит жена Андрея, добрая и крупная Люда. Но тогда — грозная туча.

— Ах вы...!....!!.....!!!

Андрей посмотрел на меня.

— Дай-ка сигарету, чтоб аромат другой был.

Коров мы потом после обеда допасли, водку допили. Деревенские посмеивались: тут не афганистанские степи, где все видно, а природа такая — с буераками и дубами.

На солнце обгорели. Но особенно допекали слепни, воинство зверское. Андрею приходилось пасти лошадей, говорит, то же самое, от кровососов нет спасения. Ну, костерок-дымокурчик разведешь, а чуть отошел — звери на крыльях атакуют.

Сейчас — февраль, блаженный месяц света, чистых красок, удлиняющихся дней, ярких звезд и каких-то предвесенних надежд. Женька сигналит перед домом Андрея. Тот не выходит.

А от магазинчика ковыляет какой-то мужичок, пожилой, угрюмый, в ватнике, в шапке с завязанными сзади ушами. «Это не он?» — спрашивает Женька. У Андрея мы давненько не бывали. Он бросил работу в Смоленске. Когда-то упал с лестницы, и

теперь его настигла хромота, даже инвалидность получил. Плюс афганское пособие. На это и живет.

И я мгновенно вспоминаю одну нашу встречу на Теплом Стане в Кабуле, это была зимняя операция в Чарикарскую долину. И уже на обратном пути возле гусеничных боевых машин пехоты, на которых рассекали разведчики, увидал Андрея с почерневшим лицом. Ушанка у него была так же сзади завязана. Спрыгнул со своего артиллерийского тягача и пошел к нему. Но Андрей даже толком не мог говорить от усталости. Сапоги его были перепачканы красноватой глиной. Мы закурили. Он отмалчивался...

Но сейчас к нашей машине приближался все-таки не он. Мы уже видели: какой-то старик. Наверное, приперся посмотреть по наущению Людмилы, что там за авто торчит перед домом. Повертелся около автомобиля и ушел обратно.

А я отправился в дом. И Андрея мы заполучили.

Старый разведчик охудал слегка, потемнел, но в общем, тот же хохол-болгарин, смуглый, с тяжелым подбородком, толстым носом, нависающим лбом и серыми глазами.

— Что вы так долго? — проворчал он, оглядывая нас.

— Да надо было груз получить, — отозвался Женька.

— Целый год груз шел? — спросил Андрей.

Мы засмеялись. Автомобиль поднимался на холм. Справа открывались заснеженные поля, склоны холмов, перелески, освещенные рассеянным солнцем из облачных пелен. Тут я не утерпел и процитировал Ключевского:

— Однообразие — отличительная черта Русской равнины.

— А я здесь живу! — крикнул Андрей с заднего сиденья.

— Ну и мы как бы... — пробормотал я.

— Вот именно «как бы», — сказал Андрей. — А по-настоящему оно все здесь происходит.

— Что?

— А то, что не происходит.

Возле церкви со старыми березами и кладбищем большой двухэтажный дом. Из-за его угла как раз и выходил о.Григорий, когда мы подруливали к дому. Был он только в рубашке, брюках, в неизменных подтяжках. Русые седые волосы с желтизною зачесаны назад, на красноватом лице улыбка. На улице он оказался случайно, вышел воздуха вдохнуть. И случайно еще в этом дне сошлись: праздник Сретенья, 25-летие служения о.Григория и очередная годовщина вывода войск из Афганистана.

Надо будет еще хорошенько этот узел совпадений продумать — в духе синхронности Карла Юнга.

Пошли в трапезную на первом этаже. Просторно, лавки и столы, огромная цветная иллюстрация «Тайной вечери» Леонарда да Винчи. Икона. Большой портрет митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла.

Откупорили коньяк, вино, водку. Появился некий человек с мягким голосом, вкрадчивыми манерами, какой-то странноватый, серый, стертый. Он проездом здесь. Откуда и куда, никто не понял. Еще пришла миниатюрная пожилая женщина, кроткая, тихая, ласковая. Хозяйка, средних лет, дородная, белесая, в платке, просторной юбке, блузе, — не попадья, о.Григорий одинок, — готовила закуску. Мы выкладывали свои гостинцы, но о.Григорий выставил картошку, соленые огурцы, капусту, сало, кагор.

Встали. О.Григорий прочел «Отче наш»: «Отче наш, иже еси на небеси. Да

святится имя Твое, да приидет царствие Твое...» — и так далее. Перекрестил стол, и все уселись прочно на два часа.

О.Григорий работал простым шофером в совхозе, окончил лишь начальную школу, был безбожником, но какая-то болячка приклеилась, начал трястись и худеть, никакие там лекарства не помогали, и однажды к нему явился священник в желтом, то есть не во плоти, а так сказать, в духе, и приказал идти в церковь, тот так и поступил, помолился, как умел, и — дело пошло на поправку, и шофер стал таким усердным и набожным, что однажды ему предложили рукоположение в сан. То есть было ему тогда 50 лет. А сейчас — 75.

Стертый сказал, что история о. Григория необычная. Миниатюрная женщина добавила, что и сам он необычный батюшка.

Налили армянского, экономке и миниатюрной женщине «Изабеллы». Экономка заупрямилась, мол, ах, от вина бывают наваждение и страсти. И повела крупными серыми глазами на нас. Но уговорили, выпила, приложила ладони к зардевшимся щекам, мол, вот уже оно и началось.

А разговор уже кружился, как спутник, по мирозданию.

Доставалось католикам, мусульманам. Сотрапезники наши их не жаловали. Правда, у о.Григория представления об иных конфессиях были своеобразные. Он отказывал католицизму в святых. Пришлось напомнить хотя бы о Франциске Ассизском.

На что он возразил так: это не святые, а подставные лица.

Раскол, по его мнению, произошел из-за дьявольской подсказки патриарху сбрить бороду, через какую-то женщину шла подсказка.

Я вначале даже подумал, что он как-то так шутит, дурачит нас. Но нет, он был вполне серьезен. Громил он, конечно, изобретение сатанинское — компьютер, сеть, мол, это искушение — быть вездесущим князем мира сего, тогда как человеку достаточно...

— Я бы его сузил, — ввернул Андрей.

Выцветшие глаза о.Григория буквально зацвели на мгновенье вновь.

— Да! Именно!.. Как хорошо сказано, — заявил он.

Андрею это доставило удовольствие, но он не был уверен, что мы раскроем настоящего автора сей мудрости, и поэтому сам признался, что цитирует Достоевского. Как оказалось, о.Григорий Достоевского не читал. И вообще ничего не читает, кроме святого писания: «Там все есть, и оттуда все проистекает, и ваш Достоевский».

Речь зашла, конечно, о чудесах, совпадениях: «Колесо не лезло на ось... мороз, никого, везу диски, сигары из Москвы, взмолился — и оно пошло!»; «услышал по радио историю священника Родзянко, который приехал из Англии в Россию, отправился зачем-то в Калужскую область и на дороге стал свидетелем гибели в аварии человека, который, как потом выяснилось, слушал его проповеди по Би-би-си и считал себя его духовным сыном...»

— Промысл, — тут же откомментировал батюшка.

— Но не лучше ли было встретиться с живым этим калужанином? — спросил я.

— Нет, — не задержался с ответом о.Григорий, — не лучше.

— Почему?

— В этой гибели искупительный смысл.

— В любой гибели? — подает голос Андрей, задумчиво скобля ногтем наклейку на бутылке.

— Да, — говорит о.Григорий, взглядывая на него.

Я молчу. Женька тоже. И остальные.

— И детей? — снова спрашивает Андрей.

О.Григорий смотрит на него. И неожиданно молчит. Только в трубах пробулькивает вода, нагреваемая газовой горелкой и бегущая по всему дому, по всем двум этажам. На втором этаже мы как-то уже были года два назад. Всю ночь ездили втроем по Смоленску, по окрестным дорогам, жгли на Днепре костер, а туманным осенним утром завернули сюда. Дверь была открыта, и мы спокойно прошли. В трапезной никого не обнаружили, хотя всюду горел свет. По деревянной лестнице поднялись на второй этаж и здесь увидели хозяина. При лампе за широким столом спиной к нам сидел человек с желтовато-седой гривой, в мирских брючках, подтяжках, фланелевой рубашке в крупную клетку.

Стол стоял перед огромным окном, за которым распахивались уже выбеленные первым легким снегом поля, черные перелески и вся однообразная тоска Русской равнины. На столе лежал внушительный талмуд, амбарная книга притчей и заповедей.

Да, не спорю, что-то в этом было. Меня особенно размах окна удивил, обычно деревенские окна много меньше. Ну и беспечность этого человека. Все настежь. Женька поздоровался, мол, доброе утро, о.Григорий, мы тоже подхватили приветствие трескучими нетрезвыми голосами.

О.Григорий обернулся и взглянул сквозь стекла очков на нас, небритых, не проспавшихся, полубезумных от ночных приключений под осенними небесами. «Батюшка, извините за беспокойство», — начал Женька смиренно. Наверное, он уже пожалел, что потащил нас с собой. «Ничего, Бог в помощь, — ничуть не смутившись ответил о.Григорий. — Я как раз чай собирался пить. А в компании-то веселей».

— А я ребенком за колючей проволокой сидел у немцев, — говорит наконец о.Григорий. — Было мне как раз одиннадцать. И мать моя здесь же. Согнали всех, охрану поставили. Есть не давали. И мать ночью прорыла под проволокой ход и выпихнула меня, а сама уже пролезть не смогла. Я и побежал... Молиться не умел. А жив остался.

— За вас молитва свершалась матерью, — сказал стертый.

— Не знаю, — ответил о.Григорий.

Снова молчание. И тут заговорила миниатюрная женщина, до сих пор не подававшая ни слова. Тихо заговорила. Это был рассказ про летчика, шедшего к газовым камерам и молившегося Богородице; так вот, вдруг он просто вышел из толпы и двинулся мимо охранников, дошагал до ворот, миновал часовых, пошел дальше — и очнулся в поле.

И почему-то все ее рассказу поверили.

Экономка принесла большой чайник с цветами, чашки, печенье.

И мы сидели, пили чай; снова обсуждали какие-то церковные вопросы, в которых ни один из нас, кроме, разумеется, батюшки да стертого, ни в зуб ногой, но мои друзья довольно рьяно интересовались и тем и этим, как будто надумали посвятить остаток своего здоровья службам, бдениям и постам.

Наконец засобирались. Лицо батюшки сияло, как медный бок самовара. И волосы казались еще светлей. Он был весел, хмелен.

Стертый попросил благословить его, батюшка пробормотал что-то, перекрестил его, стертый потянулся к руке, лобызнул... Батюшка перехватил мой взгляд. Да, я никогда не понимал этого ритуала, чай, на дворе не девятнадцатый век.

И батюшка сказал, что очень рад нам, и видит в этом совпадении особое благорасположение и т. д. «Двадцать пять лет назад рукоположили, — продолжал он, — а что такое есть рукоположение?»

«А это есть возложение рук Христа на смиренную голову нового раба своего. Ибо первое рукоположение было апостольским, а оне хранили на себе печать Его длани».

Тут он и нас всех перекрестил. Подходить под благословение мы не собирались. Но внезапно о.Григорий попросил нас обождать немного, мы вышли в коридор, а он поднялся по лестнице и вернулся с картонными иконками, «дорожными», и принялся вручать каждому, сопровождая свои крестные знамения скороговоркой, спрашивая имя и поднося в заключение картонку для поцелуя; когда он почти ткнул иконкой и мне в лицо, пришлось изобразить ответное движение. Любопытно, что он спросил имя и у Женьки. Женьку это весьма удивило. Он даже потом забыл сразу вручить пожертвование и возвращался с тугой скруткой денег, но о.Григорий к деньгам не притронулся и попросил все опустить в ящик в храме.

У меня, да и у Андрея это было первое благословение.

То есть что же это означает? Прикосновение Иисуса Христа дошло до нас сквозь века, города, моря и страны.

Стертого нам пришлось подбросить до автобусной остановки, он ехал куда-то дальше по своим непонятным делам. Успел сказать нам, что батюшка хоть и не высокообразован, но есть в нем благодать. Миниатюрную женщину мы отвезли в Смоленск. Но перед этим снова завернули в дубы конезаводчика Ланина и высадили у дома старого разведчика, посигналили ему, прихрамывающему в желтых лучах фар, он обернулся, махнул...

* * *

Удивительно, но после поездки в Николу-Яровню и после благословения о.Григория в груди, прямо посередине, возникло нечто. Что-то воздушное. Я бы сравнил это с ладанкой воздуха или чего-то еще благодатного. Странно.

...От тетрадки меня оторвал звонок из Рогачева. Андрей прочитал рецензию Костырко на мою повесть «Возвращение в Кандагар». Рецензия ему понравилась. Даже, пожалуй, проняла его больше, чем повесть. О повести он раньше отзывался хмуро. Угодить ему трудно, придирчивый читатель, а главное, его афганский опыт тяжелее. Артиллерист — не разведчик, проводящий ночи в засадах, врывающийся в кишлаки.

После заговорили о священнике о.Григории.

— Он меня ни в чем не убедил, — сказал Андрей. — И вообще, что он там нес про католиков и мусульман? Невежественный поп. Я не стал спорить, человек старый, да еще дата у него. Но и у нас была дата? Я там за столом в трапезной ненароком так подумал про Кандагар, как дух лепил по мне из пэпэша с двадцати шагов — и все пули мимо. Как у Тарантино в «Криминальном», помнишь? Ну, в гостинице, когда по этому негру садил тот парень... Только я никаких молитв и не читал, потому что не знал. И не знаю. И знать не хочу! Не надо кормить нас сказками, выросли уже... Этот поп работал шофером. А сейчас учит.

Слушать мои соображения он не захотел.

* * *

И вдруг на следующий день снова звонит и говорит, что должен признать: после общения с о.Григорием чувствует себя как-то бодро и светло... И это шанс.

Это действительно было бы чудо. И в основе веры о.Григория чудо. Священником и вообще верующим он стал после явления священника в желтом и выздоровления. Это чистая вера, которой и не нужны какие-то знания.

Говорю, что мысли об этом о.Григории не оставляют меня.

— В нем есть загадка, — соглашается Андрей. — И нам надо поехать к нему еще. Когда соберетесь?

* * *

Шел мимо церкви Всех мучеников на нашей окраине и внезапно ощутил возросшее чувство в средоточие груди, то самое, возникшее от благословения о.Григория. Удивительно. Это физическое ощущение. Как будто благословение о.Григория что-то изменило. Зашел в церковь. И это чувство, данное о.Григорием, буквально закружилось в солнечном сплетении, такой странный буравчик.

* * *

Собираясь в библиотеку, проглотил сдуру таблетку, снижающую давление, а давления, как видно, и не было, показалось, и на полпути меня оковала немощь, еле доковылял и так и не успел найти Геродота (надо для нового романа), библиотекарша попросила всех покинуть помещение. Часов у меня нет, сломались. А подаренные графом здесь не идут. Вот я и не знал, сколько шел до библиотеки. Оказывается, часа два шел и пришел к закрытию. Таким образом, и нагнал старость. В старости и будешь полчаса подниматься по лестнице.

На обратном пути снова завернул в церковь Всех мучеников и ничего такого не почувствовал. Наверное, это все какие-то субъективные впечатления, надуманные ощущения. И они не спасают от отчаяния, от стремления к смерти. Или так и должно быть, вот я — ристалище борьбы тьмы и света.

* * *

24 февраля снова звонок из Рогачева. Но говорит уже не Андрей.

Андрей вообще больше ничего не скажет.

...Мы много об этом рассуждали у меня на кухне со стаканами и «Кашмиром» Планта, смерть, что это? И как это будет?

Мне сразу вспомнился один взгляд Андрея в трапезной за столом у о.Григория: это был какой-то истаивающий взгляд. И вспомнилось, как он махнул рукой в желтом луче фар.

Морг предоставил «Газель», и я на ней поехал навстречу мощному февральскому солнцу среди белых и пурпурных солнечных полей — в Рогачево. Водитель включил какую-то музычку. Я сначала хотел попросить тишины, но передумал, так даже лучше, не надо говорить.

Вспомнил, что видел этой ночью афганские сны, ротного Виктора Тудвасева, под начальством которого Андрей и служил. Еще мне приснилась какая-то песчаная коса в море синем и уходящий по ней человек. Моей Нине тоже приснилась песчаная коса в море.

Что делать человеку в этих обстоятельствах жизни и смерти? Цепляться за сны.

Сворачиваем в аллею дубов ланинских. Кирпичный дом. В сенях потемки. Девять дней назад так же заходил, открыл дверь и увидел Андрея, уже переставшего нас ждать. «Чего ты сидишь? Мы сигналим!» На его лице удивление сменяется улыбкой.

Но теперь все по-другому. Из сеней — в кухню, дальше в комнату. Вот мертвец на снятой двери, укутанный в старую простыню. Мне стало вдруг совершенно ясно, что Андрей уже не имеет никакого отношения к окостеневшему трупу.

Появился сосед, молчаливый тракторист литовец, бывший лесник, странноватый ражий мужик, и вдвоем мы перегрузили тело на легкие металлические носилки. Делали все под сбивчивый рассказ перепуганной насмерть Люды о том, как лицо Андрея вдруг все сделалось мокрым, и она кинулась к соседям звонить, а вернувшись, нашла его лежащим на боку, с зажатой в кулаке простыней и плотно закрытыми глазами.

На обратном пути водитель музыку уже не крутил, а мирно рассказывал о теще, рыбалке, машинах. Жизнерадостный малый наших лет, горбоносый, заросший щетиной.

...Поневоле как будто обращаюсь к Андрею, хотя ясно, что если дано, он и так все знает, а если нет — так ведь и не услышит, не прочтет. А я как будто пишу ему донесение, мол, ты гадал, как это будет, ну вот как: дорога в полях, «Газель», горбоносый водитель, мост через застуженный еще Днепр, поворот, железные ворота морга, сигнал. Появляется небритый сторож средних лет, спокойный, корректный... но что-то в нем внутренне ощерившееся, какая-то затаенная ухмылка первого брейгелевского слепца, падающего в канаву и увлекающего остальную слепую братию.

Открываем заднюю дверцу. Покрывало сползло. Тело немного повернулось набок, лицо темное, напряженное, глаза полуоткрыты.

Перекладываем тело на каталку. Сторож везет каталку в железный бокс, двухъярусный, набитый трупами. Как будто казарма. Даже у нас в палатках были двухъярусные койки.

В каптерке брейгелевский сторож заполняет журнал поступлений, на его щетинистом лице цветные всполохи телевизора. Стены каптерки в порнографических плакатах и открытках.

Отдаю деньги.

— До свидания.

На порочном лице сторожа ухмылка.

— Прощай, — говорит он назидательно. — Про-щай.

Смерть отупляет. Смерть мирская. В религиозных традициях — это новые возможности, новые горизонты. И это есть испытание веры. Что ты видишь, чувствуешь в смерти?

Что?

Вижу и чувствую только пропажу и пустоту.

«Жизнь после смерти» кажется мне чудовищной ложью. Нет ничего. Пусто. Вдруг стремительное разъединение тела и «Андрея», и тело на первом ярусе в морге, а «Андрей» — нигде. Это разорвано навсегда. И одно уже мгновенно исчезло. А другое мы погрузим на два метра в землю через два дня. И уже ничего не будет.

* * *

Снова везем тело Андрея, уже помещенное в гроб и приодетое, в Рогачево.

Солнце февральское. Высокое синее небо.

Гроб вначале поставили на дороге перед домом. На бледное и успокоенное лицо с высоких крон падали хлопья инея и таяли... да, февральское солнце сильное. Хлопья инея таяли на лице, и оно становилось мокрым.

Батюшку должен привезти Женька, но какая-то заминка. Бригадир похоронной команды, головастый здоровый мужик в папахе, да в лохматой папахе, в военном бушлате, военных брюках, кирзовых сапогах, выходец из Средней Азии, бывший военный и белый азиат, как и Андрей, так они сами себя там называли, начинает торопить, у него на носу следующие похороны.

Но ему объясняют про батюшку.

И тогда этот мудак говорит, что и сам может отпеть, делал не раз, и начинает кланяться и читать: «Отче наш!..»

Мастеровые, с которыми Андрей работал в Смоленске, починщики магнитофонов, пишущих машинок, утюгов, телевизоров и часов, изумленно таращатся. Еще немного — и все просто кинулись бы на этого самозванца-попа в папахе. Но шеф мастерской, светловолосый мужчина средних лет, восклицает, что сейчас поедет за батюшкой тоже. Ну а литовец и еще один сосед подхватывают гроб и уносят его в дом.

Я подхожу к папахе.

— Сколько будет стоит задержка? Мы заплатим.

Шут гороховый вытягивается, вспомнив, видимо, офицерскую выправку, и говорит, что не все в этом мире измеряется деньгами. Но незадолго до этого, в дороге, в машине, ясно давал понять, что необходим и, так сказать, гонорар сверх обычной платы. Я смотрю в светлое широкоскулое лицо пожилого бригадира, да ему уже пятьдесят пять лет, но с годами не умнеют, а только слабеют физически и душевно. Или эту слабость и принято почитать за мудрость? Впрочем, бригадир широкоплеч, здоров. Физически он явно не сдал. Ну а душевно — как был военным кретином, так им и остался.

А литовец уже нашел и грузовую машину, чтобы нам самим отвезти гроб и все сделать.

И с облегчением я говорю бригадиру-папахе, что он свободен.

Тот вдруг оборачивается смиренной овцой и отвечает, что ничего, следующие похороны потерпят.

Наконец прибывает священник, это о.Григорий, а кто же, здесь его приход. О.Григорий проходит в дом, снимает куртку, надетую на рясу, достает паникадило, книгу, надевает очки на нос с синими и багровыми прожилками, и все зажигают свечи. Читал о. Григорий невнятно, как это принято, скороговоркой. Но в этом действе была какая-то целительная сила, особенно если помнить кривляния бригадира-обезьяны в папахе.

Здесь, конечно, явная точка преткновения, как будто бы борьба двух сил. Волею обезьян в папахах мы и оказались за Амударьей. Этот бригадир явно коммунист. Ну, был им, когда это сулило всякие выгоды. И он хотел учинить свое коммунистическое отпевание. Не вышло.

В глазах Женьки стояли слезы.

После отпевания все поднялись на гору, с которой открывается вид на долину речки Еровеньки, где мы пасли коров, а дальше, по днепровским холмам Андрей гонял лошадиное стадо, пускал лошадей пастись, а сам лежал, сунув телогрейку под голову, у дымокурчика, читал, ибо, как и я, полагал, что вполне быть человеком можно только с книгой, реальной или воображаемой.

На этом высоком кладбище уже похоронен тесть Андрея, хороший синеглазый человек, офицер в отставке Василь Васильевич. И однажды мы поминали его, говорили о смерти вообще, ну, как обычно, пытались ухватить эту молниеносную змейку за хвост...

Умер Андрей в 43 года. Я издавна почему-то побаивался этого срока лет. Мерещилось, что это будет какой-то провал, рубеж, может, вообще предел. И когда двадцатого февраля мне исполнилось 44, вздохнул свободнее. А четыре дня спустя в этот зазор угодил Андрей.

И домовину опустили в глиняный окопчик. Насыпали мерзлой земли. Подняли рюмки.

И все.

* * *

Андрей даже исчез с моего радара снов. В сердце тоска осколком.

Сажусь ужинать и, ощущая вкус сыра, вдруг думаю, что он уже никогда не испытает этого. Как и многого другого.

Многого другого?

Что за оговорка! Да всего. Ничего. Целый мир утрачен. Слетел, как старая штукатурка. И пустота зияет. Никакого остова даже нет. Вообще ничего.

Что такое смерть для безрелигиозного существа?

Мрак, стоящий стеной. Что о смерти вообще можно подумать? Эти мысли просто исчезают, соприкоснувшись со стеной мрака, и все.

Нет, они все-таки возвращаются, как стрелы, бумеранги, и прорывают в сознании дыры.

Язычник еще мог мириться со смертью, ибо был тесно связан с природой, умирание-рождение вплеталось в цикл сельских работ, в календарные перемены. Язычник ощущал природу единым живым организмом. Христианство вырвало жизнь и смерть человека у природы, передав Богу. Все в воле Его. И смерть есть начало новой жизни, потусторонней.

Но и христианство прошло. Или проходит. Во всяком случае, на самом деле мы наедине со смертью. И примириться с нею у нас нет сил, веры, знаний. Мы снова беззащитны перед смертью, как лягушки, кролики и кузнечики на лугу, по которому гуляет стремительная коса в ледяной росе. Вышла косить высокая жилистая баба.

Андрей по ту сторону линии фронта и где-то глубоко в тылу.

Голос, взгляд, мысли разорвались, лопнули на морозе, засыпаны землей. Нитью патологоанатома сшит голос, а сердце в мусорном ящике. Брейгелевский сторож курит, по его лицу проходят цветные сполохи телевизора. Это и был Харон.

Смерть для существа, наделенного сознанием, противоестественна. Либо не должно быть смерти, либо — сознания.

Но пока есть и то и другое, и мы распяты между этими явлениями: смертью и сознанием. Выслеживаем какие-то *знаки.* А разведчик уже, наверное, где-то слишком далеко, слишком далеко... И ему, наверное, все равно, все равно, что там происходит у них, то есть у нас. В дневной обычной реальности бесполезно что-то искать. Остается одна надежда: ночь. Но и в снах ничего определенного, толкуй, как хочешь: Африка, черная книга, черный человек. На следующую ночь: где-то между Афганистаном и Индией, в укромном горном местечке буддийская сангха, и желание там остаться навсегда. Ну и что это все значит? «Где ты бродишь теперь, Капитан Белый Снег?»

Нигде, лежит себе мертвый на кладбище, заваленном снегом над дорогой, долинкой Еровеньки, и над ним два метра песка, земли. Ничего не видит, не знает, не слышит и знать не желает. А мы шатаемся, падаем, мертвецки пьяные. Ну как у нас тут в осинах принято разрешать все проклятые вопросы. Сидим с Женькой и слушаем «Кашмир», да еще этих, как Андрей говорил, шотландских евреев, «Назарет».

Голос Планта взбирается по кручам, а потом срывается и парит.

Но сейчас утром я сижу трезвый и предельно сосредоточенный, пишу за столом, освещенным мягким мартовским столом, письмо в армию Ваньке, сыну Андрея, так мы договорились с Людой. Убеждаю, что, раз уж так все получилось и ему сразу не сообщили, то теперь лучше дослужить, немного осталось, а потом и вместе поедем на кладбище и так далее.

Под рукой у меня И-Цзин и пять рупий, подбрасываю и нахожу ответ из тысячелетней дали: от несчастья в этой ситуации одно спасение — погружение в себя.

Мне спасительным кажется мир идеального, проявленный здесь: мысли и книги.

Нина: его процесс жизнедеятельности прекращен. Этому процессу сопутствовали явления, называемые духовными — а точнее психическими, — это также прекращено.

Гильотина смерти отсекла все. Что тут противоестественного или удивительного? Если сознание зарождается — а никаких данных, говорящих о дородовом сознании индивида, не имеется, — то когда-либо оно и погибает. Сознанию живущих остается остро на это реагировать, страдать. Возможно, это даже целесообразно, заставляет больше внимания обращать на живых, больше ценить их.

Яд смерти уйдет, растворится.

* * *

Бах целителен. Он окунает тебя в сострадающее пространство. Сострадание во всей его музыке. В его музыке нет жестокости. Вот в чьих пределах хочется странствовать снова и снова: в жизни и после смерти.

...«после смерти» — все-таки истребить до конца эту иллюзию невозможно. Ты рождаешься с ней.

Но вот я проснулся этой ночью и, всматриваясь в сумерки комнаты, отчетливо понял: нет никакого существования после смерти, ничего нет.

Исчезновение близкого по духу человека еще никогда не касалось меня. Эта смерть оказалась особенной по сравнению с остальными. Андрей был моим духовным братом, вот что. И не только в армии, но и у него в мастерской ребята спрашивали, не братья ли мы.

Нельзя сказать, что мы так уж дружили здесь, в Союзе, в России. Об этой дружбе не сказали бы: «Не разлей вода». В степи у горы Пачангар возле Газни — да. Мы часто встречались, много говорили, спорили. Даже читали вслух, как-то Андрей принес на КПП Куприна, он его очень любил, раскрыл и устроил читку, слушали все: Шурик Фефелов, чьи следы я никак не могу сейчас отыскать, татары Рашид и Мамбетов, вечно споривших друг с другом — даже и до драки. Мы тоже устраивали ристалища, специально распределяли роли: защитник коммунистических идей, защитник анархистских, антисоветских идей и так далее. Или: атеист и верующий. Кто-то стучал обо всем этом. Знакомые, появившиеся у Андрея в штабе, предупреждали, что особый отдел «в курсе». А мы считали себя истинными коммунистами, оставаясь при этом, разумеется, беспартийными, я так и комсомольцем не был, вышел в заповеднике из организации, добровольно. Любили мы тогда Евтушенко: «Робкие юноши, / вам проповедую: / Вы прорывайтесь в эпоху стремглав, / Ветер истории на поветрия / Или на ветреность / не разменяв». Мы-то, конечно, уже не были юнцами робкими — мордатые, закоптелые, как походные котелки, грубые, с наглецой, а как иначе, в казарме по-другому нельзя, сомнут. Но все-таки эти строки нас буквально окрыляли. Ветром истории мы считали истинный коммунизм. Этот коммунизм не имел ничего общего с советским, брежневским, а потом андроповским. Это был некий романтический коммунизм. Мы ратовали за подлинные равенство-братство. Корифеями этого коммунизма были Достоевский и Толстой. Почему именно коммунизм? Ну так не капитализм же или фашизм. То и другое мы считали неприемлемым. А придумывать какой-то совершенно новый «изм» тоже считали бесполезным. Коммунизм на самом деле всем был понятен. Мы проводили опросы среди солдат. И всем не нравился

именно брежневский коммунизм. Народная мечта о равенстве-братстве была жива и среди солдат ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

...А после споров и читок Андрей вдруг ночью срывался на бээмпэшках в кишлаки, а мы бежали по тревоге к орудиям, чтобы разнести в черепки и щепки пару домов крестьян.

После операций мы иногда не встречались по две недели, не хотелось ни ему, ни мне ни о чем говорить.

Андреев ротный, Виктор Тудвасев, кое-что знал о нашем новом коммунизме, и, сам идеалист, поклонник декабриста Лунина, знаток литературы, который мог наизусть читать целые главы «Евгения Онегина», сочувствовал нам и беспрепятственно отпускал своего подчиненного в расположение моей батареи, а она находилась на окраине полковой огромной территории, в боевом охранении.

Этот знаток Пушкина летал по степям в клубах пыли и беспощадно воевал. Солдаты его любили. Мы с Андреем, несмотря на его воинскую суровость, называли Тудвасева Человеком в форме. Тудвасев был честен, внимателен к солдатам. Гибель ребят его мучила. Офицерский его опыт драматичен, трагичен, он терял подчиненных и отвечал огнем и мечом.

Помню, как-то мы с ним заспорили о целесообразности всей этой кампании. Тудвасев возражал с большим жаром. Он хотел верить в рабоче-крестьянскую мечту. Но ведь видел все и сам во всем участвовал. Как и все мы, принесшие разрушения в афганский дом, разорение крестьянскому полю. Хотя сражались-то мы с врагами афганского крестьянина и рабочего. Но часто именно крестьянин валялся в арыке с перерезанным горлом. И свежая кровь запеклась на ноже разведчика, рядового и сержанта, у нескольких солдат ножи были в крови, а глотки дехкан перерезаны как-то единообразно. У нас, артиллеристов, оружие на вид было чище. Но входивших в кишлак после артобстрела пехотинцев тошнило.

Тудвасева иногда отправляли на верную гибель, а он выживал и выводил ребят из ущелий, хотя и не всех. Спускался в кяриз и сталкивался там с пьющими чай духами, открывал огонь. В этом кяризе он был вдвоем с одним солдатом, и первым приказал выбираться ему, а сам отстреливался, пока того тянули на тросе вместе с трофейными тяжелыми английскими винтовками «Ли-Энфильд», и одна из винтовок выскользнула и разбила ротному голову... Но истекающего кровью ротного все-таки вытащили. Из кяриза он угодил в госпиталь, подхватил там тиф и едва не помер.

Ротный умылся кровью, хлебнул лиха сполна. Андрея не задело ни разу. Меня тоже, хотя снайпер и пытался пробить башку в Газни и в Чарикаре. Не попал. Да и напарник мой на дежурстве в охранении промахнулся: случайно нажал на курок и выпустил очередь прямо под мои сапоги. Дурная была бы смерть. Но разве бывает смерть умная?

Ротного Тудвасева мы всегда вспоминали у меня на кухне или у Андрея в Рогачеве, на склоне за сеновалом и дровяным сараем у кромки картофельного поля, где сидели, покуривали. Встречи, правда, наши здесь были редкими, от случая к случаю. Иногда и почти год не виделись. Но я знал, что где-то по улицам Смоленска ходит мастер пишущих машинок с «дипломатом», пропахшим техническим маслом и полным всяких деталей, отверток, щеточек. Идет в редакцию смоленской газеты «Рабочий путь», в драмтеатр или в следственный изолятор, там тоже ломались машинки. И мы могли внезапно встретиться. И тогда уже просто так не расходились, это понятно. Наши разговоры начинались с мирных сообщений о том о сем, а заканчивались рассказами о Газни. Мы уже давно все друг другу рассказали: он о своем

Газни, я — о своем. Я еще и написать умудрился, как, впрочем, и обещал ребятам, мол, ищите потом книгу «Запах пыли». Но нам не казалось, что мы повторяем одно и то же, нет. Мы не повторяли, а снова были в Газни. Это и есть вечное возвращение. Изматывающее, но неодолимое.

Странной кажется даже и его работа мастером пишущих машинок. Я на них печатаю, он — ремонтирует. Примерно так же он подходил и к моим афганским опусам, оценивал, что не так, что сломано, что надо отремонтировать. Повторяю, его солдатский опыт был трагичнее.

Удивительно и то, что он оказался в Смоленске. Он любил Таджикистан, Душанбе, город тенистых аллей и обильных водотоков на улицах, город, где он учился в институте, гулял с девушками и друзьями — поэтами и философами. Кстати, одного из них звали Бузулукский. И он уехал учиться в Ленинград, присылал в Газни интересные письма, Андрей цитировал их. Бузулукский мечтал стать писателем. И вот сейчас в толстых журналах появляются произведения Бузулукского, живущего в Питере. Думаю, не тот ли это Бузулукский? Фамилия редкая.

Смоленск его поразил, как и всех, кто приехал следом за ним из Душанбе. Поразил грязью и нищетой. Люда, его жена, поверить не могла, что этот «город поблизости от Москвы», как рассказывал Андрей. Можно было подумать, что вокруг дикая Сибирь или самый захудалый уголок Азии. Да, иногда и мне мерещится, что мы живем в Тибете, особенно когда небо в октябре становится светозарным после дождей: вверху космическая парча синяя, а внизу руины, осколки, тряпки и колдобины, да лачуги по древним оврагам.

«Как вы здесь живете?» — интересовались и остальные родственники Андрея. Бедность магазинов бросалась в глаза. В Душанбе, например, можно было запросто купить стиральную машину или пылесос, у нас — по очереди, льготной и обычной. Участник боевых действий мог рассчитывать на льготную очередь, свой пылесос он заслужил.

Удручала душанбинцев и погода, сырая, туманная, лондонская. Смоленское солнце сирое. Как смоляне здесь живут? Да так вот и живем, спирт разводим, чтобы потеплее было в этой вселенной. Спирт разводить — увлекательное дело, затягивающее в свое иллюзорное тепло, в свой зыбкий уют. Хотя и душанбинцы это умели. Андрей этим напалмом выжигал Газни. И в то же время хватался, как и я, за газнийские истории, жил ими, если случалось нам встретиться.

Наши встречи были похожи на явление самума — черного афганского ветра. Вот чем обернулся завтрашний ветер Евтушенко. Да и разлюбили мы этого пламенного поэта. Как и похерили идеи романтического коммунизма. Коммунизм всюду одинаков, что на Колыме, что в КНДР, что в джунглях Пол Пота. Человечество изобрело два полюса зла: коммунистический и фашистский, два озера Коцит: сталинское и гитлеровское.

* * *

И внезапно под утро в комнату вошел Андрей, хотя узнать его было невозможно, весь он был из каких-то черных клочьев, как будто пепельных хлопьев, только глаза серые живые. Подошел к дивану, встал у изголовья и голосом, полным ужаса, сдавленно произнес мое имя и дотронулся до моей головы — меня как будто ударило током, и я буквально подскочил, прерывисто дыша и озираясь.

В ушах звучал этот сдавленный смятенный голос.

Позже прочитал у апостола Петра: «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного...» (1-е Петра, 4:2).

Приключение странное...

* * *

В церкви я чувствовал себя папуасом. Все эти изображения дев, старцев, младенцев и отроков что-то значили — но не для меня. Они были бестрепетны. Я не чувствовал в этих ликах никакого сострадания. Это был какой-то причудливый музей.

Взялся за Библию. Здесь проснулось хотя бы какое-то внимание. Облегчение приносили разговоры с Ниной. И окончательное разрешение дал Бах. Бах погрузил меня в мир идеально-живой и сострадательный.

Но все же окончательного разрешения не будет никогда, это ясно.

Приснилась Италия, поиски по каким-то меловым дорогам.

В вине грезятся райские кущи. Человек пьет, потому что не согласен с миром.

И попадает в ловушку именно к этому миру, в самые худшие его слои.

Иногда мелькает жесточайшая мысль, что смерть Андрею была послана вовремя. Постлана. Умер он быстро. Перед этим у него было просветление, связанное с о.Григорием. Патологоанатом сказала, что сердце у него было совершенно изношенное и долго он не протянул бы.

Думать о его сердце надо было раньше всем нам, его друзьям, и особенно мне.

...Под утро тихий ужас присутствия Андрея в нашей комнате.

Жена уехала в деревню, ну а я нырнул в хмель.

Купил наушники и, засыпая, слушаю Баха, проснувшись ночью, сейчас же включаю музыкальный центр и снова слушаю Баха, очнувшись утром, первым делом нажимаю на кнопку дистанционного управления. Ты, как радист, выходишь на связь с какой-то отдаленной планетой, где все жители только поют — и поют с возвышенной страстью (кантаты Баха) или играют на гигантском, как целый город, инструменте и бряцают лучами звезд. В темноте комнаты на синем дисплее чернеют какие-то цифры, буковки. Удивительные жители. Что они хотят сказать? О чем, о ком так вдохновенно распевают?

И я их слышу! Никто больше не слышит, ни соседи снизу, ни соседи сверху, ни соседи сбоку. Один я слышу — не какие-то там *голоса*, а целые речитативы и арии под музыку. И слышу, как гудят миллионы труб и трубочек музыкального агрегата величиной с город. Это планета Баха, где все поют и играют, поют о чем-то неизвестном и прекрасном.

Ну а мне снится *берег истинности*, как я называю это место на Днепре. Время от времени снится правый берег ниже старинного села Немыкари. В школьные годы мы ездили с друзьями на рыбалку и останавливались на левом берегу, в устье речки Лостни. На правом бывали, переплывая Днепр. Как-то я даже заночевал там в разлив, вода подступала к далекому сосновому лесу, байдарка шла среди сосен. Берег как берег. Никогда ничего особенного там не происходило. В снах он преображается почему-то: это некая неописуемая территория опасности, риска и чего-то невыразимого, что вот-вот проявится. Порой этот берег выглядит степью, пустыней с какими-то тайными тропами. Пробираться по ним надо с осторожностью. Страх, напряжение и в то же время радость от приближения чего-то невероятного, тайного, чудесного. Но никогда ничего не происходит и во сне.

В этот раз во сне вдруг обнаружил там родник, вода была такой холодной, что превращалась в снег. Босиком я бродил по снежной родниковой чаше и услыхал оклик. Пошел на сам берег. Берег пустовал.

* * *

Тертуллиан «О свидетельстве души»: «Чем более истинны эти свидетельства души, тем более они просты; чем более просты, тем более общеизвестны; чем более общеизвестны, тем более всеобщи; чем более всеобщи, тем более естественны; чем более естественны, тем более божественны».

Просто надо прислушиваться к своей душе.

Но это же и есть самое сложное. Душа может *шуметь*, и какие звуки истинны, а какие нет? Поэтому поэты и пытаются реконструировать детство — пору, когда эфир души был чист. Но это только кажется дядькам преклонных лет, измятым жизнью, потертым.

А вообще — не Бах и не Библия, не Тертуллиан, а близость Нины — вот, что целебно по-настоящему. На все мои пессимистические философствования и разглагольствования она отвечает отрицательно: «Нет, не так, нет!» И вся она, от кончиков пальцев до кончиков рыжих волос, — это «Да!» жизни.

* * *

Читаю С.Булгакова «О Евангельских чудесах». Булгаков пишет, что чудо — вещь естественная, иначе это было бы насилием над миром, на что Бог пойти не может. И чудеса Христа по силам человеческим, о чем Он Сам говорил. Даже чудо воскрешения на четвертый день Лазаря? Да.

Христианство, Библия, Евангелия, послания, книги, рассуждения — все это дает какую-то возможность вернуть человеку, удрученному смертью, равновесие.

Читаю, как Христос возродил к жизни Лазаря. А может, на самом деле этого и не было? Или все было не так, кто знает. «Свидетельства души» могут быть противоречивы.

Памятник Андрею заказан, решили использовать афганское изображение, мастер взял ту фотографию, где мы с ним вдвоем на фоне заснеженного Пачангара, постриженные наголо по причине 100 дней до приказа.

И это правильно. Андрея сжигал газнийский самум, иссушивал.

И вот половина газнийской фотографии стала черным мрамором. Никто не мог представить в тот зимний теплый день в полку, что вид на гору Пачангар через сколько-то лет будет водружен окаменевшим над речкой Еровенькой. И этот лысый парень в хэбэ станет черным мрамором. А другой еще будет двигаться, дышать, жить.

Три часа бессонницы, слушал кантаты Баха. Баха ночью и надо слушать. Здесь тьма и покой, а где-то сверкает, поет всемирная жизнь.

Встал попить воды, глянул в окно: силуэты домов, бледная круглая луна. Жена во сне зовет дочку.

Но разве здесь не всемирная жизнь свершается? Луна и кружка воды, голос спящей женщины, синий дисплей.

Мертвецы с нами навсегда. Но они — как обратная сторона этой Луны в окне. Помню, как в деревне у Андрея произошло самоубийство. Один обычный старый мужик, «тихий и приветливый», подмел двор, надел чистую рубашку, достал с чердака охотничье ружье. Жена удивилась: «Откуда это у тебя?» Он ей ответил: «А это не твоего ума дело». Ушел в сарай. Жена услышала выстрел, доковыляла, распахивает дверь. «В сердце... промахнулся... Неси скорее патрон... Там, в гардеробе, в куртке...» — проговорил старик с развороченным животом и рухнул. Скончался. Деревня долго судачила об этом случае, долго все не могли опомниться. И Андрей тоже удивлялся, бормотал, что мужик был самый заурядный, но, оказывается, нет, что-то в нем таилось, какая-то загадка. Никто так и не докопался до причин этой смерти. И жена

ничего разъяснить не сумела. Никаких страшных болезней, долгов или тяжких драм. Все «в норме». Дочка замужем в соседней деревне, внук. А после смерти вдруг открылась какая-то загадка, да такая, что уже не разгадать. «Кончил себя как самурай», — говорили бабы у магазина, насмотревшиеся на своем веку всяких иноземных фильмов.

На обратной стороне Луны все обитатели таинственны. Хотя американцы на самом деле эту темную сторону и сфотографировали. Ну и что.

Смерть преображает человека.

Да что ж, все избитые истины.

Лучше почитать С.Булгакова. Он сообщает, что Бог смерти и не сотворил. Смерть «есть болезнь болезней и страдание страданий». А дух бессмертен. «Смерть же отделяет душу, оживляемую духом и оживляющую тело, от тела, становящегося трупом и прахом, и это лишение телесного прикрепления души к миру (...) вносит внутренний разрыв в человеческую жизнь».

Да, и разрыв не только в бытие умершего, но и оставшихся жить. Разрыв, шов. Нет, еще не шов... Или уже все-таки что-то происходит? И вот эти попытки все осознать, описать и есть сшивание мыслями, словами — разрыва, бездны?.. Все религии и зиждутся на этом наведении моста над бездной смерти.

Но и атеисты не сходят с ума. Хотя мне в жизни ни разу не встретился подлинный и во всем последовательный атеист, ни разу, нигде. А те, кто называл себя атеистом, на деле при ближайшем рассмотрении оказывались язычниками.

С.Булгаков продолжает: «Мощи же суть бывшее тело, которое, став трупом, разлагается, возвращает свое вещество природным элементам, но в какой-то части своей (зерно, первичный атом) сохраняет связь с духом, и она тем реальнее, чем больше была власть духа над телом в жизни. Поэтому в святых мощах эта связь с духом усопшего ощущается более непосредственно, на чем и основано их почитание».

Тут уже не особенно поспоришь. Да и разве моя цель что-то оспорить? Наоборот, я хотел бы убедиться и поверить. Мощи святых демонстрируют парадоксальное противостояние разрушению. Правда, не только мощи христианских подвижников. В Бурятии выкопали из могилы ламу Итигэлова, он совершенно цел после долгих лет смерти.

Зерно и первичный атом, о которых говорит Булгаков, это, надо полагать, тот кирпичик, что послужит воссозданию нового христианского тела после всеобщего воскресения.

Мои знания противятся этим идеям, не подтверждают их. Но сейчас же включается что-то еще, может, как раз голос души. Хотя это, наверное, жалкая иллюзия души, слабость ее, а не сила. Но опровергнуть это, точнее заставить иллюзию исчезнуть, тоже не в моих силах.

И уже столько дней прошло, сороковины миновали, а я так и не могу сказать, где сейчас на самом деле разведчик Андрей. Несомненно, тело его в земле на холме над деревней и долиной. Но это какое-то недостаточное утверждение. Ведь этим утверждением смерть Андрея не исчерпывается? Нет.

Еще остаются хотя бы и сны.

Новалис называл религиозное учение научной поэзией, а историю лишь эпизодом вечности.

Вербное воскресенье. Снег.

Пасху встречали рано утром виноградным вином на кухне, глядя на пустые улицы и спящие еще дома. Как-то так вышло, что проснулись с Ниной в одно время, в шесть часов, и встали.

Жизнь осиливает смерть.

Вопрос о происхождении мира и жизни с точки зрения физиков некорректен, ибо по следствиям надо определять причину, а такого рода задачи не могут дать достоверного решения-ответа, малейшая погрешность грозит искажениями. Да и практического значения этот ответ не будет иметь, сообщает статья в журнале. Разве?.. Впрочем, изменилось ли сознание после того, как человечество узнало о том, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца? Хотя физики заботятся не об изменении сознания. Вообще кардинально изменить сознание человека уже просто невозможно. Его сформировали религии, войны, книги и в меньшей степени научные воззрения и открытия.

И «Первая оправдательная речь умершего» из египетской «Книги мертвых» понятна без комментариев и через эти тысячелетия и тому, кто считает себя атеистом, и тому, кто думает, что он истинный христианин. И наверное, любой, хоть коммунист, хоть буржуй, ученый или бомж, не отказался бы соответствовать стандартам этого древнего умершего:

«1. Я не чинил зла людям.

2. Я не нанес ущерба скоту.

3. Я не совершал греха в месте Истины.

4. Я не [...]

5. Я не творил дурного.

6. [... ... ...]

7. Имя мое не коснулось слуха кормчего священной ладьи.

8. Я не кощунствовал.

9. Я не поднимал руку на слабого.

10. Я не делал мерзкого пред богами.

11. Я не угнетал раба пред лицом его господина.

12. Я не был причиной недуга.

13. Я не был причиною слез.

14. Я не убивал.

15. Я не приказывал убивать.

16. Я никому не причинял страданий.

17. Я не истощал припасы в храмах.

18. Я не портил хлебы богов.

19. Я не присваивал хлебы умерших».

И так далее — вплоть до финального восклицания:

«37. Я чист, я чист, я чист, я чист!»

Увы, вряд ли много найдется землян, которые смогли бы со всей честностью повторить эту речь. И никакая физика тут не поможет. Какая мне разница, восклицал подпольный человек Достоевского, солнце ли вокруг земли ходит или наоборот?!

* * *

Органная музыка Баха — это не только знаменитая «Токката и фуга», но и теплые задушевные «Фугетты», «Итальянские мотивы», «Хоральные прелюдии», проникновенно-созерцательные, часто тихие, волшебные, рисующие силуэты какого-то космического сада, где деревья вздыхают, птицы посвистывают, в водах отражаются чьи-то помыслы, вспышки движущихся светил. И садовником там Иоганн Себастьян Бах. Любопытно, что пожилой Бах напоминает дядю Витю Данилкина из деревни отца, немузыкального и добрейшего человека, потерявшего ногу в войну у Кенигсберга.

Первый соловей.

...В каком-то зале, то ли концертном, то ли молельном, в толпе мелькнуло знакомое лицо. Вскоре этого человека подвели ко мне. Он улыбался. Протянул руку, спрашивая: «Как дела? Как дочь?»

Я собирался обрушить на него лавину своих вопрошаний, но сон катастрофически искажался, обваливался в реальность.

Ключ

Годовщина смерти Андрея, и ночью мы с ним попали в засаду, я спасся, Андрей сгорел, и от него остался ключ, ключ от какой-то двери.

Предельный вопрос и запредельный ответ

Андрея спросил о посмертном существовании. Каков же был его ответ?

Он просто исчез. А вместо него появились два каравая, свежие, посыпанные тмином.

Бессознательное страшится прямого понятного ответа. Хотя ведь ответом уже можно считать и самого приснившегося Андрея. Но во сне я почему-то не учел того, что передо мной во плоти Андрей. Следовательно, какая-то подспудная мысль о том, что он лишь фантом, была.

Ну и какая цыганка разгадает этот ответ: хлебы, посыпанные тмином?

Или здесь христианский намек?

Через два дня идем, точнее тащимся по какому-то унылому месту, вчетвером: Андрей, я, еще два мужика, один из которых вроде бы кинооператор, за плечами у всех рюкзаки. Вступаем в крошечную долинку, мрачную и грязную, нас окружают горы, теснятся. Карабкаемся по камням, перелезаем через трещины. Зачем мы сюда сунулись?

Все останавливаются, сбрасывают рюкзаки, оператор лезет за камерой, а я иду вперед — и вдруг обнаруживаю в стене расщелину, сияющую синевой. Оборачиваюсь и кричу: «Эй! Сюда!» Спутники снова взваливают рюкзаки и направляются ко мне.

И по расщелине мы выходим к морю.

До горизонта сверкающая вода.

Разводим костер из плавника, на большой сковородке жарим яичницу, достаем бутылки.

«Подождите, — говорю, — я же никогда не был на море». Сбрасываю одежду, разбегаюсь по песку и ныряю. Меня качают волны.

Наконец усаживаемся, разливаем водку — но стоп! Появляются люди, аборигены. Мы так и держим наполненные чарки.

Эти сны в преддверии двухлетней годовщины со дня смерти Андрея, собираемся с Женькой поехать на кладбище в Рогачево. Два года Андрею. Минус два. Какой-то обратный отсчет. Смерть — контрапункт, две темы звучат сильно: бытия и небытия.

Андрей в каком-то неведомом странствии — хотя бы только в сознании живых, сына, Людки, друзей.

Но эту местность мрачную — до стены с расщелиной — вижу просто въяве. И потом морское побережье, сияющая вода. Ведь это тоже — символ? Ну, или метафора?

Разведчик помалкивает.

Черный рис, мутное вино

Звонит Андрей из мастерской.

— Из мастерской? — спрашиваю.

— Да, — отвечает. — Меня закрыли.

— Зачем?

— Ну, зачем... зачем... — Усмехается в трубку. — Чтобы не сбежал.

— То есть?

— То и есть, дружище. Закрыт в мастерской. А для чего — для того, чтобы вел себя смирно, друзей не позвал. А то разгромим здесь все. Музыку ведь потянет слушать, «Кашмир». А стереосистемы на ремонте... ну и начнем ремонтировать. Забыл, что ли, как это у нас бывает?

— А в Рогачево позвонил? Людке?

— Ну да, ну да.

— И что ты делаешь? Телевизор смотришь?

— Нет. Лежу, тут топчан, плед... Помнишь, Бузулукский из Питера в Газни писал, что он укрылся пледом, покуривает трубку, смотрит на морозный пар на улице и читает Бунина?

— Помню.

— Ну... и я укрылся и читаю твоего Басё. Скоро верну.

— Ладно, можешь не возвращать, если нравится.

— Что ж я, отморозок? У писателя отнимать.

— Хорошо, привезешь пол-литра молока из Рогачева.

— Ты думаешь, Басё так дешево стоит?

— Привези литр доброго жирного молока от рогачевской коровы. Почти хокку?

— Слишком коряво и жирно. У него-то устройство души было другим.

— Каким?

— Ну, вот таким: «Пируют в праздник, / Но мутно мое вино / И черен мой рис».

Герман Власов

Герой в пейзаже

1

Туман сменил цвета лазури,
в Тамани не укрыться бури.
Сумеет перейти пролив
в туман и шторм герой в пейзаже.
А как рассвет на плечи ляжет:
— С яким узлом, куды ходив? —

всплакнёт и скроется до хаты.
А где он сам, где груз богатый,
шкатулка, краденый кинжал?
Ундина, Гётева Миньона,
порода, ветр — поверх закона.
С попутным Янко убежал.

И впрямь, видать, в дому не чисто —
путь рифмача, контрабандиста.
Но стоит бросить горсть монет
на Ожиданья длинный берег,
в гнилой Сиваш, ревнивый Терек
и — паруса увидеть след.

2

О смерти думать разве надо,
когда качается едва
Эльборус белою громадой,
как сахарная голова;

дно пропасти туманом скрыто,
в туман летит от колеса
щебёнка; отведи глаза;
снег, редкие кусты самшита;

Власов Герман Евгеньевич — поэт, переводчик. Родился в 1966 году в Москве. Окончил филфак МГУ. Автор четырех поэтических книг. Лауреат Международного литературного Волошинского конкурса (2009). Живет в Москве.

грузин скрипучую арбу
ведёт, спускаясь осторожно;
опасен снежный перевал —

то оползень, а то пальбу
затеют; до избы дорожной
с полста шагов, а там — привал.

3

Решительно нельзя нам говорить,
насквозь друг друга видя, но мирская,
любезный доктор, надоела ныть,
скучилище! ... Что эта Лиговская —

княгиня, не княжна? Лицо моё
знакомо ей, зимой встречала в свете?..
А! Сплетни про меня передаёт?
Достойный друг, о я раскину сети!

Да уверяйте (любит о страстях?) —
преглупый юнкер бился на дуэли,
разжалован в солдаты... Из растяп,
хотя и носит крестик на шинели...

Не представляйте, я — герой. И что ж?
Спасу от верной смерти — тем в сношенье
войду... А водяная молодежь?..
Ах, полноте... Не может быть!.. но кем ей?..

Как? Родственница с родинкой? Щека
не правая ли? Вот как? Мне сдаётся,
она... (тут перечеркнута строка)
Пощупайте: что, чаще сердце бьётся?

Ну, торжествуйте! Узнаю портрет.
Да, в старину... (гора, как дряхлый витязь;
в расселине туман) ... Напротив, нет!
Да обо мне дурнее отнеситесь...

Куда же вы? Фазан уже готов!
Осталось кахетинское! А кофий?
Не вышел ростом, хром, большеголов,
наш доктор... Право слово — Мефистофель.

В позорный век как выжить средь невежд?
Укрыта сеном и тесна избёнка,
но синий воздух — цвет моих надежд:
он чист и свеж, как поцелуй ребёнка.

4

Лорнировать, полузевая:
— Тебе идёт без эполет.
Машук обходит грозовая,
блестящий пряча пистолет.

Стакан с водою кислосерной
допив, на землю урони.
Она твоя уже, наверно,
а нет — покорно извини.

В мазурке будет мало толка,
но, милостивый государь,
на всю их важность, все иголки —
рукою по столу ударь!

Смелей, Кавказа покоритель,
в гостиной шпорами звончей
ударь! Ты выйдешь победитель
усталых, бледных москвичей.

Старик, натянутый гвардеец,
франт, угловатый командир, —
ты попадёшь, почти не целясь.
Примерь у зеркала мундир.

На этой холостой фатере
вольно мечтать и ревновать.
Я обещал покорной Вере —
и буду нынче танцевать.

5

В Кабарге нет Карагёза лучше —
тонок, строен, воздуха быстрей,
вороном когда слетает с кручи,
искры высекая из кремней.

В деревнях нагорных нету краше
младшей Бэлы. Видел бы кунак!
Как она поёт, лезгинку пляшет,
канителью вышивает как!

Понял я, пересекая площадь,
в свете убывающей луны:
темноглазы девушка и лошадь,
им обеим верной нет цены.

Дорогую украдут невесту,
лошадь уведут за удила, —
нежности не станет в сердце места,
станет сердце твёрдым, как скала.

Разобью ружьё, на землю брошусь,
так лежать останусь до утра.
Заметёт разрыв-траву порошей,
пламя разметает от костра.

С этой долгою обидой в горы
потянусь, начну губить людей —
нападать на сонные дозоры,
угонять кубанских лошадей.

И в один дождливый, зябкий вечер
голову разбойничью сложу —
приговор гурды моей не вечен,
уступлю я русскому ножу.

Все ушли — красавицы, герои...
Слышен вечный гомон пастухов.
Я один под чёрной Гуд-горою
нанимаю для арбы быков.

б

Окончил вечер у княгини
(княжна, забавный старичок;
конечно, Вера). Сам Вергилий
над головами вёл смычок.
Импровизировал без меры,
переходил из круга в круг,
но вовремя в глазах у Веры
печаль завидел я, испуг
и тему разыграл иную:
пока внимания струна
не ослабела, — я вживую,

переиначив имена,
всё выдал. Как в ту ночь без слова
одна уехала она
(когда б она решилась снова —
не пожалел бы скакуна);
как я страдал, был растревожен,
друзьям без повода грубил;
как, шашку вытащив из ножен,
лозу на улице рубил.
Она смотрела с интересом,
привстав ко мне из глубины
вольтеровских зеленых кресел,
и, тембр натянутой струны
её задел, она зарделась,
и — нежным осветился взор.

Куда её досада делась? —
Она вступила в разговор!
Мы день окончили в гостиной
за круглым с лампою столом
и было сладко и не стыдно
от этой повести втроём.
Мы были счастливы, наверно,
готовы жить, а не дышать.
Как жаль, что метафизик Вернер
в одинадцать нас гонит спать.

7

С раннего утра, завтра —
на шести шагах, в ущельи;
освежившись, забыв про завтрак
и сон (сладостно отмщенье), —
из Пятигорска с четыре мили
мимо колонии ехать на кобыле.

В седьмом пополудни, завидев тучу,
выбрать место посуше, ровнее,
лезть на осыпающуюся кручу,
ветви ломая, язвя. Над нею —
гром и молнии, разверзлись пучины.
В ливень лица враждующих неразличимы.

В перепутанное автором время суток
влажная стена в себя впитает
оба лица; неприятельское судно
развернулось бортом, где до трех считают;
и уже неважно в двадцать шестом июле,
кто холостым заряжал, кто пулей

целил в воздух, радугу, блеск росинки,
в памятную грозу, её горный тенор;
ничего не останется на фотоснимке —
пулю доктор извлечёт из тела,
взвесит на ладони, задумается (такая работа).
Перечтёт «Пуритан» Вальтера Скотта.

2016,
январь—март

Роман Сенчин

К мужу

Рассказ

— Ты на хрена воду из морозилки в фарш херачишь? — с возмущением, будто эту воду лили ей на голову, спросила Светлаха.

— От ледяной фарш сочнее будет. Женя любит сочные пермячи.

Разговаривать Марине не хотелось, но — надо. Если не отвечать, не реагировать на Светлаху, она запросто могла вышвырнуть.

— М-м, сочные любит... — Светлаха сморщилась. — Сперва сядут, а потом все чины выведут.

Она была злой на парней и мужиков на зоне, а девушкам и женам, которые приезжали их навещать, сочувствовала. Но требовала сочувствия и к себе. Столько этих откинувшихся зэков прокочевали через ее избушку, и ни один не задержался. И вряд ли уже кто задержится.

Светлахе далеко за полтинник, худая, изожженная плохой водкой и спиртом, не верящая в мужчин...

— Женя из еды никогда ничего не просил. Это я с тех пор помню... Ну, — Марина споткнулась, прошлое показалось ей выдумкой, ее девичьей фантазией, которую она до сих пор хранит, оживляет в себе, — ну когда вместе были.

— Двадцать кэгэ макарон — и пускай радуется. — Но, видимо, почувствовав, что перебарщивает, надо смягчиться, Светлаха махнула рукой: — Как знаешь. Жарь, мне газа не жалко.

Не вслух, конечно, про себя Марина усмехнулась:

«Ну дак, не жалко — пятьсот рублей получила, чтоб я тут могла...»

Изба Светлахи давным-давно служила этакой кухней для женщин, приехавших издалека, чтоб приготовить домашние блюда. Запекали бараньи ноги, варили борщ с мозговой костью, лепили пельмени, манты, позы, пекли пироги... Женя очень любил пермячи. Такие пирожки вроде беляшей, но плоские, с кружочком открытого мяса, из несдобного теста. Говорит, бабушка ему в детстве такие жарила. И вот уже пять лет, с тех пор как Женю перевели на эту зону, Марина в этой избе жарит пермячи. И всякий раз Светлаха возмущается, злится, а потом машет рукой...

Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 году в Кызыле. Окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Печатался в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя» и др. Лауреат премий «Эврика», «Венец», «Ясная Поляна», «Большая книга» и др.

Порезала тесто на ровные доли, раскатала, положила на каждую лепеху пахнущий луком и перцем фарш. Не рассчитала, и фарша осталось прилично. «Ладно, — решила, — пускай остается Светлахе. На котлеты».

Стала заворачивать тесто и облеплять фарш. Сразу жарить не надо — пусть постоит. Будет вкуснее.

А время уже поджимало. Через час сквозь поселок поедет маршрутка, а через два нужно быть в домике, где приехавшие на свидание пишут заявления и перечень продуктов и вещей, потрошат сигаретные пачки, разворачивают конфеты. В общем, готовятся к досмотру... Потом приходит инспектор и собирает заявления. Опаздывать нельзя.

Семь лет Марина видится с Женей по трое суток два раза в год. Два года на одной зоне, а пять лет — здесь.

Их поселяют в маленькой комнате с фанерной дверью. Они спят вместе на скрипучей, с ямами, будто нарочно сделанными для неудобства, кушетке. Марина будет кормить Женю привезенными салатами, пермячами, готовить хоть и простую — борщ настоящий на тамошней кухоньке не сварить, пирог не испечь, — но все же домашнюю еду; они даже в душ могут ходить вместе...

Жене дали десять лет за участие в преступном сообществе. Хищения, торговля наркотиками, угрозы убийства... Обвинения во время следствия и на суде были страшными, ущерб огромным; казалось, укравшие, наторговавшие столько должны быть богатеями. А в клетке сидели восемь молодых, щуплых, с недоуменными лицами парнишек со станции эстэо. И никаких особых денег у них не обнаружили, никаких дворцов и яхт. Да и какие дворцы и яхты в их городке из пяти улиц, на речке, в которой самое глубокое место по пояс...

На первых свиданиях с мужем Марина спрашивала: «Это правда? Правда, что вы все это делали?» Женя кривил лицо: «Подстава». И давал понять — подставили такие серьезные люди из области, что лучше оттянуть десять лет, чем сопротивляться. А может, и не подставлял никто. Иногда против воли Марине начинало мечтаться, что вот выходит Женя и они уезжают далеко-далеко, в какой-нибудь полусказочный Сочи или вообще за границу. И дальше, как в фильмах — Женя привозит ее к огромному дому на берегу моря и говорит: «Вот, здесь мы теперь будем жить». А у длинного пирса покачивается на лазурных волнах белая яхта. Небольшая, но с такой уютной каютой...

Взяла тяжелую, всю в рытвинах чугунную сковороду, поставила на плиту. Бросила на сковороду кусок животного жира — на растилке не так вкусно получается. Подождала, покрутила сковороду, чтобы жир растекся равномерно. Принялась выкладывать пермячи дырочками вниз... Чувствовала на себе печальный взгляд Светлахи.

Кто ее назвал так? Наверное, какой-нибудь из первых ее мужчин, из тех, кого она любила. Поэтому и прижилось, и при знакомстве она гордо представлялась — Светлаха. Этакая своя деваха, кровь с молоком. А на самом деле, и она это быстро вспоминает, — сморщенная копченая селедка.

А Марина еще ничего, еще держится. Двадцать семь лет. Детей, правда, нет, хоть и стараются с Женей на каждом свидании. Но, может, это так и правильно, что пока не получается. Не дает бог. Вот выйдет Женя, или по крайней мере на поселение переведут, и случится.

— Попробуешь? — перенося первые пожаренные пермячи из сковороды в термоящик, предложила Светлахе.

— Да чего их пробовать? Я ж знаю — ты у нас мастерица. Вообще, знаешь, любуюсь тобой... Но жалко.

Марину толкнуло заспорить, что нечего ее жалеть, все уж точно не хуже, чем у нее, Светлахи. Проглотила толчок, лишь пожала плечами: «Как хочешь».

Вкусный запах разбудил аппетит. Но есть сейчас было неудобно, да и уже некогда... Марина прибралась на столе, помыла сковороду, упаковала сумку.

— Что ж, — вздохнула с сожалением и облегчением, — пошла я. Спасибо, Света.

— Не благодари... Я понимаю. Да и твоя пятихатка агонию мою на недельку продлит. Еще вот мяса оставила. Тебе, в общем, спасибо.

Мороз ударил сразу, в сенях. Перехватило дыхание. Середина марта, а давит совсем зимний, под тридцать... Вышла во двор, тесный, заваленный ломаными — на топку — досками, нераспиленными бревешками... Может, часть этой пятихатки Светлаха потратит, чтоб нанять местных попилить, поколоть бревешки. Пить она вроде не особо пьет. Марина не видела ее пьяной... Чего не хватило, чтоб сложилась жизнь?..

Сумок было две, не считая маленькой, женской. В одной продукты, в другой шлифовальные диски, тубы с клеем, какие-то уголки, которые по заказу Жени она накупила в строительном магазине. Ему надо хорошо работать, чтобы скорее перевели на поселение, а для перевыполнения плана необходимы вот эти диски и прочее. Там, на зоне, ничего у них нет — хоть пальцем болты закручивай.

Небо чистое, светло-светло-голубое. Совсем как то море, какое виделось Марине в ее невольных, ненужных, но, наверное, спасительных от уныния мечтах... Снег хрустел оглушительно, как рассыпанный сахар. Избы были черные, какие-то все кривые, и напоминали полегшее стадо огромных буйволов. Или мамонтов... Тут часто находят кости мамонтов... А деревья были прекрасны — все в снежном пуху. Как в фильме «Морозко».

Марина старалась отвлекаться такими мыслями, чтобы не чувствовать тяжести сумок. Но в конце концов в голове осталось одно: сейчас поставлю, сейчас поставлю и отдохну. Цеплялась взглядом за очередной столб вдоль улицы, приказывала себе дойти до него, а дойдя, цеплялась за следующий: лучше до этого.

Нет, всё. Опустила свои клетчатые баулы на утоптанный снег. Разогнула спину, выдохнула густым, плотным столбом пара. Под пуховиком, кофтой, майкой струйками бежал горячий пот. Щипал кожу возле лямок лифчика...

Стоять так, без дела, было глупо и обидно. И накатывала тревога: я вот так стою, а маршрутка уже подъезжает к остановке, я стою, а она уезжает... График движения тут соблюдается относительно. Десять-пятнадцать минут плюс-минус в порядке вещей.

Подхватила сумки и сразу почувствовала, что руки совсем не отдохнули. И внизу живота стало давить... Зря столько набрала. Но все нужное. Да и по сути-то что тут весу — по десять с небольшим килограммов в каждой сумке... Что ж она такая слабая стала?

Но позади был день в поезде, потом почти день в крайцентре в ожидании автобуса в этот район, за который она накупила колбасы, сметаны, масла, кефира, еще разного, что быстро портится. Вчера поздно вечером притащилась в избушку Светлахи, спала часа четыре, а утром стала готовить пермячи... Конечно, устала. Ну тут уже близко до остановки — вон тот переулок, и там уже главная улица. Слева почти сразу столб с рамкой, в которой когда-то было расписание движения автобусов...

Сзади загудело. Марина подалась в сторону. Еще собьют.

Проползла фиолетовая, с пятнами ржавчины по низу кузова «Газель» и, почти

перекрыв путь Марине, остановилась. Передняя пассажирская дверь открылась, высунулась голова мужчины в черной ушанке.

— Далёко? — спросил мужчина. — Если что, могу подвезти.

— Да мне тут... Мне рядом. — И она стала обходить «Газель»: разговаривать, а тем более ехать с незнакомым было опасно.

— Вы не бойтесь. Я верующий, — сказал мужчина. — Я ж вижу — на зону. А я по той дороге как раз...

— У меня с деньгами плохо.

— Да не надо денег. Грузись, и поехали. Я не обижу. Честно.

И Марина послушалась. Откатила боковую дверь, впихнула в салон сумки, забралась сама. «Газель» толчком тронулась.

С минуту водитель молчал, и Марине было хорошо в эту минуту, а потом — начал:

— Эх, сколько вас мотается, бедные вы женщины... Судьба... И ведь бесконечен этот круг. Бесконечен. Его разорвать надо. Выйти из круга этого. Праведно жить... Это трудно, согласен, но надо. Иначе — ад. И земная жизнь адом будет, и потом...

Он помолчал, видимо, ожидая слов от Марины. Марина не отвечала... Водитель покопался рукой рядом со своим сиденьем, достал тоненькую книжицу.

— Вот, почитайте, пожалуйста. — Протянул Марине. — Может, мужу передадите. Ему полезно будет.

Марина приняла ее, глянула обложку. «Сторожевая башня». На картинке рука тянется к кошельку с деньгами. Ниже подпись: «Стоит ли быть честным?»

— Спасибо.

Конечно, это она Жене не отдаст. Да и не разрешат наверняка. Любая литература уходит на проверку в особый отдел, а «Сторожевая башня», как она где-то слышала, чуть ли не запрещена. Сектантство, что ли...

Убрала подарок в маленькую сумку. Старалась не слушать возобновившийся монолог водителя... Бередит, прямо режет душу своими простыми вроде бы, но такими сложными в реальной жизни истинами. Спасибо еще, вопросов не задает, не расспрашивает, за что мужа посадили, исправляется или как...

Смотрела из салона в ветровое стекло, торопила «Газельку». Скорей бы увидеть зону, скорей бы доехать.

Дорога петляла через перевал, огибая вершины. Машина то ползла еле-еле, задыхаясь и отчаянно взревывая, то катилась легко, мотора становилось не слышно. Только свист ветра. По обочинам, среди валунов и гольцов торчали совсем мертвые сейчас лиственницы, кривые березки, и лишь иногда радовали густой зеленью сосны.

А вот знакомый поворот. Крутой, слепой: дорога здесь сужается, обтекая выпирающую скальную стену. С другой стороны — ущелье. Машины снижают скорость до предела, крадутся, водители высовываются из окон, стараясь разглядеть, пуста ли дорога впереди. Встречки на этих сотне-другой метрах практически нет, и два грузовика разъезжаются с великим трудом.

За поворотом же начинается долгий пологий спуск, и внизу — зона. Отсюда, сверху, среди тайги она представляется какой-то базой инопланетян. Высоченные бетонные стены, какие-то то ли ангары, то ли цеха с полукруглыми белыми крышами. Впечатление, что под этими крышами могут храниться только летающие тарелки... Труба, но странная, тоже белая, толстая, заметно сужающаяся кверху. И повсюду развешаны огромные зеленоватые сетки. Марина знает их назначение, но ей каждый

раз представляется, что это какая-то маскировка... Даже вышки необычные, похожи на башенки или маяки.

Но вблизи зона вполне себе земная. Бродят недалеко от стен какие-то старики, будто томясь свободой, ходят торопливо мужчины и женщины в военной форме; в полукилометре находится деревушка, и домишки ее такие ветхие и убогие, вокруг такая грязь, что Марина ни разу не решилась узнать, можно ли где-то здесь жарить свои пермячи.

— Спасибо, вот тут я выйду, — сказала водителю.

Тот стал тормозить и остановил «Газель». Дождавшись, пока Марина вытащит сумки, сказал назидательно:

— Вы подумайте над тем, о чем я говорил. Ведь так можно всю жизнь промучиться, а вы вон какая еще молодая.

— Хорошо, хорошо. Спасибо.

Когда Женю посадили, Марина начала выяснять о порядках в тюрьме, колонии, какие свидания предусмотрены, передачи, посылки. Их тогда человек двадцать собралось — родители, жены, девушки, братья, сестры посаженных... У Марины появились приятельницы — девушки, женщины, чьи парни, мужья, родные находились в заключении. И чего только от них она не наслушалась. Как обыскивают, заставляя раздеваться догола, забираясь руками в резиновых перчатках во все отверстия, даже веки оттягивают, чтоб убедиться, что ничего запрещенного за ними нет...

На первое длительное свидание Марина шла на подкашивающихся от страха и стыда ногах. Ее даже вырвало чем-то желтоватым и горьким... Но обыска как такового не было. По крайней мере, как описывали приятельницы. Всё прошло благополучно.

А теперь на свидания она ездит, как на работу. Деловито, сосредоточенно. Всё изучив за эти годы, отточив движения.

Вот домик рядом со стеной. Он довольно приличный по сравнению с теми, в деревушке. Этот домик для тех, кто приехал побыть с заключенными. Вернее, подготовиться.

Марина втащила сумки, упала на скамейку. Отдохнуть. Время еще есть... Отдохнуть, а потом приняться.

За длинным, через всю единственную комнату, столом уже сидят женщины, работают. Одни распаковывают сигаретные пачки, вытаскивают фольгу и кладут сигареты обратно, разворачивают конфеты и бросают их в один целлофановый пакет, а фантики — в другой; потом будут вместе с мужьями, женихами, отцами заворачивать обратно... Другие, разложив продукты, вещи, заполняют бланки: сколько чего привезли. Два килограмма копченой колбасы, пять пакетов макарон по пятьсот граммов, три плитки шоколада (из которого тоже нужно вынуть фольгу), три пачки кефира... Третьи пишут заявления на свидание; вообще-то заявления уже месяца два-три как пересланы в колонию, но требуется написать еще раз здесь — типа, прибыли, просим предоставить...

Марина поднялась и стала разгружать свои сумки. То же самое предстоит проделать и ей.

Минут через десять в домик вошла огромного — за два метра — роста, крупная, но не толстая, не грузная женщина. Женщина-богатырь. Это инспектор Надежда Юрьевна. Она не злая, даже пусть со специфическим, но чувством юмора, но при виде нее Марина всегда теряется, обмирает. Словно в чем-то виновна, и сейчас Надежда Юрьевна возьмет ее двумя пальцами за шею и посадит в камеру.

— Здорово, девчата! — говорит инспектор, не повышая голоса, но воздух в комнате вздрагивает. — Готовы?

— Здравствуйте... Почти... Сейчас закончим...

— Так, сдаем заявления.

Шурша бумажками, люди по одному подходили к Надежде Юрьевне. Та бегло просматривала текст.

— А это что за курица лапая? Ни слова не понять... и перечеркано.

— Волновалась, — лепечет молоденькая девочка.

— Все волнуются... Первый раз, что ли?

— Да...

— К кому?

— К брату.

— Краткосрочное у тебя?

— Да... Там указано.

— Указано... Говорю ж, ни слова не понять... Ладно. Так, — и от этого «так» воздух снова вздрагивает, — закругляйтесь, и через десять минут — у двери. Все знают дверь?

— Все... Да...

— Кто не знает — идите за остальными. И предупреждаю, — инструктор грозно оглядела стол с горами продуктов, — без сюрпризов в передачах. Всё найду, а неприятности вам надо?

— Нет... Не надо.

Надежда Юрьевна уходит. Все облегченно опускаются на лавки и стулья. Выдыхают, и словно бы слышится в этих выдохах: слава богу, пронесло-о...

Шуршат фантиками, скрипят фольгой интенсивнее, и Марина тоже торопится. Кто раньше подойдет к двери, тот скорее пройдет досмотр, вселится в лучшую комнату. Вторая от кухоньки комната — самая лучшая. Она небольшая, зато в ней одна широкая кровать, крепкий стол, шкаф для одежды. И решетка широкая, сквозь прутья можно в форточку голову просунуть и сделать несколько затяжек сигаретой. Женя курит, а во время свиданий — нельзя теперь. Ни курилки, ничего. Он мучается, и близость с ней ему, она чувствует, не очень-то в радость... Издевательство, конечно, запрещать курить три дня человеку...

Хорошо, что многое дома, а потом у Светлахи подготовила. Сгребла то, что вынимала, обратно в сумки и побежала к двери. Ну как побежала — со стороны это наверняка выглядело потешно: сначала выбрасывает правую сумку вперед, делает шаг, потом — левую, и новый шаг. Такой вот бег с нагрузкой...

По дороге вспомнила про брошюрку, вынула из сумки, бросила на землю так, словно бы случайно... Хорошо, что вспомнила: там, на обыске, из-за любого пустяка сложности могут возникнуть.

У двери уже топтались две женщины. Марина и не заметила, как они покинули домик. Тоже с сумками, друг с другом не общаются. Порознь... Эх, накрывается удобная комната.

Дверь была в глубине стены и напоминала вход в штольню или туннель. Крепкая стальная дверь с глазком. Подобные, наверное, и в камерах... Марина много расспрашивала, как живет Женя, и он рассказывал, смотрела передачи, ролики в интернете и все равно по-настоящему не могла представить, как, что, как возможно жить без часа одиночества столько лет, спать среди храпящих, сопящих, стонущих во сне мужчин. «Это как в армии, — усмехался Женя, — почти».

Не могла она представить, как и сама прожила эти годы. Каждый день был мучительным, непереносимым, а глянешь — вот уже три месяца прошло, вот полгода,

год... И ее родители, и родители Жени помогали, поддерживали, но все равно она была одна. Одна, без мужа.

В первые три года родители Жени часто писали ему письма, с нетерпением ждали дня, когда можно отправить посылку, ездили на свидания, а потом... Устали, что ли, отчаялись, потеряли веру, что он когда-нибудь выйдет. Может, и обиделись всерьез, до смерти, что обрек их на такую старость своим сроком. И когда Марина заговаривала с ними о Жене, они каменели, отвечали односложно, через силу. Зато ее любили и жалели, и все чаще намекали, чтоб меняла как-то жизнь, не губила лучшие годы.

Дверь хрустнула засовами, открылась, и вышли парень и девушка в новеньких камуфлированных бушлатах. Улыбались друг другу игриво.

— Ты меня, Настьк, на понты не бери, — говорил парень, — где ты училась, я там — учил. Знай.

— Ой, ой, — отозвалась девушка, — бугор шестого барака. Видали...

Они прошли мимо женщин и мужчин, выстроившихся вереницей, направились в сторону деревеньки.

Марина достала из кармана мобильный, посмотрела время. Десять минут, объявленные Надеждой Юрьевной, давно истекли. Да это и неудивительно — бывает, по полчаса стоишь здесь, по сорок минут... И подумав, что действительно можно ждать входа внутрь еще долго, Марина почувствовала, что замерзает.

Вроде и одета хорошо, а продирает... Может, оттого, что не ела путем давно. Так, хватала куски торопливо... Стала шевелить пальцами ног, качать плечами, разгоняя кровь. Пробовала снова о чем-нибудь задуматься, отвлечься от ожидания.

Не получалось. И люди впереди и сзади не разговаривали, лишь тяжело вздыхали иногда. Как на похоронах... Да что уж — наговорились, наобсуждались. Теперь вот-вот увидят своих родных. Одни, кто на кратковременное свидание приехал, — за толстым стеклом, разговаривая при помощи телефонных трубок, другие, кто на длительное, — смогут обнять, побыть вместе целых трое суток...

Дверь вновь скрежетнула, заскрипела. Приоткрылась. Дежурный выкрикнул:

— Первая двойка — войти!

Те женщины перед Мариной схватили сумки, скрылись за дверью. Дверь хлопнула, скрежетнула, лязгнула.

Сейчас их досмотрят, пропустят, и тогда очередь дойдет до Марины. Это минут через пятнадцать...

Но дверь открылась почти сразу, выплюнув женщин обратно. Они с искаженными лицами бросились к домику для приехавших на свидание.

— Следующая двойка, — голос дежурного, — войти!

Вошли и пошли по темному коридору; за спинами тут же торопливо заскрежетали засовы, словно дежурный боялся, что этот путь внутрь зоны начнут штурмовать.

— Остановились! — приказ.

Дежурный обогнал их, уселся за стол.

— Запрещенные вещи есть?

— Нет, — сказала Марина.

— Нет, — подтвердила пожилая сухая женщина рядом с ней.

— Средства связи, электронные приборы, эти... планшеты имеются?

— Телефон.

— Телефон.

— Кладем вон в те ячейки. Ключ оставляем у себя.

Черт, домой-то не позвонила! Не сообщила, что добралась. Но сейчас уже

поздно — пока будет звонить, эта пожилая обгонит, займет ту комнату. Ладно... Поймут, может, не будут с ума от волненья сходить.

Отключила мобильник, положила к ячейку, замкнула, ключ спрятала в кармашек сумочки, рядом с документами.

— Запускай одну! — из глубины помещения голос Надежды Юрьевны.

Пожилая шагнула туда, но Марина ловко ее оттеснила:

— Извините, я была первой.

Пожилая сразу сдалась.

— Список сделала? — встретила ее Надежда Юрьевна. — А, это ты. — Узнала, приняла бумагу. — А то тут две влезли — без заявления, без списка... Побежали писать. Ты-то опытная у нас. Как тебя, Маша?

— Марина, — пискнула Марина.

— Ну, давай глядеть, чего тут у тебя.

Марина стала выкладывать продукты, одежду, белье, диски, прочее на стол. Надежда Юрьевна то на глазок, то бросая на весы, определяла вес продуктов.

— Всё ездишь, — приговаривала, — давно ведь ездишь... Давно?

— Сюда пять лет.

— И сколько осталось?

— Три... Должны уже на поселение отпустить...

— Кто эт должен? — усмехнулась инспектор. — А, Мариш, кто должен-то?

— Я так... Могут перевести на поселение.

— М, это другой разговор. Посчитают нужным — переведут.

Надежда Юрьевна меж тем открывала пакеты с кефиром, совала туда железную спицу, ерзала ею внутри, отыскивая что-нибудь запрещенное. Потыкала сливочное масло, кусок грудинки. Взяла в левую руку палку твердой сырокопченой колбасы, а в правую нож и раскромсала палку пополам повдоль одним движением... Марина и кружочек такой колбасы отрезает с трудом, не отрезает даже, а скорее отпиливает...

— Ух, запах-то! — взглотнула инспектор. — Чего такое?

— Пермячи... Пирожки такие.

— Да знаю... Теплые! Когда успела-то, подруга?

— Утром.

Мимо прошел тонкий парень лет двадцати пяти, а может, и моложе. С интересом глянул на Марину.

— Игорёк, ты полы в номерах помыл? — тормознула его инспектор.

— Угу.

— Все?.. Точно? Я ведь с платком пройдусь, проверю. Антисанитарии нам только не хватает...

Марина знает про Игорька — Женя рассказал. Он опущенный.

Раньше Марина думала, что опустить могут только за какой-нибудь страшный проступок, что стать опущенным — это почти верная смерть, что их постоянно унижают, бьют, насилуют. А оказалось, что опущенные живут почти так же, только в стороне от остальных. Скорее, моральные унижения, чем физические.

Этот Игорек стал таким по идиотскому, по мнению Марины, поводу... Как-то он разоткровенничался, что целовал свою девушку между ног. Его выслушали, похвалили, а потом главный в бараке подозвал к себе, провел тапком по губам и отправил туда, где лежали опущенные.

Женя тоже целовал ее там, целует и теперь во время свиданий, но не рассказывает. И его уважают...

— На работу-то ходит твой? — спрашивает Надежда Юрьевна.

— Да, конечно.

— Эт хорошо. Значит, переведут на поселение. А эти блатные — годами на нарах лежат и будут до звонка париться. Вместо того, чтоб ударным трудом... Это, — с продуктов инспектор переключилась на диски, уголки, — ты ему, что ль?

— Да, Женя просил для работы как раз. Получил разрешение.

— Что-то мне не передавали. Пускай вот здесь с краю полежит, я узнаю... Сдвинь на край. Сумку свою покажи.

Марина вывалила содержимое своей сумочки. Заранее убрала всё лишнее. Остались расческа, губная помада, тени, документы, прокладки...

— Ладно, ладно, хорошо. — И без паузы Надежда Юрьевна рявкнула так, что вновь колыхнулся воздух: — Пашу-унь!

Через десяток секунд появился невысокий военный с маленькой собачонкой. Собачонка как-то ошалело обнюхала Марину, потом, когда ее подняли, продукты, одежду, диски, сумочку, тени и потеряла ко всему этому интерес. Значит, порядок. Наркотиков нет... Собачку увели.

— Ну всё, подруга, занимай номер.

— Спасибо.

— Да не за что, всегда рады... Следующий!

Марина стала носить продукты в ту удобную, о которой мечтала, комнату.

Ну вот, всё получается. Только родителям не позвонила, дура. А теперь трое суток она без связи. Никуда не выйти. Мир будет ограничен комнатой, коридором, кухонькой и туалетом, душем... Что ж, ладно. Недолго осталось. Недолго по сравнению с тем, сколько пережили.

Скоро поселение. Туда можно ездить хоть каждую неделю или вообще поселиться вместе в ближайшей к колонии деревне. Устроится какой-нибудь уборщицей, посудомойкой. Санитарная книжка есть, недавно обновила...

— Здравствуйте, Марина, — сказал ей Игорь.

— Здравствуйте. — В груди приятно кольнула радость: «Имя помнит». — Здравствуйте, Игорь.

— Я слышу, Евгений о вас часто вспоминает. Ждет очень.

— Хорошо. — Болтать было некогда, да и неизвестно, можно ли с такими болтать, вдруг это Жене повредит. Еще донесут старшим там, смотрящим, приплетя еще всякое. — Извините, тороплюсь.

— Да, да, я понимаю... А меня девушка моя не дождалась. После прошлой пасхи замуж вышла. А ведь меня из-за нее и посадили, и потом много чего было...

— М-да, Игорь, сочувствую. Всё наладится. — Марине захотелось угостить его конфетами или шоколадом, но не решилась; Женя придет, спросит, можно или не надо. — Наладится...

— Наверно.

Наводила в комнатке уют. Протерла своей тряпкой стол, тумбочку, застелила постель домашним бельем, на спинку стула повесила любимую Женину клетчатую рубашку. Привозила специально каждый раз, чтоб походил тут три дня, по-другому себя почувствовал.

Стала накрывать на стол... Да, пермячи еще теплые, но если что, подогреет в духовке. На кухоньке есть старенькая, почему-то кособокая электрическая плита... Подогреет...

Времени-то столько? По привычке полезла в карман пуховика за телефоном.

— Черт! — рассердилась на себя, вспомнив, что телефона теперь нет, а часы не взяла. Совсем перестала ими пользоваться, а тут ведь без них как... У Жени есть, но тем не менее... Вот сколько времени прошло, как она здесь? Может, десять минут, а кажется, что больше часа. Когда ждешь, время всегда тянется...

Пошла на кухоньку, где уже орудовали несколько женщин, выбрала из шкафа тарелки получше, вилки, ложки, помыла, вытерла своим полотенцем, отнесла в комнатку... Что еще... Присела на край кровати. Ждать.

В коридоре радостные восклицания. Кого-то уже привели. Встреча, объятия. Сейчас поедят и лягут... Будут вместе... Еще радость, быстрые шаги, скрип двери.

За тонкой, наверняка из какой-нибудь сухой штукатурки стеной, той, что сейчас у Марины за спиной, возня, а потом сдавленные стоны... Слушать чужую любовь было больно.

Не выдержала, вышла в коридор. Он пуст. Лишь Игорек трет шваброй пол возле стола досмотра.

Осторожно прошла к кабинету Надежды Юрьевны. Та сидела за столом и что-то писала в большую учетную книгу. На лице — мука и страдание.

— Надежда Юрьевна, — позвала.

— Ась?.. Чего, подруга?

— А что-то мужа до сих пор нет... Все уже вроде пришли...

— Муж, это кто?

— Женя... Евгений Потапов.

Лицо инспектора оживилось:

— А, Потапов-то! Потапов твой не придет.

— Как не придет? — И внутри Марины словно что-то оборвалось, по-настоящему оборвалось; оборвалось в груди и упало в живот. — По... почему не придет?

— А потому, что беспредельщик. Драку устроил, нос человеку разбил. Позвонили, сказали... Так что вместо тебя, подруга, он суток на пять в ШИЗО по уши занырнет.

Марина не хотела плакать. Не хотела выглядеть перед этой теткой-великаншей слабой и беззащитной. Но чувствовала — лицо, как бывало в детстве, когда ее обижали, стало сжиматься, кривиться. Сейчас-сейчас зарыдает.

— Да ты не переживай, Марусь, пиши новое заявление, через месяцок-другой увидитесь... Ну-ка не ной тут! Я слёз не люблю... Слушай, — голос инспектора стал проникновенным, — тебе парня надо? Мущину?.. Бери вон Игорька. У него до вечера наряд, а завтра опять его сюда выпишу. А?

Марина повернулась и пошла к себе. Посидела, отдышалась и стала собираться обратно.

Инга Кузнецова

Бумажная архитектура

* * *

дом и обыденность нас не спасают от
будущего
мне бы в глине проделать ход
вбок
в неизвестность
но то что зовётся рок
тут как тут в виде стражи врат

мне бы шитью учиться заштопать рот
вдоль-поперёк
оба века да на засов
и моргая внутрь
углубляться в кишенье сов
в эту гойю наоборот

мир не становится лучше да и с чего б
ты же сама несущественна
как микроб
пусть прелестный микроб
что ты можешь тут изменить
под молчание аонид

но понимаешь
наша стареющая звезда
брюхатая пораженьем
и мраку ответит да
переводи же реки и города
побыстрей в предложенья

Кузнецова Инга Анатольевна — поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родилась в поселке Черноморском Краснодарского края. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор четырех книг стихов и романа «Пэчворк». Лауреат литературных премий «Триумф» (2003) и «Московский счет» (2003). Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Москве.

и покороче
некогда путаться в языке
долгошипящем
и припадая к строке
ковылять к веревочной лестнице
в небеса
не вечно же им зависать

воздух трескается как картина
как хаос пьян
этот космос
если конечно
космос он не обман
зрения
для которого генрих ли томас манн
всё уже едино

* * *

пришла прозрачная зима
сводящая с ума
небесных азбук кутерьма
врезается в дома

они слоны стоят на тьме
смотреть не стоит вниз
там что-то в порванном письме
пожалуйста проснись

сгреби снежинки расшифруй
послание для тех
кто чистит шифер на ветру
кто видит только снег

* * *

на провод неявного смысла
подвесили воздух
отечества дым коромыслом
носили как воду
упали забылись
за матовыми стеллажами
среди циркуляров и сора бессильно лежали
то были
а были ли?
мы
астероидной пыли
нелепые кучки
кусочки корицы ли чили
ли хлеба ли гнили
фрагменты молчанья
мерцанья
источники мелкие
солнечные обещанья

* * *

ничего не могу понять
не решиться мне ни на что
кого оттолкнуть обнять
какое надеть пальто

в какое проникнуть здание
и с кем там поговорить

кто включил режим ожидания
то ли кафка то ли магритт

я надену цветное кольцо
я подкрашу цветное лицо
но лицо моё не моё
но лицо моё не лицо

* * *

моя жизнь бумажная архитектура
моя участь проигрыш энтропии
у меня фактура-натура-дура
и последняя пачка ноотропила

у меня в ногах землемеры замки
у меня на руках ранки мамки дамки
у меня в голове неудобный вектор
у меня в кармане упрямый вертер

* * *

когда в такие норы что никто
когда в такие норы где нигде
увидишь лишь усталый конь в пальто
(ему идет с эффектом дефаде)
идет и на разорванной губе
играет
хлам гармоник впереди
и говоришь грядущее гряди
тебя прижму к разомкнутой груди

* * *

что режиссер этой драмы имеет в виду
оставляя для нас примечания в талых полях
понимаешь в бреду
забредая сюда в лебеду
дело швах
даже если по швам распороть европейский жакет
твое глупое тело подрезать и в спинке забрать
все равно не поможет
сознанья безжалостный свет
это свет а не сват и не брат
два притопа топор и затвор этот псевдофольклор
этот ужас из пор
споры горечи лёгочный сбор
этот храп хронотоп допотоп так в ложбины залег
что стоишь кафкианец и думаешь «зАмок — замОк»

Владимир Медведев

Лети вместе с ветром

Повесть

1

Сквозь сон я услышала, как мама стонет в соседней комнате, и мгновенно проснулась.

Полутемная спальня, освещенная призрачным синим светом, выглядела дико и непривычно. Потолок опустился так низко, что я могла дотянуться до него рукой. Справа от кровати я смутно различала боковым зрением неизвестно откуда взявшиеся полки, составленные в этажерки, и длинный коридор, разделенный на отсеки. Комната покачивалась и ритмично постукивала. Я поняла, что лежу в вагоне на верхнем боковом месте, и вспомнила, что мама умерла.

Закрыв глаза, попыталась уснуть, но меня не отпускало ощущение, что я обязана тотчас же что-то сделать. Не знаю что. Принести воды. Постирать. Накормить. Обмыть. Повернуть на другой бок, чтоб не было пролежней. Что?! Как я ни рылась в своем уме, будто в пустой корзине для картошки, вроде той, что стояла у нас на кухне, но нашарила лишь пустоту — никаких невыполненных дел, а только горькие воспоминания, похожие на сухие комочки глины, осыпавшиеся с картофелин. Ну и что ж! Разве это не та свобода, о которой я мечтала?! Та, конечно. Та самая. Просто цена за нее оказалась непомерно велика. На волю отпустила мамина смерть...

Сон не шел. Ночные мысли тревожны — кошки вырастают в тигров. Думала: во что ввязалась? Куда еду? Зачем?

Накануне буквально с кладбища ринулась на вокзал. От нашей Старой Бологи до Москвы рукой подать — прошло чуть более полусуток, а я уже была в столице, на Курском вокзале. Галина не встретила, хотя по телефону грозилась подхватить меня на выходе из вагона. Я несколько раз набирала ее номер, слышала, что абонент недоступен, но не особо беспокоилась. Галя — девушка надежная. Если обещала, выполнит, хоть кровь из носу.

Постояла я немного на перроне и двинулась к голове поезда. Там, где рельсы кончались, завершение пути подчеркивал барьер, облицованный черным камнем.

Медведев Владимир Николаевич — прозаик. Родился в Забайкалье, много лет прожил в Таджикистане, в настоящее время живет в Москве. Автор романа «Заххок» и книги рассказов «Охота с кукуем».

Я примостила на него сумку и стала ждать. Мимо Галина не пройдет, место заметное. Рядом томился еще один пленник чьей-то непунктуальности — светловолосый мужчина примерно моего возраста, лет тридцати. На журнальную обложку он вряд ли бы сгодился, однако был довольно привлекателен. Аккуратно подстрижен, гладко выбрит, в руках — какой-то таблоид в яркой обложке. Явно напоказ. Несколько раз он звонил по мобильнику, то и дело смотрел на часы и уже трижды вопросительно на меня поглядывал.

Наконец решился, подошел.

— Простите, вы часом не Ольга?

Конечно, спросил на всякий случай. И так было ясно, что я — не она.

— Жаль. Такая симпатичная девушка...

Сказал, похоже, искренне. По Зодиаку он, вернее всего, Стрелец. Они очень ветрены, влюбчивы и способны даже случайную встречу на вокзале превратить в первое свидание. Меня свидания не интересовали. Не хотела себя связывать. Сразу отгородилась, обозначила отношение:

— Придет еще ваша Ольга.

Он оказался чутким. Принял послание и пояснил:

— Деловая встреча. Я для нее работу нашел такую, что пальчики хочется облизать...

Повезло какой-то бабенке. Правда, Галина тоже кое-что для меня подыскала, но это занятие не вызывало у меня негигиенических желаний и было притом скучным, скучным, скучным...

Стрелец тем временем продолжал:

— Это в общем-то не работа, а отдых в санатории. Замечательный теплый климат, чистый воздух, экология. И обязанности несложные: приготовила завтрак, обед и ужин для рабочей смены, остальное время твое. А деньги платят приличные.

Меня разобрало любопытство.

— Это где же конфеты раздают?

— Вы газеты читаете? Знаете про кавказские курорты? Ну, завод, конечно, не в самой курортной зоне расположен, а неподалеку. Но все равно. Люди в эти места приезжают, деньги платят, а тут ей самой будут платить.

— Кто же от такой работы откажется? Придет непременно.

— На сколько можно опаздывать? На десять минут, на двадцать, на полчаса... Уже час жду. И по телефону не отвечает. Ладно, простите, что гружу своими проблемами.

Он отошел в сторону.

Я вновь достала мобильный. Работа в Москве, которую нашла для меня Галя, уже не казалась мне привлекательной. На месте неизвестной Ольги я явилась бы на встречу на час раньше! С утра бы прискакала... Женский голос в трубке объявил, что Галина всё еще недоступна.

Стрелец вновь подошел ко мне. Вид у него был растерянный.

— Простите, вы, наверное, ждете кого-то?

Я кивнула.

— Еще раз извините, пожалуйста, за вопрос... Вы москвичка или приезжая?

Вопрос мне не понравился. Насторожил.

— А вам какая разница?

Он смутился:

— Понимаете, я подумал, что раз уж мы с вами вроде как познакомились... Кстати, меня Арсеном зовут...

Имя тоже настораживало. Я-то думала, он русский. Мне, конечно, абсолютно безразлично, кто человек по национальности, а досаду вызвало то, что обманулась: принимала за одного, а оказался другим.

Он, видимо, догадался, о чем я думаю.

— Мама русская, а отец... Не знаю даже. Я его никогда не видел. Только и осталось от него, что это имя...

Мне стало стыдно за глупые подозрения. Он будто не заметил моего замешательства.

— А вас как зовут?

— Татьяной.

— Я ведь, Таня, почему спросил... — сказал Арсен. — Если вы москвичка, то, возможно, знаете кого-нибудь, кто мог бы Ольгу заменить, если она все-таки не придет.

— Нет, я не москвичка.

— А ваш молодой человек?

Я удивилась:

— Какой?

— Ну тот, к которому вы приехали.

— К подруге.

Он рассеяно кивнул:

— Да, впрочем, неважно...

Свернул журнал и сунул его в стоящую рядом урну.

— Все, ухожу!

Меня подмывало спросить, не подойду ли я для этой работы, но напомнила себе, что у меня совсем другие планы. Арсен сказал в сердцах:

— Подвела меня эта Ольга дальше некуда. Я ведь не только ей работу нашел, а еще и на заводе сказал, что уже договорился. Они ждут, я им обещал, что она сегодня выезжает. Встречать будут. А я еще никогда никого не обманывал. Они мне теперь верить перестанут.

Я пробормотала:

— Сочувствую.

Он протянул руку:

— Ну что ж, Таня, счастливо вам. Удачи.

Я в ответ протянула свою. Рукопожатие было твердым, уверенным и каким-то... надежным что ли. Ну да, конечно, Стрельцы необычайно правдивы, никогда не лгут. Внезапно Арсен задержал мою руку.

— Таня, я вот что подумал... Странно, что сразу не пришло в голову. А что если вы поедете вместо Ольги?

— Да ну, какая из меня повариха?

— Ничего, научитесь. Дело-то простое. Да и народ там неприхотливый.

Заманчиво, конечно, но я не собирались связывать себя и устраиваться на постоянную работу. Планировала слегка подзаработать — немного на дорогу, немного на жизнь — и тронуться в путь. Еще не решила, куда. В Грецию или Испанию... Весь мир лежал передо мной.

— Ну, не знаю...

Арсен сжал мою руку:

— Таня, выручите меня, соглашайтесь. Между прочим, а кто вы по профессии?

— Медсестра.

Он чуть не подскочил:

— Правда?!

— Без диплома.

Но Арсен не обратил на это внимания.

— Танечка, это просто чудо. Я на медсестру и не надеялся. Она там тоже позарез нужна. Так что сразу на две ставки устроитесь — поварихой и медсестрой. Соглашайтесь.

В конце концов, Кавказ — тоже часть неизведанного мира, куда можно было ехать сразу, не тратя месяцы на скучную работу ради денег для будущих путешествий.

— Но вы еще не сказали, где это, сколько будут платить и вообще...

И в этот момент появилась Галина.

— Ой, Таня, прости! Пробки. А потом моталась по переулкам, всё забито, еле нашла, где поставить машину.

Тут она заметила Арсена и неприязненно уставились на него.

— Это Арсен, — сказала я.

— Вижу, — бросила она холодно.

Галя стала совершенной москвичкой. И одета, вроде, совсем обычно, ничего особенного, но сразу видно, что по-московски. И держится не так, как прежде, а по-особому уверенно и деловито. Тоже по-московски.

— Ладно, пошли. О, черт, мы еще и не поздоровались.

Она наскоро обняла меня.

— Нам еще надо успеть...

— Галя, — перебила я ее, — Арсен предложил мне работу.

— Какую работу?! Не говори глупостей, — вспыхнула Галина. — Я уже обо всем для тебя договорилась.

— Галочка, спасибо тебе, но... Понимаешь, я хочу подумать.

— Никаких «но» и никаких «подумать», — отрезала Галина.

Знакомые интонации! Наслушалась я их достаточно. А она продолжала тем же тоном:

— Да ты в своем уме, подруга? Ишь, он ей работу предложил! А ты знаешь, кто он такой?

Арсен достал паспорт и протянул Галине.

— Зайдите в линейный отдел милиции и проверьте, не тот ли я серийный людоед, что заманивает женщин и готовит из них шашлык.

Галина отмахнулась:

— Сами знаете, бьют не по паспорту, а по роже.

Вот этого я никогда в Галине не одобряла — она, конечно, девушка прямая и резкая, но грубить-то зачем?

— Галя, ты хоть выслушай, что он предлагает.

Она презрительно сжала губы, но я уперлась, и она молчала, пока Арсен описывал условия работы. Но как только замолк, вновь взорвалась:

— Да в тех краях теракты каждый день!

Арсен возразил:

— Не чаще, чем в Париже...

— А я ее и в Париж не пущу!

— А если серьезно, — продолжал Арсен, — Теракты сейчас могут произойти в любом городе. И хулиганов в Москве предостаточно. А там Татьяну встретят надежные люди, довезут на машине до завода, вход охраняется — хулиганам и террористам не пролезть...

Я подхватила:

— Знаешь, если поверить тому, что говорят по ящику и пишут в интернете, то все преступники и террористы скопились в Москве. Значит, на Кавказе их совсем не осталось. Выходит, жить там безопаснее, чем в Москве или Саратове.

Галина взвилась, будто я ее кнутом огрела:

— Чушь! Вздор!

Арсен глянул на меня хитрым глазом и подмигнул. Оценил. Наверняка утащит и будет щеголять

— Ну что ж, Галина, если вы за Таню решили, забирайте девушку. Отнимать не стану. Помните, что один неглупый человек сказал? Незаменимых нет. До отхода поезда есть еще время, попробую найти кандидатку без строгой подруги. Желающих найдется множество.

— Ничего она за меня не решила, — сказала я сердито.

— Татьяна, он же тебя на фу-фу берет!

— Вам виднее, — сказал Арсен. — Всего хорошего.

Он повернулся, чтобы уйти, а меня пронзило острое чувство потери. Волшебное путешествие по железной дороге и волшебная страна: снеговые горы, буйный Терек, бьющий о берег, каменные стремнины, утесов нагие громады, ущелья мрачных скал, нежные девы-горянки и лихие джигиты — все это бывшее близким и доступным минуту назад вдруг рассеялось и пропало.

— Постойте, — сказала я.

— Татьяна, не дури! — закричала Галина.

Арсен приостановился.

— Я согласна. Поеду.

— А как же...

— Я поеду.

И Галина, самоходная бронебойная установка, вдруг сникла.

— Танька, не буду я тебя провожать. Не могу. Сердце не выдержит... Ты знаешь, я баба железная, но это...

Она крепко обняла меня и тут же оттолкнула.

— Ну все! Пиши...

И сразу же ушла. Я смотрела ей вслед и видела, как она несколько раз поднесла руку к лицу. Слезы утирала, а при мне сдерживалась, показать не хотела, что плачет. От жалости или от злости?

Я и сама была в некотором остолбенении от крутого поворота событий, и машинально таскалась за Арсеном, который повел меня к кассам, помог купить билет на поезд, который отравлялся через несколько часов.

Мы отошли от кассы, он достал телефон. Ответили сразу же.

— Встречайте, — он назвал номер вагона, потом обернулся ко мне: — Таня, как вас по фамилии?

Добавил несколько слов на незнакомом мне языке и сунул телефон в карман.

— Ни о чем не беспокойтесь. Встретят, отвезут на завод... А сейчас, Танечка, простите, мне надо идти. Я из-за Ольги много времени потерял... Так что счастливого вам пути и успеха в трудовой деятельности.

Он пожал мне руку, я вновь ощутила прямоту и надежность его рукопожатия.

В вагоне я забросила сумку на верхнюю полку. Нижняя была разобрана, переломлена натрое — на столик и два сидения. Я села на правое, чтобы пейзаж за окном летел мне навстречу. Место напротив было свободным. Поезд тронулся. Roll up, roll up for the magical mystery tour, — пропел у меня в голове Павлик Маккартни. Волшебное путешествие началось.

2

Утром проснулась рано. Нижняя полка оказалась уже занята — кто-то спал, укрывшись простыней с головой. Я умылась и долго стояла в тамбуре, глядя в окно, вспоминая маму. Когда вернулась в вагон, нижняя полка была сложена, а за столиком сидела маленькая старушка и пила чай. Старушка прямо-таки эльфийская, чистенькая, ладная, чуть ли не полупрозрачная. Престарелая Дюймовочка. Острое личико, спокойные, кроткие глаза. Голосок звонкий, как у девчонки.

— О, чувствую, это вы моя попутчица.

Вообще-то все зависит от точки отсчета. У меня было полное право считать, что это она моя попутчица.

— Во всяком случае, мы, вернее всего, едем в одну сторону.

— Очень может быть, — согласилась старушка. — А если так, то это повод для знакомства. Меня зовут Вера Даниловна.

Я назвалась и села.

— А все же, в какую вам сторону? Куда путь держите? — спросила Вера Даниловна. — Нет, нет, не говорите... Я угадаю.

Закрыла глаза, склонила головку набок, подумала и произнесла торжественно:

— Вы едете... в Армавир.

Я вежливо улыбнулась. Старушка засмеялась звонко:

— Я пошутила. Пошутила. Хотела посмотреть, как вы отреагируете. И мне понравилось ваша реакция.

Я улыбнулась еще вежливее.

— А направляетесь вы, — сказала Вера Даниловна, — конечно же, в Махачкалу.

— Опять шутите?

— Нет, просто знаю, — сказала старушка. — Да это и за версту видно без всякий интуиции. В Армавир не едут с такой решительностью во взоре.

— Да в чем же разница? Города как города...

— Разница в названиях. Вам кажется, что Армавир звучит слишком обычно. Не так ли? А вы за экзотикой едете, за приключениями...

— За свободой, — сказала я неожиданно для себя.

Наверное, сработал дорожный синдром. Я читала, что в люди в дороге часто изливают душу случайному спутнику.

— Вот вы, скажем, верите в астрологию?

— Увы, — сказала Вера Даниловна, — никогда не хватало терпения одолеть.

— А я верю. Много раз убеждалась, что гороскопы подтверждаются. На себе проверила. По Зодиаку я — Водолей. И знаете, что в одной книге прочитала? Тело и мысли Водолея должны быть свободными от всяческих уз. Водолей так же неуловим, как солнечный зайчик. Ну, и еще много чего в этом роде... Это именно то, что я чувствую. Будто прямо с меня списано. С детства рвалась на свободу.

— А жить пришлось в несвободе.

Я даже не удивилась, что она угадала.

— Мама заболела. Семь лет назад. Инсульт. Я из медучилища ушла, с последнего курса, чтобы за ней ухаживать. Приковала себя к одному месту. К дому. Выходила только за покупками...

— На что же вы жили?

— Не поверите. Играла на бирже, Форексе, в интернете. Знакомый надоумил.

Трудилась за компьютером, как негр на хлопковой плантации, кое-как удавалось урвать средства на жизнь, но претило мне это занятие ужасно.

— И вот теперь...

— Да, теперь только одно — хочу быть свободной, как ветер. Лететь вместе с ветром. Знаю, звучит пафосно, но иначе не выразить.

— Ах, Таня, — сказала Вера Даниловна, — вы выбрали неудачный девиз. Мало что в мире столь же далеко от свободы, как ветер. Ведь возникает-то он из несвободы и существует по принуждению.

— Верно, — сказала я иронически. — Давно подмечено. Летает на воле, да не птица...

— Это если вы застигли его в пути. А взгляните на то, как он рождается. В одном месте тепло, в другом холодно. Меж ними возникает ток воздуха, который и есть ветер. Не может не возникнуть. Разница между температурами тащит его насильно. Создать ветер сумеет даже малый ребенок, если в холодный день откроет в теплой комнате дверь или форточку.

— Но это всего лишь сквозняк!

Она поправила:

— Настоящий ветер. Правда, совсем крошечный, всего лишь дитя. Так что когда вы распахиваете форточку, можете с полным правом считаться повелительницей ветров...

Вот так и бывает: открываешь человеку душу, а тебе толкуют про сквозняки. Я потеряла интерес к разговору и не помню, о чем еще говорили... Где-то по дороге эльфийская бабка сошла, ее сменила другая старушка, с ней я уже не особо общалась, так что в гордом одиночестве доехала до места назначения.

Здесь тоже, как и в Москве, не встречали! Похоже, это стало хорошей традицией. На перроне меня закрутил, как щепку, водоворот друзей и родичей, атакующих подходы к вагону, но я ухитрилась выбраться в строну.

Было все-таки слегка тревожно: а что, если Галина права? Но она, слава богу, ошибалась. Я не чувствовала в здешней атмосфере ни малейшей опасности. Энергия — да! Энергия била ключом. Толпа вырабатывала ее с мощностью атомной электростанции. Но только положительную. Никакой агрессии. Сплошная идиллия — объятия, поцелуи, смех, улыбки и веселая гортанная речь...

Ко мне подскочил запыхавшийся парнишка лет восемнадцати. Тощий, чернявый и чрезвычайно самоуверенный.

— Таня?

Я кивнула.

— С прибытием. Меня Зарип зовут. Я тебя на завод отвезу.

Он забрал сумку и начал пробиваться через суету на перроне к выходу. Я протискивалась вслед за ним. Машина у него была старая. Белая, с пятнами рыжей ржавчины.

— У меня дела в городе. Я тебя к себе домой отвезу, там подождешь, потом вечером на завод поедем.

Мне это предложение очень не понравилось.

— Нет, — сказала я решительно. — Оставлю сумку в камере хранения и погуляю по городу.

— Таня, плохого не думай, — сказал Зарип. — Дома — моя мама, сестры. Чай с ними попьёшь, отдохнешь. Гостьей будешь...

Я подумала: «Ладно, чего уж там. Все местные маньяки скопились сейчас в Москве», — и села в машину.

Улиц рассмотреть не успела. Зарип гнал машину с такой скоростью, что дома вдоль дороги сливались в пеструю ленту. Потом город внезапно снизился, будто пригнулся к земле, дорога сузилась и вдоль обочин потянулись одноэтажные частные дома. Почти такие же, как у нас в Старой Бологе. Покружив по улицам, Зарип остановился напротив зеленых ворот.

— Ну чё, выходи, — и дал длинный гудок.

Пока я раскрывала дверь, он выскочил из машины, схватил с заднего сиденья мою сумку, швырнул ее на землю, потом плюхнулся на водительское сиденье, выдал ещё пару гудков и умчался.

Я как дура осталась стоять посреди щербатой мостовой. На улице не было ни единого прохожего. Мне стало смешно. Взбалмошный мальчишка строил из себя неимоверно занятого человека.

Наконец в зеленом заборе открылась калитка и вышла женщина средних лет, полная и чрезвычайно приветливая.

— Таня, добро пожаловать! С приездом...

Она даже попыталась отнять у меня сумку, но я не отдала. Приговаривая всякую вежливую чушь: «Как доехали?» — «Вы, наверное, впервые в нашем городе?» — она провела меня через ухоженный двор в ухоженный дом, где обрушила на гостью заряд знаменитого кавказского гостеприимства мощностью в несколько мегатонн. Меня кормили, поили чаем, укладывали передохнуть с дороги, развлекали, со мной беседовали, а когда вечером появился Зарип, прощались с такой теплотой, будто расставались с родным человеком. Я была покорена и очарована. Никогда еще не встречала такой открытости и сердечности в людях, с которыми только что познакомилась...

Ехали в темноте. Зарип болтал без умолку, описывая свои деловые подвиги. Что-то он такое продавал или выменивал одно на другое, я не вникала. Вероятно, подвигов было не слишком много, потому что закончив подробный отчет, он принялся за него с начала.

— Короче, приезжаю к Зайналу. Он говорит: «Ле, ну чё, привез?» — Я говорю: «А то!» — Он говорит: «Ну тогда чё телишься? Доставай, те уже ждут...»

Отключаю звук, так и не узнав, что именно он привез и кто такие эти «те». У меня даже возникло странное ощущение, что я попала в кольцо времени. За окном — тьма. Пятно света дрожит на дороге перед автомобилем, я вечно буду сидеть в этой замкнутой капсуле, а рассказ пойдет по третьему кругу, четвертому... Не знаю, на каком витке кольцо разомкнулось.

Машина, не снижая скорости, проскочила небольшой поселок, вновь углубилась в темноту, а затем слева от шоссе в глубине черного пространства возникло смутное светлое пятнышко

— Завод?

Зарип кивнул, не прерывая рассказа.

Я уставилась на пятно, но оно, похоже, не собиралось приближаться — маячило вдали, как воображаемая точка на горизонте. Нет, оказалось, все-таки приближается, растет, становится ярче, ширится. Потом откуда-то со стороны, словно нанесло их порывом ветра, налетели из темноты собаки и с лаем помчались по обеим сторонам машины. Затем фары высветили большую вывеску на обочине:

КИРПИЧ
БЕРИ СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ!

Влево уходило ответвление от основной дороги. Зарип свернул туда и, замолчав, погнал автомобиль по буеракам. Наконец впереди проявилась из тьмы длинная стена из красного кирпича. В сопровождении лающих собак я подкатила к железным ржавым воротам. Собаки сочли свою миссию выполненной и умчались куда-то в ночь.

Зарип выдал длинный гудок. Другой. Третий. Наконец ворота приоткрылись. Вышел пожилой человек, сухощавый, прямой, с гордой осанкой. Такими я и представляла абреков.

— Дядька мой, — с гордостью сказал Зарип и выскочил из машины.

Я устала, вымоталась, мне хотелось поскорее юркнуть в какую-нибудь норку, упасть и отключиться. Но дядюшка и племянник, освещенные ярким светом фар, присели на лавочку у ворот. Они явно собирались общаться до утра.

Я подождала минут пять, выбралась из машины, взяла с заднего сидения свою сумку и пошла к воротам. Джигиты, молодой и пожилой, — ноль внимания. Как если бы к скамейке подошла курица или собака. Я сказала, обращаясь к пожилому джигиту:

— Здравствуйте.

Он повернулся, посмотрел на меня, но ничего не ответил. Зато Зарип проговорил сердито:

— Э, Таня, дай с человеком поговорить.

И что теперь? Стоять и ждать, пока наговорятся? или сесть рядом? или вообще убраться в машину? Я сказала:

— Господа хорошие, вы мне покажите, куда идти, я уж как-нибудь сама...

Абрек махнул в сторону ворот:

— Туда иди. Там для тебя комната есть.

Огромный заводской двор был залит ярким светом прожекторов, установленных на стенах. В левом дальнем углу — там, где кончались штабели готовой продукции, длинные ряды, выстроенные из пакетов красного кирпича, виднелись небольшие строения, явно жилые. Туда я и пошла. И не ошиблась. Над стене крайней хибары были грубо намалеваны красный крест и корявая надпись: «Медпункт». На двери — замок.

Я села на ящик, стоящий под окном, и, наверное, задремала. Во всяком случае, увидела пожилого абрека только тогда, когда тот подошел. Ни слова не говоря, он достал из кармана связку ключей, отпер замок, затем молча удалился. На меня он даже не взглянул. Медпункт помещался даже не в каморке, а в какой-то собачьей будке. Лампочка под низким потолком вспыхнула неожиданно ярко — ватт на тысячу, что только подчеркивало убогость обстановки. Кушетка, застеленная голубой клеенкой. Стеклянный шкафчик для лекарств с пустыми полками. Стол и два стула. Затхлый запах. Вероятно, конуру давно не открывали — с прошлого века, со времен завоевания Кавказа.

Я заперла дверь на крючок, распахнула окно, потушила раскаленную колбу под потолком и, не раздеваясь, легла на кушетку.

Террористов можно было не опасаться. Им здесь делать нечего.

3

Кто-то снаружи ломился в дверь с такой яростью, что первое, о чем я подумала спросонок: террорист. Заблудившийся или забредший в эту глушь по ошибке .

Но крючок на двери пока держался.

В окно было видно, что на улице уже совсем светло. Дверь еще пару раз рванули, а затем террорист возник в оконном проеме.

— Открой! Зачем запираешь?

— Вы кто?

— Начальник я.

Кто бы он ни был, подождет. Я села и принялась натягивать кроссовки. Потом подошла и откинула крючок на двери.

Начальник не был похож на террориста. На начальника тоже. Во всяком случае, на тех начальников, которых мне доводилось видеть. Слишком веселая и добродушная физиономия. Комплекция, правда, вполне начальственная. Огромный сухопутный кашалот с большим животом и жировым ожерельем под подбородком.

Он довольно бесцеремонно меня разглядывал. Впрочем, и я его тоже. Естественно, ему понравилось то, что он увидел.

— Ты приехала, чтобы разбить мое сердце?

Вот так, прямо с порога.

— Оно у вас стеклянное?

— Нежное.

Не сказал, а поворковал. Наверное, и впрямь очень нежное, коли его понадобилось упаковать в несколько тонн сала. Резко перехожу на тон строгой медсестры:

— Тогда вам беречь его надо, ваше сердце. Не дай бог что-нибудь случится, а лекарств негусто, — кивок на шкафчик с медикаментами. — Сердечных препаратов вообще никаких. Давайте я список составлю, что необходимо закупить.

— Не надо список. Зачем?

— Как это «зачем»? Сердце у вас часто болит?

— Совсем не болит. Никогда.

— Все равно лекарства нужны. Не вы, кто-нибудь другой заболеет...

— Послушай, куда спешишь? Давай сначала познакомимся. Меня Казибег Адильбегович зовут. Можно просто Казибег.

— Татьяна, — назвала фамилию.

— Хорошо, Таня, составь список, только много не пиши. Ладно, идем, покажу тебе кухню, где будешь работать. Надо будет оформить. Паспорт возьми, трудовую книжку...

Он что, думает, что я так и пойду, неумытая, непричесанная?

— Подождите, приведу себя с порядок.

Он кивнул и остался стоять, глядя на меня.

— На улице.

Вышел, недовольный.

Вместо умывания протерла лицо косметическим молочком, руки — влажной гигиенической салфеткой, причесалась, сменила измятую блузку на свежую. Краситься — я никогда не крашусь.

Казибег даже не заметил, что я вышла. Он сидел на лавке и медленно перебирал четки. Наверное, очень глубоко задумался. Я окликнула, но он не сразу услышал.

— А, Таня, идем. Паспорт взяла? Давай.

Небрежно сунул мои документы в карман.

При утреннем освещении место показалось мне еще более пустынным, чем ночью. Совсем не таким представляла я завод. Ни единой живой души, кроме меня и жирного начальника.

— А люди где?

— Спят.

Я бы тоже не отказалась поспать часок-другой.

— А вы что же?

— Из-за тебя пришлось рано встать. Надо все показать, чтобы к подъему успела завтрак приготовить.

Он указал на небольшую халупку напротив медпункта. Перед кухней помещались два длинных дощатых стола — не особо чистые — с лавками. Казибегу пришлось долго уговаривать большой висячий замок, ворочая ключом, прежде, чем удалось войти.

Я прокомментировала:

— Пошлете за лекарствами, скажите, чтоб еще и новый замок купили.

Он что-то проворчал сердито. Видимо, считает, что с начальством следует держаться почтительней. Я лично считаю, что начальству следует лучше следить за комплектом лекарств и состоянием замков...

И за кухонным оборудованием, кстати. Кухня оказалась убогой даже на мой непрофессиональный взгляд. Первобытная газовая плита «Кубань», заляпанная от ножек до конфорок чем-то горелым как танк Т-34 после сражения под Курском, доисторический холодильник «Саратов», пожелтевший от старости, как бивень мамонта, страдавшего кариесом, и разделочный стол, очевидно, списанный из какой-то прозекторской... В общем, та еще обстановка.

— Там склад, — Казибег указал на дверь в правой стене. — Хлеб, чай, сахар там будешь брать.

Складской замок он отпер без затруднений.

— Возьми семь буханок хлеба, миску сахара и полпачки чая...

— И все?

— Что еще хочешь?

— Ну не знаю... Кашу какую-нибудь, масло, сыр или яйца...

— Таня, здесь что тебе, ресторан? Они всегда так утром кушают, никто не жалуется, все довольны.

— Да как же полдня на одном хлебе работать?! Или до обеда есть еще какой-нибудь перерыв.

— Таня, не надо спорить. Скоро подъем. Хлеб нарежь, чай сделай... Остальное я тебе потом объясню.

Ладно, потом так потом. Разберусь. Я нагребла из мешка в алюминиевую миску грубого сахарного песка, перенесла на прозекторский стол увесистые кирпичи из необожженной хлебной глины. Казибег запер склад.

— Ладно, работай.

У выхода он остановился и порылся в карманах.

— Слушай, Таня, я телефон дома забыл, а надо заказы делать. Дай твой на время. Вечером верну.

Вообще-то я собиралась чуть позже позвонить Галине — сейчас она еще спит — и рассказать, где и как устроилась. Ничего, позвоню вечером. Я протянула Казибегу свою древнюю «Нокию», подумав мельком, что с первой получки куплю что-нибудь

посовременнее, с большим экраном. Он, не глядя, сунул трубку в карман. Уже отходил, когда я спохватилась:

— А где вода?

Он махнул рукой:

— Там.

Подхватив два цинковых ведра, я отправилась за водой. Вообще-то зданий здесь было не так уж много, чтоб заблудиться. Я миновала пару обшарпанных вагончиков, пространство перед которыми было замусорено окурками, смятыми сигаретными пачками, тряпками и прочей всякой дрянью, вникать в происхождение которой не было ни малейшего желания. Нетрудно понять, что обитали здесь мужчины. Если за ними не приглядывать, так и будут жить по-свински. Я решила: вечером потребую, чтоб убирали.

Водяной источник тоже распознавался издали. Возле кирпичной будки с торчащей из стены трубой расплылась огромная лужа. Подобраться можно было только по цепочке кирпичей, едва выступающих из жидкой глины.

Водопой был занят. Какой-то человек пил из трубы, стоя во щиколотку в воде. Я подобралась поближе.

— Привет.

Человек оторвался от струи, обернулся, и я поняла, что ошиблась. Это был не человек, а зомби. Точно такой, каким их показывают по зомбоящику в сериалах. Я, разумеется, не смотрю всю эту дрянь про нацию Зет, но очень часто, когда щелкаешь пультом и перебираешь каналы, отыскивая что-нибудь поприличнее, на экране мелькают лица, покрытые трупными пятами, и неуклюжие тела, одетые в рванье. Так что мне, как и всем, известны повадки живых мертвецов. Уверена, что сумею убежать от самого шустрого из них.

Но этот зомби не собирался ни за кем гоняться. Окинул меня равнодушным взглядом и вновь припал к струе. Потом спотыкающейся походкой двинулся прочь, волоча ноги, шлепая прямо по луже. Кран он не закрутил, вода хлестала из трубы. Я его что ли спугнула? Какие однако в этих краях робкие зомби.

Когда я с полными ведрами вернулась к кухне, зомби сидел на лавке перед пустым столом. Меня он встретил мутным, страдающим взглядом. Да, оживший мертвец с похмелья — это почище Фауста Гете. Помочь ему я ничем не могла.

— Потерпи, скоро чай будет.

Минут через пятнадцать, когда чай вскипел, я вышла к нему с двумя большими «столовскими» чайниками — решила сразу уж накрыть столы — и остолбенела. На лавках за столами сидели человек десять мужчин в грязной рабочей одежде. Все лица были повернуты в мою сторону. Все молча меня разглядывали. Я не ожидала, что окажусь объектом всеобщего внимания, и даже запнулась на пороге.

Из-за ближнего стола вскочил парень.

— Сначала чайники отдай, потом уж падай.

Я не придумала ничего остроумного. Просто пробормотала:

— Сидел бы...

Но он отобрал у меня один чайник и понес к своему столу.

— Эх, ловок Толяха, — сказал кто-то. — Без добавки не останется.

— Это он в поварята записывается...

Шутка нехитрая, но мужчины захохотали, а когда отсмеялись, тощий урод — типичный Скорпион, — сидевший рядом с зомби, бросил злобно:

— Еще одну сучку даги блядовать привезли.

Я опять совершенно потерялась и не сумела дать сдачи. Беспричинная злоба и агрессия всегда выбивают меня из равновесия. И что огорчило больше всего — никто не одернул грубияна. Все молчали, даже бойкий Толяха только пробормотал:

— Ты, Кузьма, чего-то не того...

И это все. Придется учиться самой давать отпор — не в библиотеку все-таки устроилась.

Я отнесла второй чайник на соседний стол:

— Разливайте сами. Наливайте каждый себе сам, — и пошла за хлебом.

Еще прежде, пока чайники закипали, я нарезала буханки на аккуратные ломти одинаковой толщины, потом разложила поровну на два больших пластиковых подноса. Вынесла один и поставила в центре ближнего стола.

Мой недруг Кузьма злобно вытаращился:

— Ты чего?!

Будь моя воля, я бы с ним ни единым словом не перемолвилась, но поскольку была на работе, пришлось спросить:

— Ты про что?

— Хлеб. Как его теперь делить?

Странный вопрос.

— А зачем делить? Каждый пусть берет сколько ему надо.

Тут же этот урод вскочил, отпихнул зомби и обеими руками загреб с подноса столько, сколько сумел ухватить. И все эти взрослые мужчины повскакали на ноги и принялись хватать с подноса. Честное слово, налетели со всех сторон, как куры, которым бросили горсть зерна. Повезло, конечно, тем, кто сидели рядом с кормом, а дальним ничего не досталось.

— Лариса, та пайками нарезала и сама раздавала.

Я не заметила, как рядом со мной встал ветхий дедок, сидевший прежде с краю. Он спокойно наблюдал за куриным переполохом.

— Начальник не предупредил, — начала я растерянно.

— Ничего, пусть развлекутся, — сказал дедок.

— Утренняя гимнастика, — подошедший к нам Толяха протянул дедку ломоть. — Питайся, Дед.

Интересно, как проявились характеры в битве за хлеб. Зомби, погруженный в похмельный синдром, вовсе ее не заметил. Некто мрачный, сидевший возле него, битву проигнорировал, в схватку не вступил. Молоденький парнишка с отчетливыми признаками слабоумия на лице удивленно таращился на суету старших. Ему повезло. Одна истерзанная краюшка, отлетев в сторону, приземлилась рядом. Парнишка нерешительно поднял ломоть, но Кузьма, моментально спикировав на него, выхватил добычу.

Некто мрачный неторопливо поднялся из-за стола, подошел к Кузьме и взял один из хлебных кусков, которые тот прижимал левой рукой к животу. Взял так же спокойно и непринужденно, как если бы хлеб лежал на блюде. Кузьма оскалил гнилые зубы:

— Дождешься, Андрон.

Мрачный Андрон угрозу проигнорировал. Положил ломоть перед парнишкой.

— Давай, Сенька, ешь.

На том дележ добычи закончился. Я досадовала: надо же было так опростоволоситься в первый же рабочий день.

— Теперь ведь не отнимешь у тех, кто нахапал...

Я не сознавала, что говорю вслух, пока дедок не откликнулся:

— Да кто ж добром вернет?

— Придется к начальнику идти, требовать еще пару буханок...

— Не даст, не ходи, — сказал дедок.

— Скажу, чтоб из моей зарплаты вычел.

— Объясни ей, Дед, — сказал Толяха.

— Не ходи, — повторил Дед.

Я все же пошла. Сначала, конечно, отнесла хлеб на второй стол. Пересчитала едоков, количество ломтей на подносе и раздала каждому его персональный паек.

К тому времени лавки у первого стола опустели. Один лишь зомби уныло сгорбился с краю, не в силах, думаю, подняться с места. Я вынесла из кухни две горбушки, которые оставила для себя, и положила перед ним. Зомби медленно протянул заскорузлую руку, ухватил хлеб и тем же заторможенным, механическим движением потащил ко рту...

Я отнесла на кухню чайники и пустые подносы. Ну а дальше-то что делать? Зомби все еще безучастно жевал хлебную корку.

— Где у вас начальство помещается?

На внятный ответ я особо не рассчитывала. Зомби перестал жевать мой завтрак, принялся пережевывать мой вопрос и наконец разжевал:

— Начальство?

— Да, начальство. Где оно?

Зомби потрудился еще немного, повернулся, чтобы указать рукой вдаль:

— Там начальство. Иди вдоль кирпичей, контору увидишь, потом вагончик. Там начальство, в вагончике.

Описал он верно. В конце ряда готовой продукции стояло одноэтажное строеньице из красного кирпича. Стало быть, это и есть контора, а справа от нее, как я решила, помещается в вагончике отдельный кабинет начальника.

Дверь вагончика была приоткрыта. Я постучала. Вначале негромко, потом посильнее. Начальник не откликался. Понятно! Искать его следует в конторе или где-то на заводе. И тут я различила слабый стон. Я решительно бросилась внутрь.

Какой-то абсурд! В тесной прихожей или скорее тамбуре нагромождены картонные коробки, ящики. Склад что ли? Слева переборка с полуоткрытой дверью. Я — туда. Влетела в полупустую комнатенку. Стол у окна, кровать вдоль правой стены, тумбочка в головах. Над кроватью на голой дощатой стене висели две перекрещенные шашки в богатых ножнах. На кровати лежал человек.

Я подошла. Парень лет двадцати пяти, бледный как смерть, весь в поту, прерывисто дышал. Глаза его были закрыты. По лекарствам на тумбочке я попыталась определить, что с ним. Пенициллин, эритромицин, метотрексат... Понять, чем болен, невозможно. В училище не учили ставить диагнозы, а опыта у меня никакого. Но кто-нибудь в конторе наверняка знает, чем он болен.

Застала я там одного только толстяка Казибега. Он сидел за письменным столом в комнате со шкафами и древним сейфом.

— Там в вагончике...

— Знаю.

— Что с ним?!

— Болеет, — сказал Казибег равнодушно.

— Что за болезнь? Лечит его кто-нибудь?

— Понимаешь, Таня, здоровье у него слабое, — произнес Казибег рассудительно. — Это никакой врач вылечить не сможет.

Я вспылила:

— Господи, какие вы говорите глупости!

Он даже не обиделся. Я видела, что его забавляет моя горячность и вся ситуация вообще. А в ней не было ни капельки забавного.

— Надо же что-то делать. Человек умереть может.

— Таня, не бойся, еще ни разу не умер.

Следовало понимать, что болезнь проявляется приступами, и нынешний не первый из них. Однако то, что прежние кончились благополучно, не гарантирует того же для сегодняшнего. Так я и сказала Казибегу. Но у него имелся свой ответ:

— Эх, дорогая, все в руках Аллаха. Захочет, оборвет нить его жизни, захочет, дозволит жить... Оставь этого человека как он есть и положись на волю Божью.

Честное слово, я подумала бы, что он совсем не огорчится, а будет рад, если Аллах решит прервать нить жизни парня, страдающего в соседнем вагончике. Но это подозрение никак не вязалось с добродушным выражением на лице толстяка.

— Но он наверняка говорил вам, чем болен.

— Это разве болезнь? — презрительно сказал Казибег. — Молодой парень, а на ревматизм жалуется. Совсем как старик. Притворяется, наверное. Вот мой дедушка по-настоящему ревматизмом болел, он ходить не мог. А этот пацан даже не хромает, ноги у него не болят.

— Для молодых ревматизм даже опаснее, чем для старых, — сказала я. — Поразить может любой орган: сердце, суставы, нервную систему, кожу. Сердечный приступ может вызвать. Остеоартрит, ревматоидный артрит, фибромиалгии, тендинит, волчанка — это все ревматизм.

— Какие слова знаешь! — восхитился Казибег.

А мне стал понятен набор лекарств на тумбочке. Непонятно было, что делать? Попытаться помочь, начать инъекции пенициллина? А если у больного непереносимость? В лучшем случае пойдет пузырями, в худшем — разовьется анафилактический шок, а я не буду знать, как с ним бороться, и больной умрет. А умирают ли люди от ревматических приступов? Тоже не знаю. И, кроме меня, помочь некому.

— Казибег, те лекарства на тумбочке... Их колоть надо, а не глотать. Значит, есть медик, врач или сестра? Надо позвать.

— Ты сама, сказали, медик.

— Допустим. А лекарства-то откуда взялись?

— Таня, тебе какая разница? Обед надо готовить, а не вопросы задавать. А, ну ладно... Врач лекарства прописал, в городе, давно уже. Он их с собой возит, только уколы делать некому. Медсестра из поселка на завод ездить не хочет — говорит, у меня без вас много работы...

— Некоторые себе сами колют.

— Боится, — скривил губы Казибег. — Ты еще не знаешь, какой он трус. Крови боится, уколов боится...

Бедный парень!

Ничего не добившись от Казибега, я вернулась к больному. Он уже проснулся или пришел в сознание. Встретил меня воспаленным взглядом.

— Вы знаете, чем вас прежде лечили? Что врач назначал?

Он вдруг как-то странно захихикал. Будто его щекотали.

— Знаю... когда приступы — хи-хи-хи... кортизон, лидокаин... в тумбочке...

— Пенициллин кололи?

— Хи-хи-хи... Кололи...

И застонал, словно от сильной боли.

Я открыла тумбочку, где нашла целую аптеку. В общем, разобралась. Вначале лидокаин, чтобы снять боль, потом остальное — кортизон и пенициллин... Открыла пакет с одноразовыми шприцами.

— Повернитесь спиной и приспустите штаны.

— В руку коли.

Гордый! Умру, но никто не увидит мои ягодицы.

— Хорошо, но к следующему разу снимите брюки. Трусы можете оставить, буду колоть в бедро.

Он зыркнул черным глазом, однако промолчал. Снимет как миленький. Я сделала инъекции в руку.

Затем я получила инструкции от Казибега. Готовить надо особо для начальства и технарей, особо — для рабочих. Рабочие делятся на «штатных», живущих на заводе постоянно, и «вольнонаемных», которых по утрам привозят из соседнего поселка, а вечером отвозят назад. Сам Казибег живет там же и ездит на работу на своей машине. Завтракают и ужинают вольнонаемные дома. Обедают на заводе вместе со штатными. Затем я сварила два обеда — для белой кости и черной — в соответствии с инструкциями. Затем навестила больного, который к моему приходу подготовился к уколам в бедро. Затем приготовила ужин. Перед ужином Казибег вытащил из кладовки два ящика — один с водкой, другой с пустыми бутылками.

— Таня, разлей по полбутылки, раздай штатным. Сегодня хорошо работали, надо дать премию.

— А вольнонаемные без премии уехали?

— Они не пьют. Им Бог запрещает.

В дверях кухни был установлен табурет. Я села за этот импровизированный прилавок, рядом стоял Казибег с блоком сигарет. Контролировал, как я поняла. Перед кухней без объявления выстроилась очередь. Встали согласно местной иерархии. Возглавлял ее, как ни странно, слабоумный Сенька. За ним Кузьма, затем Андрон, следом — все прочие.

Я выставила на прилавок первую из наполовину наполненных бутылок, но придержала ее.

— Тебе лет-то сколько?

— Восемнадцать, — сказал Сенька. — Мне можно.

— Дай ему, — приказал Казибег.

Распечатал блок «Примы» и вручил одну пачку подростку. Сенька, приняв премию, тут же отдал бутылку и сигареты стоящему позади Кузьме. Впервые в жизни я мысленно одобрила грабеж.

Отказался от водки один только Андрон.

— Я и без водяры веселый.

Человека, угрюмее его, я еще не видывала. Сигареты он взял.

Дед, принимая премию, вздохнул:

— Эх, Танюша, не пил бы, да от скуки руки на себя наложить можно.

— А что, даже телевизора нет?

— Есть ящик, но от него на душе еще тоскливей.

Штатные, получившие премию, рассаживались за столы. Неприметный человечек средних лет громко объявил:

— Братва, слыхали? Говорят, новую повариху привезли.

Народ за столами расхохотался.

— Эй, Маяк, глаза разуй! Вон же она...

— Я-то вижу, — сказал Маяк. — Не хуже вас. А я вот сообщил, и вы теперь не только видели, но еще и знаете. Информацию имеете.

Ничто во внешности забавного человечка не напоминало о маяке. Я спросила:

— Почему его так прозвали?

— Как радио, — сказал Гамбат. — Новости рассказывает...

О чем Маяк не известил, так о том, что после ужина мне пришлось мыть котлы и кастрюли. Штатные в это время смотрели телевизор, который установили на один из столов, бросив переноску из кухни. Когда я закончила возиться с посудой, ящик уже выключили. Пора было ложиться спать. Так что насчет свободного времени Арсен слукавил. Точнее, попросту соврал.

Да, и вот еще... Перед тем как отбыть домой, Казибег сообщил:

— Таня, извини, я твой телефон потерял. Наверное, положил где-нибудь, а кто-нибудь из рабочих украл. Я потом, когда в город поеду, новый тебе куплю.

4

Несколько дней спустя Маяк начал утреннее вещание с актуальной новости:

— Гамбат выздоровел.

Комментировать не стал, а перешел к устаревшим темам: вчера на ужин были макароны, Андрон проиграл Толяхе в карты пачку сигарет и тому подобным мелочам. Народ, покончивший со скудным завтраком, выслушал сенсацию в мрачном безмолвии. Для меня сообщение новостью не стало. Гамбатом звали пациента, которого я лечила от ревматического приступа. О том, что он поправляется, я знала лучше, чем кто бы то ни было.

Позже, отправившись за водой, я столкнулась с Гамбатом. При ослепительном дневном освещении он сильно напоминал выходца с того света. Я страшно обрадовалась, что пациент уже на ногах, и, чувствуя себя домашним доктором, спросила профессиональным тоном:

— Ну, как сегодня ваше самочувствие?

Он прошел будто мимо пустого места. А мне, дурехе, было мало. Я еще и добавила, крикнула вслед:

— Вижу, вам лучше.

Он остановился, обернулся и без слов обдал таким презрительным взглядом, что лучше бы обругал. И зашагал дальше.

Я чуть не задохнулась от возмущения. Свинья неблагодарная! Да если бы не я, вообще неизвестно, был бы он сейчас жив. Не надо было лезть из кожи вон, а послушать Казибега — оставить его на волю судьбы... И сразу же опомнилась. Я ведь лечила не ради благодарности. Да и не нужна мне благодарность надменного сморчка. Какой-то мелкий начальник, а строит из себя властелина мира. А чего другого ждать от Скорпиона?!

На подходе к насосной станции я еще издали увидела странную композицию. Кто-то лежал на спине на краю лужи, растекшейся около будки. Рядом стоял на коленях человек. По-видимому, оказывал первую помощь. Точь в точь утопленник и

спасатель. И хотя воды в луже по щиколотку, мелькнула дикая мысль: бедняга умирал от жажды, но не доплыл до трубы и утонул.

Спасатель поднял голову:

— Таня, помоги!

Я узнала Деда. Подошла ближе. Опознать утопленника было невозможно. Его лицо напоминало те страшные цветные фотографии, что я видела в детстве в книге по судебной медицине. Они потом целый год мучали меня, полночи не давая уснуть.

— Господи, он жив?!

— Ногами перебирал, пока я его волок, — сказал Дед. — Не узнаешь? Сенька это, пацан...

— Сеня, — позвала я.

Услышал. Ресницы задрожали, но заплывших глаз не раскрыл. Значит, в сознании.

— Давайте домой отведем. Лекарств никаких, но что-нибудь придумаю.

Кстати, в народе лечат от ушибов капустными листами или натертым картофелем. А у меня того и другого вдоволь. Вот оно преимущество, когда повариха и медсестра в одном лице.

— Погоди, дай отдышаться, — сказал Дед.

— Кто его?

— Гамбат. Кто ж еще?

Я изумилась:

— Этот дохляк?! Самого ветром шатает.

— Так у него для таких дел Кузьма имеется, — сказал Дед.

— Но за что бить такого безобидного?!

— Кирпич уронил. Он, Сенька, на ленте стоял...

За минувшие дни я успела осмотреть завод, а потому понимала, о чем говорил Дед. Производство простое — сочетание детской игры в песочные куличики с игрой в кубики. Специальный пресс выдавливает из размятой глины длинный брус, который режется поперек на бруски одинаковой толщины — кирпичи. Ленточный конвейер доставляет влажный сырец в цех, где рабочие подхватывают его с резиновой ленты и укладывают на подобия больших этажерок из деревянных рамок. Этажерки поступают в сушильные камеры, где кирпичи с них перекладывают в пирамиды для сушки. После сушки — новая перекладка, в печи для обжига. И наконец обожжённый и остывший кирпич перекладывают еще раз, чтобы вывезти из печи и доставить на склад готовой продукции. И все это кладется вручную. Не исключено, что я запуталась и пропустила одну или две перекладки.

Работа несложная, но тяжелая. Конвейер движется безостановочно, чтобы поспеть за ним, приходится хватать по два-три кирпича за раз. Упавший или смявшийся кирпич возвращают в смеситель, так что одиночный брак — не катастрофа. Потому-то я и воскликнула:

— Не поверю, чтоб избили за один кирпич.

— Если точно, за два. Сенька один уронил... Гамбат рядом ошивался, сделал замечание. А внушение кулаком — это уже за второй...

— Ну, а мужчины? Смотрели?

— А чего мужики? Они-то что могли сделать!

Десяток взрослых сильных мужчин — или сколько их на конвейере стоит — позволили хилому уроду избить до полусмерти слабоумного мальчишку. Как хотите, а у меня в голове такие пропорции не укладывались. Не должно быть такого даже в эпоху дикого капитализма.

— А Толяха? Андрон?

— Эти печь закладывали. Не было их на конвейере в тот момент. А хоть бы и присутствовали...

Выходило, я чего-то не понимаю в здешней жизни. Но я и не желала понимать.

— Так не оставлю. Пойду и разберусь, что тут за порядки такие.

Дед пришел в ужас.

— Ты девушка образованная, слышала, наверное, чего нельзя против ветра делать. Ну, этого самого...

Мы отвели Сеню к баракам. Дед кивнул на ближний: «Сюда». Одна небольшая комната. Теснота ужасная. Двухъярусные нары в три ряда. Как они здесь живут?! Дух стоял такой, что входить не хотелось примерно так же, как окунаться с головой в грязную воду. А чего ждать, если в тесном помещении обитают мужчины, не желающие о себе заботиться: стирать одежду и постельное белье, мыть полы, даже мыться самим... Спасибо, перестали мусорить около вагончиков. Я заставила — пригрозила, что буду недоливать премии. Совсем лишить их водки было не в моих силах. Начальство велело выдавать премиальные каждый вечер — способ держать штатных в хорошей спортивной форме.

Мы уложили Сеню на нижний ярус ближайшей койки, на нечистый матрас. Я расстегнула на парнишке рубаху и осторожно ощупала грудную клетку. Он вскрикнул. Думаю, одно или два ребра были сломаны, хотя без рентгена наверняка не определишь. Насчет сотрясения мозга я не сомневалась. Это ж какая злоба должна быть у человека, чтобы так измордовать парнишку. С такими кадрами в руководстве завода никаких террористов не надо.

Я ринулась к толстопузому начальнику, пусть разберется. Гамбат — явно невменяемый, с ним говорить бесполезно. Казибег сидел в конторе за своим столом, а напротив на стуле развалился этот урод, Гамбат. Оба вместе. Очень хорошо!

— Вы знаете, что вот этот самый только что сотворил?!!

Гамбат не шелохнулся, будто был глухим.

— Э, Таня, — сказал Казибег, — зачем невежливо говоришь? Нельзя так.

— Он приказал мальчишку до полусмерти избить. За пустяк.

— Ты обед приготовила? Нет? — спросил Казибег. — Иди своим делом занимайся.

— Я еще и медсестра, — отрезала я. — Так что здоровье не только начальства, но и рабочих — тоже мое дело.

— Таня, уйди. По-хорошему прошу... — я с удивлением увидела, что Казибег, огромный мужчина, начальник, как-то робко косится на сидящего пред ним подчиненного задохлика.

Гамбат медленно встал и пошел ко мне. У меня замерло сердце. Он же псих! Садист. Меня никто никогда не бил, и я просто не знала, что сделала бы, если б он меня ударил. Но отступать перед подонком — как же, ждите! Стояла как статуя Зои Космодемьянской работы скульптора Церетели. Не знаю, почему Гамбат не ударил. Остановился:

— Отойди.

— Обойди.

Ух, сколько ненависти во взгляде! Я спросила:

— Или что? Кузьме пожалуешься?

— Таня, отойди, пожалуйста, — попросил Казибег.

Гамбат грубо отшвырнул меня с пути. Я унизительно отлетела в сторону, едва не

упала, но устояла на ногах. А он хлопнул дверью, будто выругался. Я все свое возмущение обрушила на Казибега:

— А вы почему под стол спряталась?! Вы же начальник, вы должны были...

Он прервал:

— Гамбат начальник, не я...

— Вы же сказали... — начала я, но не стала продолжать. И так все ясно.

— Ты, Таня, спасибо скажи, что лечишь его. Иначе...

— Пусть он говорит спасибо! Я ведь могу и не останавливать следующий приступ.

Я не давала клятвы Гиппократа или какой-то Флоры Найтингейл, но больного человека, пусть самого мерзкого и злобного, без помощи не оставлю. Казибег об этом, разумеется, не знал.

— Таня, больше так не говори! Он плохой человек.

— А вы, стало быть, хороший?

— Я работаю, Таня. В нашем деле «хорошо — плохо» не разбирают, кирпич надо делать, продавать. У меня жена, дети, я их кормлю. Здесь для меня другой работы нет. Может, скажешь, чтобы я встал к конвейеру кирпичи перекладывать?

Я покачала головой:

— Нет, не скажу.

— Ты хорошо подумай. Если Гамбату начнешь насчет лечения угрожать, он такое сделает, что страшно сказать.

Так и ушла я ни с чем. С свинцом в груди и жаждой мести. Решительно не понимала здешних порядков, они мне шибко не нравились, но мириться с ними я была не намерена.

С кем посоветоваться? С Андроном? С Дедом или Толяхой? Андрон — нелюдимый, неразговорчивый, я его почему-то немного опасалась. Толяха казался не слишком серьезным. Оставался Дед. После ужина я позвала его на кухню.

— Хочу заявить в полицию.

— Где ты ее видела?

— В поселке должен быть хотя бы участковый.

— Сначала доберись до поселка, — сказал Дед. — Махмуд не выпустит. А главное, что скажешь участковому? Он тебя слушать не станет — подрались, мол, работяги, смешно из-за пустяка дело заводить. А на заводе никто показаний не даст. Ни единая живая душа...

— На участковом свет клином не сошелся. Дальше пойду.

— Ты прежде чем шум поднимать, спроси лучше, что с Ларисой стало, что до тебя работала.

— Спрашиваю.

— А ничего не стало. Шумела деваха, а потом пропала. Была и нет ее. Вечером ужин раздавала, а утром в кухне пусто. Позвали на замену бабенку из поселка, та стряпала, пока тебя не привезли. А про Ларису ни слуху ни духу. Куда подевалась, почему исчезла — никто не знает.

Дед уставился на меня с забавной многозначительностью.

— Элементарно, Ватсон, — сказала я. — Девушка уехала, ни с кем не попрощавшись.

— Тебе, конечно, виднее...

Обиделся. Ушел. Зря я неуважительно про Ватсона брякнула.

Толяха смотрел телевизор. Я отозвала его в сторонку.

— Ты хоть объясни. Дед темнит, про Ларису, полицию и прочее...

— Тебе простым языком? — спросил Толяха. — Объясняю: рабство здесь. Поняла?

— Только без метафор, пожалуйста.

Толяха искренне удивился:

— Выходит, еще не врубилась. Думаешь, все эти мужики, — кивнул на сидящих за столами, — добровольно пашут от зари до зари. Просто уйти не могут. Рабы они, невольники.

Я не поверила. В России? В двадцать первом веке? В две тысячи шестнадцатом году? Невозможно.

— Давай, расскажу, как сам залетел, — сказал Толяха. — Короче, приехал в Москву на заработки. Подумал, подзаработаю слегка, чтоб было на что первое время жить, пока найду постоянную работу. Пришел на Ярославское шоссе, где дачники людей нанимают. Кому огород вскопать, кому дом отремонтировать. Стою в толпе. Подходит человек: «Что делать умеешь?» — Я ему с юмором: «Всё умею. Как в том анекдоте: лес валить, девок шебаршить...» — Он спрашивает: «Электрику знаешь?» — «Знаю». — «Пойдем ко мне в машину, поговорим спокойно». — Одет прилично, говорит вежливо — отчего ж не пойти? В машине договорились, он достал бутылку: «Давай по пятьдесят грамм, чтобы сделку обмыть». — Я не хотел, из вежливости согласился: «Можно чуть-чуть». — Он налил стаканчик, я выпил и потянуло в сон. Очнулся, в голове — туман, не могу понять, где я. В каком-то автобусе. Куда-то еду. Только когда приехали, начал немного соображать. Вижу, и человек уже, вроде, не тот, с которым договаривался, а кто-то другой. И вокруг все непривычное. Все чужое. Воздух иной. Люди иные. Подвели к машине: «Садись, поедем». — Я забарахтался: «Никуда не поеду!» — «Ладно, — говорят, — не хочешь, не надо. Только деньги сначала верни. Билет тебе на автобус купили? Купили. Кормили тебя в дороге? Кормили. Отдашь и иди, куда хочешь». Я — по карманам. Пусто, ни денег, ни паспорта. А те: «Ничего не знаем. Наверное, в дороге спьяну потерял. Отдай или отработай». Я их пугаю: «В милицию пойду». А сам понимаю: лучше не соваться. И те понимают, на угрозу даже не отвечают. Я туда-сюда, наконец решаю: поработаю немного, возмещу им злосчастный билет, денег на дорогу заработаю и прости-прощай... Третий год вырваться не могу. Паспорт не отдают, денег не платят. Потом узнал, тут почти все эти... невольники... таким манером оказались. Стандартный метод. Бежал я однажды. Куда там! Поймали, избили, вновь запрягли и — в борозду. Вот так-то, Танюха!

Я ведь чувствовала: что-то на этом заводе неладно.

— И что, всех здесь силой держат?

— По-разному. Кого силой, а большинству податься некуда, бездомные. На улице тяжело жить, опасно. Здесь крыша над головой, пища постоянная, общество... ну и водяра каждый день. Засасывает. Крепче любой цепи держит. Они уже и не рыпаются, остаются как бы добровольно-принудительно. Ты пойми, Татьяна, это люди слабые, безвольные...

— А полиция? Почему их не защищает?

— Прикормлена. Я когда бежал, меня участковый назад привез.

— Но местные-то — из поселка, что работают на заводе, они ведь видят, что происходит.

— Эти не вмешиваются. Не хотят конфликтов с начальством. И к штатным у них двойственное отношение. Рабства не одобряют, но и самих рабов не уважают. Кавказцы ценят людей ярких, сильных. Ты, небось, заметила — они штатных как бы не замечают. Им неприятно, что те за себя постоять не могут и, главное, что пьющие...

— Ты ведь и сам...

— Трудно удержаться. Сначала отказывался, а потом тоска стала заедать. А насчет местных... Ты, к примеру, встречаешь на улице бомжа, опустившегося, грязного, вонючего. Ты его жалеешь, сочувствуешь... А ровней себе считаешь? Бросаешься помогать? В дом зовешь? Он из другого мира, который с твоим миром не соприкасается. Вот и поставь себя на место местных...

Да, конечно, у них своя жизнь. Я вспомнила маму и сестер Зарипа, парнишки, который привез сюда. Привечали они меня как дорогого гостя и ни словом не предупредили, хотя наверняка знали, куда Зарип везет. Но я не в обиде. Для него это заработок, а я — чужой человек. Гостеприимство — их долг. Но только в стенах дома, а моя судьба за его пределами — не их забота.

— Так что делать, Толя?!

— Уходить. Иначе никак. Мы даже без вести пропавшими не считаемся. Никто не знает, где мы. Нас нет. Нигде не числимся. Попросту не существуем.

— Я существую, — сказала я твердо.

И вновь отправилась к Казибегу. За существованием.

Он недовольно нахмурился:

— Опять? Что такое?

— Уезжаю. Отдай паспорт.

— Таня, деньги сначала отдай.

— Издеваешься? Я ни копейки не должна. Это завод мне должен за то время, что работала.

— Считать умеешь? Билет на поезд тебе купили, машину наняли, чтобы сюда привезти. Кушать, ты кушала? Продукты тоже денег стоят.

Ага, значит, это у них стандартный метод. Толяху так же убеждали.

— Я давно не только на поезд, на кругосветный круиз заработала. Выкладывай расчет и паспорт!

Голос у него вдруг сделался ласковым:

— Понимаешь, Таня, сейчас денег в кассе нет. Скоро продадим кирпич, тогда с тобой рассчитаемся. До конца месяца поработай, а потом сами проводим. На вокзал отвезем, на поезд посадим...

Очень правдоподобно. Талант! В любом театре главные роли дадут. Ну, а мне как уйти без паспорта и денег? Толяху, сильного мужчину, поймали, избили и назад привезли. А со мной что сделают? Я чувствовала, что в мягких уговорах Казибега таилась какая-то скрытая суггестивная угроза. Она-то была убедительней слов. Пугала.

Наверное, я обманывала себя, однако решила: ладно, до конца июля.

5

Явилось в полдень на кухню этакое чудо в перьях. Высокий, стройный. Пепельные волосы не стрижены, но причесаны. Одет в обноски — правда, чисто выстиранные, — обут в опорки, а вид такой, будто в руке теннисная ракетка и он прямо из кухни направится на дружескую игру с принцем Чарльзом.

— Здравствуйте, Татьяна... Как вас по батюшке?

Почему-то вопрос меня рассердил. Может, потому, что сам теннисист вызывал неприязнь.

— Зовите по матушке. Татьяной Ириновной.

И тут же рассердилась — с какой радости я ему мамино имя выложила! А рассердившись на себя, еще больше обозлилась на него. И уже не безразлично, а сердито:

— Вам чего?

— Если можно, немножко хлеба.

— Вот как! А вы кто?

И вновь себя выругала. Что за идиотский вопрос! Ну кто же в разгар рабочего дня может подойти за хлебом к заводской кухне. Определенно не Обама. Но оказалось, что незнакомец, судя по ответу, и сам идиот.

— Я... ну, я, так сказать, ваш новый сотрудник.

— Тогда вот ваша зарплата, — отрезала и вручила ему ломоть. — За месяц. Или за год.

Поблагодарил с такой аристократической любезностью, что аж противно.

Ушел, а я удивилась: с чего вдруг взбрыкнула? Безо всякого повода обрушилась на незнакомого человека. Ну, предположим, он Скорпион, и что? Скорпионы тоже бывают разные. Композитор Штраус, скажем, Майя Плисецкая или Индира Ганди. Нет, дело в том, что он был очень на кого-то похож...

Вспомнила! На врача в клинике, куда я привезла маму с обширным инсультом. Другие доктора сказали: «Поздно». А он спас маму от смерти. Я его боготворила. Высокий, статный, предельно аккуратный, спокойный, уверенный в себе и, главное, неимоверно талантливый. Полубог. Небожитель.

Однажды я случайно услышала его разговор с другим врачом. Небожитель сказал: «Не понимаю, почему у нас запрещена эвтаназия. Там внутри, под кожей, и личности-то никакой не осталось. Я в таких случаях думаю, что смерть была бы лучшим вариантом». Тот, второй, возразил: «Смотря для кого». — «Для обеих. И для матери, и для дочери. По-моему, у них больше никого нет». Стояли они возле маминой кровати и говорили о ней. Хотелось ворваться в палату, и... не знаю, как бы я с ним расправилась, такое охватило возмущение. Благодарность пересилила. К тому же он был классическим Скорпионом, а они презирают человеческие правила, если те противоречат их собственным, а чувства других людей вообще ни в грош не ставят. Их не переделать.

А возненавидела я его через несколько лет — спустя целую вечность, — когда, вглядываясь в неподвижное мамино лицо, пыталась представить, каково это быть заживо погребенной, как в гробу, в неподвижном, бесчувственном теле. Те слова небожителя об эвтаназии были отравой, страшным соблазном. О нет, я и помыслить не могла о том, чтоб покуситься на мамину жизнь. Но иногда приходилось гнать мысль, что он, возможно, был прав, когда говорил о «лучшем варианте». Но это лишь в черные минуты, потому что я была готова на все, лишь бы мама оставалась со мной. Лишь бы она чувствовала, что я рядом. Если она способна чувствовать. Я терпела, смирилась с тем, что сама погребена заживо в нашем тесном старом доме на окраине Старой Бологи. Я даже не позволяла себе вспоминать о чудесных путешествиях, о которых мечтала в детстве. Для меня свобода означала мамину смерть...

Бог его знает, чем теннисист, одетый в рубище, напомнил мне врача-небожителя. Манерой держаться? Наверное, было что-то такое, потому что многие на заводе сразу его невзлюбили. В особенности Гамбат. Но мне-то что до того? С собой бы разобраться. Скучно жить в неволе. Сегодня то же, что вчера. Вчера — то же, что завтра. Круглосуточное дежавю. Хоть вой от тоски. Я старалась не поддаваться

отчаянию, быть начеку, как советовал Толяха, — ждать случая. А он опять задумал бежать.

— Я с тобой! Возьмешь?

Без слов помотал головой: нет.

— Почему?!

— Танька, ты пойми, всякое может случиться. Если что, я тебя защитить не смогу.

— Преувеличиваешь.

— Преуменьшаю. По-любому не проси, не возьму.

Так и не уговорила. Мне вообще начало казаться, что выход отсюда только вперед ногами. Один из нас уже вылетел на волю таким путем.

Это чрезвычайное событие Маяк начал освещать еще до того, как оно произошло. Важно вошел на кухню и начал вещание.

— Танюха, ты слышала? — это неизменные позывные, с которыми он выходит в эфир.

— Раз спрашиваешь, значит, не слышала. У тебя ведь эксклюзив.

— Точно. Тебе всегда первой..

Уверена, то же самое он говорил всем слушателям. После позывных Маяк начал перебирать события недельной давности. Дед жидко обосрался (у того действительно началась диарея неделю назад, но мне сразу же удалось остановить ее отваром гранатовых корок, которые я подобрала с господского стола). Василий и Шпоня подрались (было это три дня назад, предложила Шпоне капустные листья как средство от гематом, но он отказался). И тому подобный мелкий вздор. Видимо, нынешняя новость умещалась в несколько слов, так что Маяк, как и все новостные каналы, добирал массу старьем. Наконец добрался до главного.

— Андрон послал Гамбата! Я только что от конвейера. Сам слышал. Короче, Андрон ему: «Да пошел ты...» Сама понимаешь, куда..

Это действительно была сенсационная новость. Никто еще не осмеливался оскорбить Гамбата — это все равно, что топтать закопанную в землю мину.

— Почему? Что у них случилось?

— Откуда я знаю! Их не поймешь, что Андрона, что Гамбата. Сначала, вроде, спокойно говорили, а потом вдруг...

— И что же Гамбат?

— А ничего. Посмотрел зверем и ушел.

— Может, обойдется.

— Ага, жди! Ты еще не знаешь, как здесь такие дела заканчиваются...

Я и не хотела знать. Но очень скоро узнала. Вечером, как всегда, раздавала водку и сигареты. Очередь, выстроившаяся слева, вдоль кухонной стены, мне обычно не видна. Но я не слышала и традиционных шуток, оживленного гогота, который вызывает у мужчин предвкушение близкой алкогольной интоксикации. Толяха, стоявший в дверях проема перед табуретом-прилавком, был непривычно молчалив и скован. Я выложила на табурет красную пачку «Примы», достала из ящика очередную бутылку, наполовину наполненную.

— Толик, ты чего застыл? Не томи очередь, народ жаждет.

Однако никто не возмущался, не подгонял Толяху, который напряженно смотрел куда-то влево.

— Что там случилось?

— Андрона убили.

Я опрокинула табурет, оттолкнула Толяху и выскочила наружу. Андрон полулежал,

привалившись боком к стенке и вытянув ноги. Голову, будто пригорюнился, опустил на грудь. Самым диким было то, что очередь не распалась, а лишь слегка раздвинулась по обе стороны от Андрона. Каждый стоял, не тронувшись с места и лишь повернувшись к человеку, прикорнувшему у стены. Все молчали.

Я приложила пальцы к яремной вене. Пульса не было. Но не было и крови, а раны я не видела.

— Сзади, — сказал кто-то.

Чуть повернула тело. Слева, на уровне сердца из спины Андрона торчала деревянная ручка какого-то инструмента. Отвертка, напильник или вроде того.

— Заточка, — сказал кто-то.

Крови не было и на спине. Разве что чуть-чуть вокруг рукояти заточки. Удар в сердце. Мгновенная смерть. Мне осталось лишь закрыть Андрону глаза.

— Зачем? Пусть смотрит.

Я и не заметила, как подошел Гамбат. Оттолкнул меня, нагнулся и пощупал пульс на шее Андрона.

— Я уже проверила.

Не соизволил ответить. Всем своим тщедушным телом дал понять, что здесь он и никто другой определяет, кто жив, а кто мертв.

— Унесите. Бросьте где-нибудь.

Повернулся и ушел.

— Мужики, кто уже получил, надо бы отнести Андрона, — сказал Толяха. — Если положить на ленте, собаки не достанут. А могилу завтра выроем, не в темноте же копать...

Лентой на заводе называют конвейер.

— Силен, Толяха, — иронически сказал Кузьма, который все это время сидел в стороне, на лавке у стола. — Тебе бы в могильщики.

Толяха промолчал.

Нести тело Андрона заставили безответного Сеню и Маяка.

— Я еще не отоварился, — заканючил Маяк.

— Тогда тащи его быстрее. Может, вернешься, Татьяна еще не закроет, успеешь ухватить.

И раздача пошла прежним ходом, словно ничего не произошло. Пачка. Полбутылки. Следующий... Следующим был Дед.

— Помяну бедолагу, — проговорил, принимая бутылку, и вдруг отлетел в сторону от грубого толчка.

Кузьма.

— Пять пачек и бутыль цельную.

Я очень хорошо понимала, почему он требует лишнее, но спросила:

— Это за какие же заслуги?

— У Гамбата спроси, он велел.

Какой-то бес внутри заставлял меня тыкать палкой в медведя в клетке:

— Что ж так мало?

Кузьма равнодушно посмотрел мне в глаза. Равнодушие было искренним, непритворным.

— Дело пустяковое, больше не стоит.

Я выложила пять пачек, он сгреб их, сунул в карман бутылку, а уходя, полуобернулся:

— Смелая?

Усмехнулся и сплюнул.

Яснее ясного выразился. Я иронизировала, потому что знала — меня, личного медика Гамбата, он не осмелится тронуть. Никому другому не простил бы насмешку. Даже такую трусливую и уклончивую, как моя нынешняя. Это был предел протеста, на который я решилась. Я и живым-то с трудом могла помочь. Вступаться за мертвых сил не хватало. А кому жаловаться? К кому взывать о возмездии? Кого просить о защите?

Толяха все-таки сбежал. В один прекрасный день пропал, и его исчезновение особо не обсуждалось. У невольников память коротка. А у меня появился воздыхатель. Смех, да и только. Сквозь слезы...

Видали ль вы влюбленного кашалота? В особенности, если он по Зодиаку — Телец. Другими словами, сентиментален до чертиков, но долго не решается влюбиться по-настоящему.

Первые признаки появились пару недель назад. Не знаю, какие у водоплавающих кашалотов брачные ритуалы. Наверное, кружат в воде вокруг счастливицы, бьют хвостом и пускают фонтаны. Сухопутному сложнее — окружающая среда к фонтанам не располагает. Очень жарко. Удавалось лишь кружить, сопеть да потеть...

— Таня, я половину барана привез, на несколько дней. Сегодня шурпу приготовь, а завтра — что сама захочешь...

Это он так зарождающееся чувство выражал. В иносказательной форме. Помимо того, полностью доверил мне припасы, что вовсе не радует. Прежде отпирал кладовку и выдавал необходимое на день. Теперь ключ у меня, приходится самой вести учет. Все эти цифры вызывают дикую аллергию: 10 бух. хл. для раб.; 4 бух. хл. для техн.; 0,5 кг сах., 3 кг макарон для раб. Противно и скучно!

Несколько раз просила:

— Избавьте от писанины. Выдавайте продукты как прежде.

— Нет, Таня, я знаю, ты честная. Я тебе доверяю, сама бери, сколько надо.

И при этом глазами сверкает. Шутки шутками, но я ценила его деликатность. Другой на его месте, при том что я была невольницей, а он — хозяином, действовал бы нагло и грубо. Странные все-таки иногда складываются отношения между людьми. Он ведь с самого начала обманывал меня — с паспортом, телефоном, обещанием зарплаты. Нагло врал. И все же как человек был мне симпатичен. Безо всякого стокгольмского синдрома. Просто по-человечески нравился. Но не более того. Абсолютно не герой моего романа. Не мой тип.

А он кружил, кружил и наконец созрел.

Пришел вечером, когда стемнело. Обычно он после работы домой уезжал, а в этот день задержался. Нарочно, как я поняла. Дверь была уже заперта. Я, кстати, с самого начала потребовала, чтобы хилый крючок заменили настоящим внутренним замком. Казибек купил в поселке и велел Толяхе установить. Отпереть можно было изнутри и снаружи ключом.

Я готовилась ко сну, уже переоделась в ночную рубаху. И вдруг услышала, как щелкнул замок. Казибек вошел и сразу, без слов, обхватил, прижал к себе, поцеловал в шею. Я не вырывалась. Сказала только:

— Казибек, если тебе жизнь не дорога... Сопротивляться не стану. Но потом тебе не жить.

Женщине с кашалотом не справиться. Это только на вид — один жир. Под салом у него — я чувствовала — стальные мускулы. Но это только название. Большой

кухонный нож пройдет сквозь стальные мышцы с той же легкостью, что через жировую ткань. А решимости у меня хватит. Он это почувствовал. Отпустил.

— Не любишь?

— Нет.

— А я люблю.

— Ничем не могу помочь.

— Таня, я серьезно. Очень серьезно.

— Замуж, что ли, зовешь? Так бы сразу и сказал, а то вошел — и лапать.

Я специально говорила грубо и насмешливо, чтобы у него иллюзий не оставалось. А он обрадовался:

— Конечно, замуж! А ты как думала?

— Не мели чушь. Даже если правду говоришь, я семью разбивать не стану. В жизни не допущу, чтобы какой-нибудь мужчина из-за меня от жены ушел.

— Ты не понимаешь. Я с женой расходиться не буду. Я тебя второй женой хочу взять. У нас можно. У нас разрешается.

— У вас — разрешается, а у нас запрещено. А даже если можно было бы, мне самой не подходит. Так что ничего у нас с тобой не выйдет. Ни по-плохому, ни по-хорошему. А ключ отдай.

Огорчился, но отдал и сразу же ушел. На следующий день — будто ничего не было. Не озлился, не приставал, только изредка посылал мне выразительные взгляды, но не более того. Тельцы не мстительны.

Вероятно, надеялся. Тельцы очень терпеливы.

6

Побыть в одиночестве хоть несколько минут удается только ранним утром. Поэтому меня не огорчало, что приходилось вставать раньше всех, чтобы нарезать хлеб и приготовить чай к шести часам, когда рабочие один за другим побредут к столам.

И затем уже целый день до вечера — ни минуты уединения. То и дело кто-то прибегал на кухню за хлебом. Чудно! Сидя взаперти с мамой, я мечтала о людях и представить не могла, что буду задыхаться от их присутствия. Не понимала, что полностью принадлежишь самой себе только в одиночестве.

Когда-то читала о пытке светом. Одиночная камера круглые сутки освещается яркими лампами. Не смертельно, наверное, но очень мучительно. Теперь сама оказалась в плотно населенной огромной одиночке, где дневная жара и ослепительное солнце сменялись ночью прожекторами на стенах заводской ограды, заливавших двор ослепительным электрическим светом.

Владельцы завода не экономили. Электричество было дармовое, ворованное. Как и газ, на котором работали печи, — из газопровода, проходившего неподалеку. Достаточно врезаться, и жги, сколько хочешь. И сырье не стоило ни копейки, глину брали из карьера рядом с заводом. Рабочая сила — само собой, тоже дармовая. Идеальное незатратное производство. Правда, рабов все же недоставало, приходилось нанимать за плату людей из поселка. Ну, и платить технарям — механикам, технологу, водителям...

Не понимаю, зачем была нужна иллюминация по ночам. Должно быть, тратили энергию зря только потому, что за нее не надо было платить. Меня это наглое нестерпимое сияние, врывающееся в окно, мучило, не давало уснуть. Казалось зримым воплощением неволи.

Я не спала, когда услышала, что неподалеку от моей хибары остановилась машина. Застучали кулаком в дверь, голос Махмуда, охранника, сказал:

— Выйди, посмотри, что с ним.

Оделась, вышла. Грузовик уже отъехал, Махмуд ушел, а на земле лежал лицом вниз человек. Перевернула на спину. Человек застонал. С трудом узнала Толяху. Отвела его к себе. Не в вагончик же, на нары, полумертвого вести. Привела в чувство, обработала ушибы... А вскоре уже пришла пора на кухню отправляться.

Резала хлеб, а впору было зарезаться, такое острое чувство безнадежности нахлынуло. Если уж хваткий Толяха не сумел уйти, то на что мне, женщине, надеяться?

Около раскрытой двери что-то зашуршало, стукнуло. Я резко обернулась, саданув ножом по пальцу. Николай, теннисист, тянулся к двум ведрам, стоявшим наготове у короба.

— Я... за водой...

— У водокачки напейся, — голос у меня охрип от внезапного испуга.

— Я вам помочь хочу...

— В следующий раз заранее заявку подай, чтобы я ненароком руки не лишилась.

Порез был не слишком глубоким. Хорошо, что я держала на кухне аптечку. Достала бриллиантовую зелень, начала обрабатывать порез.

— Я умею бинтовать, — сунулся Николай.

— Вода, — я кивнула на ведра.

Схватил и убежал. К тому времени, как он вернулся, палец был перебинтован, а я вновь орудовала ножом. Николай затопал ногами у входа, не решаясь подать голос.

— Входи. Наполни чайники и поставь на огонь, — приказала я.

Справился. Из него вышел бы неплохой поваренок.

— Что еще?

— Все. Можешь отдыхать.

Он не уходил.

— Чего ждешь?

— Разрешите, я немного посмотрю. Знаете, всегда любил наблюдать, как мама хлопочет на кухне.

Видели вы такого дебила? Кухонный вуайерист.

— Хочешь сыночком ко мне пристроиться?

Смутился чуть ли не до судорог.

— Нет, что вы! Я просто... — не закончил, выскочил из кухни.

Смешно, к столу вместе со всеми не пришел. Сенька забрал его пайку и сказал, что передаст. Странный он какой-то, этот теннисист...

Я не заметила, как стала думать о нем. Понятно, конечно, почему — он был не похож на остальных. Какое никакое, а свежее впечатление. Нам, Водолеям, они необходимы как воздух. И кстати, о Зодиаке. Я засомневалась: а Скорпион ли теннисист? По всему — не похож. Неужели я ошиблась? Или он совсем уж нестандартный...

Подошла вечером и спросила:

— Когда ты родился?

— Подарок ко дню рождения хотите сделать? К сожалению, уже прошел. Второго июля.

Рак! Непонятно, как я могла перепутать его со Скорпионом. В первый раз так

позорно ошиблась. Имелось лишь одно оправдание — оба знака держатся замкнуто, прячутся за непроницаемой внешней оболочкой.

Одолело любопытство, я принялась расспрашивать.

— Тебя каким ветром сюда занесло? Ты вообще откуда? Из страны Оз?

— Из Саратова. Приехал на курорт. И уже через две недели меня так утомила назойливая опека врачей, что я был готов, кажется, на все, лишь бы вырваться на волю. И тут вижу, тамошний фургончик собирается куда-то ехать. «А что, — думаю, — тряхну стариной...»

Я перебила его:

— И много пришлось стряхивать?

— Много. Лет пятнадцать. Сейчас мне тридцать три, а в молодые года я пару-другую раз путешествовал автостопом. «Что же, — думаю, — от Саратова до Владивостока и обратно добирался на попутных, это восемь с половиной тысяч верст в одну сторону. А здесь до Махачкалы всего триста с небольшим — пустяк». Спрашиваю у водителя: «Далеко едешь?» — «До райцентра». — «Возьмешь?» — «Садитесь». — «Подожди пять минут, соберусь». Забежал в номер, побросал вещи в сумку и выбрался, можно сказать, на свободу с чистой совестью. В райцентре мне повезло, почти сразу же остановился грузовик, идущий до городка, после которого, судя по карте, оставалось меньше половины пути. Водитель, Замидин, веселый, общительный парень, развлекал меня разговорами, шутил, расспрашивал, кто я и откуда. Километров через тридцать он сказал: «Надо в один поселок по делу заехать. Возражений не имеете?» Я не имел. Замидин свернул с шоссе. До поселка тряслись километров пять. Остановились около каких-то ворот. Замидин извинился: «Я сейчас», постучал в ворота, вошел. Минут через пять вышел с человеком, вероятно, хозяином дома. «Надо кое-что привезти. — сообщает Замидин. — Вы пока у них посидите. Через полчаса вернусь. Сумку, хотите, заберите, хотите, в кабине оставьте». Я подумал, что нет смысла таскаться с вещами, которые мне в ближайший час не понадобятся, — бельем, дорожным несессером, бритвой, мобильным телефоном, романом Уэльбека и прочими причиндалами из джентелменского набора.

Уехал он, иду в дом и только тогда вспоминаю, что в сумке остались билеты на поезд и паспорт. Убеждаю себя, что ничего плохого не случится. Замидин — парень честный, рыться в моих вещах не станет, да и зачем ему нужны чужие документы. А я тем временем испытываю на себе все прелести кавказского гостеприимства. Хозяин угощает как на убой, к чему мой организм слабо приспособлен. Потом до меня доходит, что прошло уже часа два. Спрашиваю хозяина: «Не знаете, почему Замидин задерживается?» — Вежливое изумление: «Какой Замидин?» — «Ваш знакомый, тот, что меня привез». — Еще более вежливое изумление: «Разве это не ваш знакомый? Мы этого парня никогда раньше не видели».

И вы знаете, я вдруг страшно смутился. Как же это так! Выходит, я обманом проник в дом, люди меня привечали, угощали, потому что принимали за кого-то другого. Стыд какой! А они утешают: «Вы не волнуйтесь, он непременно вернется. Надо только немного подождать...» Жду. Время идет. Они утешают: «Ничего. У нас погостите, переночуете, а завтра видно будет».

Потом хозяин уходит, оставляет меня в комнате одного. И правда, не целый же день гостя ублажать. Соскучившись, выхожу на задний двор. Хозяин мой, любезный Абас, с сыном-подростком копают картошку на огороде. «Николай, не поможете нам?» Помогаю. Трудимся до вечера. Утром Абас будит: «Коля, вставай». Вскакиваю. «Что такое? Водитель приехал?» — «Коля, надо баранам сено натаскать». Ну, как же

иначе?! Задержался в семействе — надо участвовать в общей жизни, отплатить за сочувствие и гостеприимство. Участвую. Натаскал сена, просят починить забор. Чиню как могу. «Коля, в электрике понимаешь?»

Понимаю, что так можно застрять надолго. Ждать Замидина бесполезно и глупо. Выберусь своим ходом. Как-нибудь доеду автостопом до Махачкалы, получу справку вместо паспорта, потом — на поезд и домой. Хорошо, что еще в санатории сунул в карман немного денег. На билет должно хватить. Говорю: «Огромное спасибо за приют, Абас, но мне пора в путь». И тут он меня огорошил: «Коля, в общем, так. Тот парень, Замидин, шофер, тебя продал. Я тебя у него купил. Так что придется немного поработать». Строго сказал — ни улыбки, ни любезности во взоре, так что я мгновенно поверил, что так оно и было. Однако в голове не укладывалось.

Во-первых, как это вообще можно продать человека? Люди не продаются и не покупаются. Это не скот и не товар. А во-вторых, мне по наивности казалось, что Замидин испытывал ко мне расположение. Что возникла меж нами дружеская приязнь... Впоследствии все-таки с этим разобрался. Не было ничего личного. Он и впрямь дружески относился. Не ко мне лично, а к безымянному спутнику, которым я случайно оказался. С любым другим он точно так же временно подружился бы, чтобы скоротать дорогу. Уж не говорю, что кабина, тесное пространство, создают иллюзию общности...

Насчет продажи человека тоже уразумел...

Николай даже засмеялся:

— Представьте, едете вы где-то в глуши по безлюдной дороге и видите вдруг, что по дороге идет барашек. Прямо по разделительной полосе. Ни впереди, ни позади никаких признаков человеческого жилья. А потому вы с чистой совестью имеете полное право запихать агнца в багажник. Хотите — зарежьте, хотите — продайте, а то, скажем, водите его на прогулки с голубым бантом на шее. Он ваш.

— Я бы попыталась найти владельца, — сказала я.

Николай театрально вскинул вверх глаза.

— О, женщины! До ужаса конкретное мышление. Во-первых, где его искать? А главное, Татьяна, это не живой, а метафорический барашек. Метафоры не материальны, они не имеют владельцев. Иногда, случается, у них есть авторы.

— Вы-то материальны.

— Вот именно! Так что шоферу просто подвернулся бесхозный человек на дороге. И шофер, учтите, не зарезал его, не повязал голубую ленточку. А мог бы сделать то или другое. Нет, просто продал. Он не злодей, всего лишь захотел немного подзаработать. Это я сейчас понимаю, а тогда смысл слов «тебя продали» прозвучал настолько абсурдно, что я не удивился и не возмутился, а воззвал, так сказать, к логике: «Какое он имел право продавать, если я ему не принадлежал?»

Однако мой хозяин — и это слово, кажется, начало приобретать особый смысл — не собирался вступать в абстрактные споры. «Мне все равно, кому ты раньше принадлежал. Я деньги отдал, теперь мне принадлежишь». Но я продолжал упорствовать теоретически: «Возможно, вы с Замидином заключили какую-то сделку, но ко мне она отношения не имеет. Я в ней не участвовал. Поэтому я заплачу за постой, за ночлег и питание и уйду». Абас даже огорчился. «Послушай, Коля, ты человек нездешний, обычаев не знаешь, поэтому тебя на первый раз прощаю. Но больше так никогда не поступай — за гостеприимство денег не предлагай. За такое оскорбление в другом доме сильно наказать могут. А я человек добрый — не хочешь у меня остаться, иди...»

Ситуация нелепейшая, а главное, страшно неловкая. Как после таких речей

прощаться? Уместно ли протянуть руку для рукопожатия? Ограничился тем, что пробормотал: «Еще раз спасибо. Прощайте». Хозяин не встал, не ответил. Выхожу во двор, направляюсь к воротам и слышу позади себя рычание. Останавливаюсь. Громадный пес, неизвестно откуда появившийся. Понимаю — сделаю еще хоть шаг, бросится. Замираю. Выходит Абас. «Почему не уходишь?» Это юмор такой, брутальный. Одним словом, застрял я там. Собака как барана стерегла. Унизительно, но я просто оказался не в силах справиться с этой зверюгой. Соседи, к которым я пытался обратиться за помощью, попросту не видели меня, будто человека-невидимку...

И знаете, когда я прежде думал о рабстве, то представлялись драматизм, мрачное величие древней несправедливости. Строительство пирамид, римские латифундии, черные невольники на хлопковых полях, кресты с распятыми сподвижниками Спартака. А рабство, в котором я очутился, было бытовым, почти домашним. Вроде принудительных работ на семейной даче под конвоем нелюбимой тещи. Хозяева чем сами питались, тем и меня кормили. Конечно, не за своим столом. Хотя они вообще ели порознь — мужчины отдельно, женщины отдельно. И я отдельно.

Смешно, но у нас с Абасом отношения сложились наподобие дружеских. Иногда он меня пугал, в воспитательных целях, однако ни разу не ударил. Думаю, я был хорошим рабом, работал не за страх, а за совесть. Даже вспомнить стыдно...

Я поспешила его утешить:

— Вы просто не могли иначе. Таковы все Раки — труженики. Зато и вознаграждение за свой труд требуют немалое...

Николай, как мне показалось, про Зодиак не понял или пропустил мимо ушей, однако общий смысл уловил.

— Да, примерно так. Я думал, если буду усердно работать, в награду меня рано или поздно отпустят. Хозяин собирался переезжать в город, а там и прятать раба невозможно, и не нужен буду ему там. Представьте, с каким нетерпением ждал я переезда. Накануне хозяин сказал мне: «Коля, ты войди в мое положение. На новом месте много денег нужно — то купи, за это заплати... А ты хорошо работаешь, как-нибудь устроишься». Я думал, извиняется за то, что бросает меня без средств. Стал благодарить хозяина, а он, оказывается, предупреждал, что продает на завод...

Я видела, как глубоко оскорбили Николая не столько два года рабства, сколько то, что хозяин не вознаградил его искренних усилий. Для него это было моральной травмой.

Меня же поразило, как сильно его история походила на мою. Почти точное совпадение. Мы оба были наказаны за доверчивость и легкомыслие. Не знаю, каково ему жилось прежде, но я считала свою жизнь тяжелой. Видно, недостаточно тяжелой, если расслабилась настолько, что позволила завладеть моей свободой людям, которые относятся к жизни неизмеримо более серьезно, нежели я.

Как бы то ни было, после этого разговора между мной и Николаем завязалось нечто вроде дружбы, что в общем удивительно. По всем законам наши знаки совершенно не сочетаются. Нам даже следовало не замечать друг друга. Рак и Водолей мало интересуют друг друга, обоюдное притяжение между ними отсутствует.

Но на безрыбье и рак рыба. С Николаем, по крайней мере, можно было поговорить на разные темы. У себя в Саратове он работал завклубом или вроде того, так что знал много сплетен про знаменитостей, которых приглашал на гастроли. Как мужчина он меня не заинтересовал. А он, напротив, вопреки Зодиаку, начал, по-видимому, питать ко мне нежные чувства. Могла бы сказать, что на чужой сторонке и старушка — божий дар, но мне до звания старушки надо еще дожить.

Вообще-то на кухне пасутся все штатные. Но только Николай входит как в храм, разве что не крестится на пороге. Все прочие просто вваливаются и требуют чего-нибудь пожрать. Он же робко стучится, хотя кухонная дверь распахнута настежь и проще спросить, можно ли войти. Это ж надо, чтоб в обычном стуке звучало такое благоговение.

Именно так он постучал и в тот раз. О, господи! Он еще и голубенький цветочек принес, жалкий, болезненный, выросший где-нибудь в пыли у забора. Явно собрался сообщить о своих чувствах.

Нашел время! Я не поспевала с обедом, злая, потная, разгоряченная, со сбившейся на голове косынкой, в белом поварском фартуке, который следовало бы постирать еще вчера, но было недосуг... Как раз та ситуация и то настроение, в которых любая женщина мечтает выслушать любовное признание. Нет, эту затею надо было пресечь в корне. Пусть выберет более подходящий момент.

— Ты вот что, Николай, сбегай-ка за водой, — сказала я. — Вон, ведра возьми.

Николай замялся, я догадалась, что он не знает, куда пристроить цветочек, а вручить мне не решается.

— Растение можешь на столе оставить, — сказала я. — Вернешься, заберешь.

Положил, конечно, на самый краешек стола. Подхватил ведра и вышел. Я повернулась к плите и услышала снаружи крик:

— Эй, ты, куда пошел?! Сюда иди!

Голос Гамбата. И сразу же — выстрелы. Один. Другой. Третий. И дикий предсмертный вопль. Я похолодела. И вновь выстрелы: один, другой, третий и вопль.

Это каким же надо быть больным на всю голову, чтобы выбрать такой кошмарный рингтон. Выстрелы смолкли. Гамбат громко и раздраженно проговорил что-то по-своему. Замолк, слушал, что отвечают.

Я подошла к двери и встала в проеме.

Гамбат грязно выругался в трубку по-русски и сунул телефон в карман. Шагах в пяти от него топтался Николай.

— Иди сюда! — крикнул Гамбат.

Николай подошел. Я лихорадочно придумывала, как разрядить обстановку, чтобы не подтолкнуть Гамбата к какой-нибудь дикой выходке. А он грозно уставился на Николая:

— Почему от ленты ушел?

Обычно начальство не обращало внимания на то, что рабочие по очереди прибегали на кухню перехватить ломоть хлеба, пока товарищи заменяют их у конвейера. Это дешевле, чем кормить полноценным завтраком.

— Да я вот забежал хлеба перехватить, все так делают, — простодушный Николай не оправдывался, а объяснял. — Ну, а сложилось так, что заодно и помочь надо.

— А ты на хлеб заработал?

— А вы попробуйте проработать полдня на одной утренней пайке.

Я даже разозлилась на Николая. Урод докапывается до него в своей мерзкой манере, а он отвечает серьезно, будто они в самом деле беседуют на равных.

— Я на ленте не стою, — сказал Гамбат. — Я кирпич не перекладываю. Я настоящим делом занимаюсь, мужским делом. А ты даже не мужчина, гордости у тебя нет, если с ведрами ходишь. Воду только бабы носят, настоящий мужчина ведро в руки не возьмет. Ты, значит, вообще не мужчина.

— Мужчина — это тот, кто женщину бережет, тяжелую работу берет на себя, — Николай отвечал все так же серьезно.

Гамбат захохотал.

— Ты еще полы на кухне вымой, котел почисть, а потом между ног у нее полижи, если не умеешь с бабами по-мужски обращаться.

Николай поставил ведра на землю и ударил Гамбата в лицо. Вот уж чего от него не ожидала, так это сильного и ладного удара. Не думала, что он умеет драться. Гамбата даже шатнуло, но он не упал. Рванулся вперед, но остановился. Не знаю, что его остановило — трусость или гордость. Николай крупнее и сильнее. Думаю, Гамбат опасался хорошей взбучки. Схлопотать еще раз по морде —еще одно дополнительно унижение.

Лицо его за несколько мгновений словно прошло все стадии истощения при раковой опухоли — запали глаза, втянулись щеки, побледневшая кожа плотно обтянула кости черепа и безгубые зубы оскалились в злобной улыбке:

— Стой здесь. Никуда не уходи.

Удалился походкой победителя. Буквально чувствовалось, как он с каждым шагом мучительно залечивает травмированную гордость.

Я знала, куда и зачем он направляется. За себя не опасалась. Меня не тронет. Жизнь Гамбата, как у Кощея бессмертного, хранилась в иголке. В игле моего шприца.

Я схватила Николая за руку.

— Тебе надо спасаться. Он за Кузьмой пошел...

Он уперся:

— Я ни от кого бегать не собираюсь. Унизительно.

— Думаешь, Кузьма драться с тобой будет? Думаешь, просто изобьет? Нет, ножом ударит. Зарежет. За бутылку водки. За пачку сигарет.

Но Николай боялся совсем другого. Его, совсем как мальчишку, страшило, что я сочту его трусом, если он попытается бежать или прятаться. Лучше уж умереть, чем на глазах у женщины дать слабину.

Я не стала терять времени на убеждения. Сказала:

— Коля, прошу... Ради меня. Представь, как мне жить, если тебя убьют? Или гордость тебе дороже?

Обращение «Коля» вместо обычного «Николай» прошило его, как разряд электрического тока, и именно оно заставило послушаться. Он пошел за мной.

Справа, шагах в тридцати от нас, около крайнего ряда кирпича, выставленного на продажу, я увидела Казибега. Он стоял у кабины большого грузовика и разговаривал с каким-то человеком — водителем или покупателем, которого я видела со спины. Казибег стоял к нам лицом. Не знаю, видел ли он, как Николай ударил Гамбата.

Я ломала голову, как заговорить с Казибегом. Просто вклиниться в его разговор с клиентом? Он сочтет это нарушением всех норм приличия, разгневается и не захочет даже слушать меня, не то что помочь...

Должно быть, Казибег видел стычку, потому что еще издали крикнул:

— Что надо?

Я в ответ:

— Казибег, извини, на два слова. Очень важно.

С чего начать?

— Ты видел? — спросила я.

Казибег хмыкнул, понимай, дескать, как хочешь.

— Вот этот покупатель, с которым ты разговаривал... Попроси, чтобы он увез Николая с завода.

— Ты понимаешь, о чем просишь?

— Умоляю, помоги...

— Нельзя, Таня.

— Но он же убьет его!

— Ты хочешь, чтобы Гамбат убил меня вместо него? — он небрежно махнул огромной ручищей в сторону Николая.

— Ты ведь не побоишься Гамбата? Тебя он тронуть не посмеет.

— Откуда знаешь?

— Знаю. Ты такой большой и сильный мужчина, а он совсем слабый и тощий.

— Не в том дело. Как я Колю отпущу? У нас и так рабочих рук не хватает.

— Но ведь и мертвый он работать не сможет. А так доброе дело сделаешь.

Гамбат вздохнул и пошел к клиенту. Пока они разговаривали, меня дрожь колотила от страха и нетерпения. Болтают языками, а в любую минуту могут вернуться Гамбат с Кузьмой.

Наконец Казибег пошел к нам, а человек остался у машины. Я заметила, что он поглядывает в нашу сторону. Казибег двигался не спеша, с достоинством. Впрочем, при его весе не побегаешь. Подошел.

Я взмолилась:

— Казибег, миленький, пожалуйста, побыстрей..

От опять тяжело вздохнул.

— Таня, только ради тебя.

Кивнул Николаю:

— Иди за мной.

— Постой, — сказала я.

Поцеловать его на прощание на глазах у чужих людей я не могла. Но и отпустить просто так было неправильно. До свиданья, друг мой, ни руки, ни слова... Сама не знаю, как это вышло. Я неверующая, но, помимо своей воли, перекрестила Николая.

Вот и все.

Они подошли к грузовику. Николай встал на колесо, залез в кузов и скрылся за бортом. Видимо, сел на пол.

Покупатель вынул что-то из кармана и передал Казибегу. Деньги, поняла я. Казибег не просто спас Николая, он продал его. Хитрец разом избавился от конкурента и одновременно заработал кое-какую денежку... Он видел стычку и сразу смекнул, как ею воспользоваться. Договорился с покупателем еще до того, как подошел к нам. Артист! Зачем заставил меня упрашивать его? И это понятно. И все же, несмотря ни на что, я была безмерно благодарна толстяку.

Грузовик тронулся с места и, пыля, потащился к воротам. Я вернулась на кухню. Присела на табурет, не в силах чем-либо заняться. Почти сразу же ворвался Кузьма.

— Куда спрятала?

— Вон в ведре с очистками посмотри.

7

С тех пор, как отослала Николая, только и нем и думала. И относится к нему стала совсем по-новому. Прежде я видела в нем забавного чудака и вела себя с ним чуточку снисходительно. Меня ничуть не взволновало, что он мной увлекся. Слишком мы несовместимы. Но случившееся разом все изменило.

Нет, я не влюбилась в Николая задним числом, по воспоминаниям. Влюбленность — это временное помешательство, которое заставляет украшать предмет воздыхания,

как новогоднюю елку, всяческими достоинствами и любоваться его явными недостатками, считать их очаровательными. Но я была виновата в том, что, забывшись, поступила легкомысленно, безответственно в условиях, где это опасно, — послала его за водой, поставила тем под удар и, наверное, поэтому полюбила его. Полюбила той любовью, которой матери любят ущербных детей, даунов или олигофренов. В ней нет радости, гордости или восхищения, а лишь горечь, жалость, чувство вины и огромной ответственности.

Несколько раз спрашивала Казибега, где живет человек, который увез Николая. Он хитрил:

— Таня, откуда я знаю. Приехал, купил кирпич, уехал. Незнакомый человек.

Наконец пришлось сказать:

— Казибег, ты вот замуж зовешь. А как мне об этом серьезно думать, если даже в такой мелочи мне отказываешь...

На рискованную тему заговорила, но я его не боялась. Он оживился:

— Если скажу, выйдешь?

— Не слишком ли много хочешь выменять за пару слов?

Сделал вид, что обиделся, зашагал прочь. Минут через пять вернулся.

— Селение Тезекент, зовут человека Камалбек. Он зоотехник.

И удалился с гордым видом. Знай, мол, нашу щедрость.

Я стала строить планы, как попасть в это селение и вызволить Николая. Понимала, что пустые мечтания, но надеялась, что рано или поздно придумаю реальный способ.

Потом в одно прекрасное утро, когда я, заливаясь слезами, крошила лук для господского обеда, примчался Толяха:

— Татьянка, с вещами на выход! Уезжаем.

Я, конечно, не поверила. Толяха рассердился:

— Бросай тесак и ходу! Ну, чего глазами лупаешь? Пока телишься, клетка захлопнется.

Он выхватил у меня нож, схватил за руку, потащил из кухни.

— Танька, на свободу едем! — тараторил на ходу, почти на бегу. — Не врубаешься? Я тоже вначале не въехал. С утра стоял на разгрузке печи. Минут двадцать назад подвалил Маяк: «Толяха, тебя начальство к себе требует». — «За коим?» — «А пес знает. Иду мимо конторы, стоят Гамбат, Казибег с каким-то ментом, и с ними еще один мужик. Дагестанец. Этот мужик зовет: «Иди сюда». — Ну, я подошел, он спрашивает: «Анатолий Вяхирев у вас работает?» — Я без понятия, что это про тебя. Говорю: «Нет здесь такого». — Казибег подтверждает: «Я же вам говорил, это ошибка какая-то. В другом месте ищите». — Мужик достает телефон, тыкает пальцами, потом мне показывает. А на телефоне твоя фотка. Я сдуру и ляпнул: «Это ж не Вяхирев, это Толяха. А Вяхирева у нас нет». — Не вкурил, что надо бы промолчать. Мужик приказывает: «Веди его сюда». — А мне что делать, раз приказывают?.. В общем, пипец тебе, Толяха. Ты чего там в бегах сотворил, раз тебя ищут?» Вот идиот! Но Маяк есть Маяк. У меня кишка выпала: ну все, мне хана. Засекли меня, пока бегал, и нашли крайнего. Хотят какой-то свой косяк или висяк — не знаю, что там у них — на меня повесить. И не спрятаться ведь, не сбежать. Представляешь, да? Поплелся как на казнь. Здесь, конечно, несладко, но по-любому лучше, чем в тюрьме. Подошел. Мужик с ходу мне в лоб: «Анатолий Михайлович, брат вас разыскивает». Я в шоке. Короче, я когда в бега уходил, мне все же удалось звякнуть брательнику — где я и что. И он, короче, нашел одну контору, типа волонтеров...

— Что за волонтеры?

— Ну, обычные... Не знаешь, что ли? Я название не запомнил. Но в общем суть в том, что они людей, вроде нас, из рабства освобождают. И этот мужик из Махачкалы специально приехал, чтобы меня увезти. Казибег и Гамбатом, конечно, на дыбы встали. «Это беспредел!» — «Какое имеешь право?! Не отпустим...» Ну и пошли танки, а за ними пехота. Махмуд, охранник, подскочил. Орут, машут кулаками. Дело к драке идет. Я смекнул: если придется с боем отходить, надо за тобой сбегать, пока не поздно. Потом ведь вернуться не получится. Крикнул этому мужику: «Подождите, я сейчас!» — и за тобой...

Я не знала, что и думать. Помнила, как закончился прошлый прорыв Толяхи на волю. Мне вовсе не улыбалось, чтоб меня приволокли назад избитую, а о том, что может еще произойти, даже и подумать было страшно... Но времени на размышления не осталось — мы подходили к конторе, около которой — это было понятно даже издали — назревала большая драка.

С одной стороны, справа стояли Казибег и Гамбат, а напротив, метрах в двух от них, — толстый грузный милиционер в форме и смуглый горбоносый парень среднего роста. С первого же взгляда по лицу и осанке я распознала в нем Овна. Огненная стихия. Твердая воля, энергичный, дружелюбный. Прирожденный борец с несправедливостью. Чуть подальше, у ворот, стояла большая черная иномарка.

Милиционер держался невозмутимо. Как я поняла, свою задачу в спасательной экспедиции он понимал просто: присутствую затем, чтобы вы могли пугать мной нехороших людей, а сам я самостоятельно никого пугать не намерен.

Между горбоносым бойцом с несправедливостью и моими начальниками как бы лежала полоса отчуждения метра в два шириной, которую обе стороны не хотели — или не решались — пересекать. Пока. Разговор шел на повышенных тонах. Говорили громко, агрессивно и все разом.

Увидев меня, замолчали. Казибег заорал:

— Ты зачем пришла?! Иди назад!

Он шагнул было в нашу сторону, однако Толяха быстро оттащил меня за спину толстого милиционера. Тот никак не отреагировал. Горбоносый борец на всякий случай предупредил противников:

— За нападение на представителя полиции — срок от пяти до десяти лет.

Представитель полиции даже не пошевелился.

Казибега можно было не пугать. Уверена, не будь рядом Гамбата, он даже отдал бы документы, хотя ему страсть как не хотелось отпускать — он до сих пор надеялся заполучить меня в любовницы или в жены.

Иное дело Гамбат. Этот психопат мог сотворить все что угодно. Что-нибудь дикое и страшное. Для него мой отъезд оборачивался катастрофой. И он пойдет на все, лишь бы удержать. Он стоял бледный как смерть, и как никогда казалось, что его лицо полностью лишено мышц, а кожа натянута на голый череп, обрисовывая все костные впадины и выступы.

А еще я увидела, что из глубины заводского двора, на подмогу — не нам с Толяхой, конечно, — бегут со стороны печи два технаря, Мукадис и Исуб, которым я про себя дала прозвища Мулинекс и Контролер.

Тот, что моложе, Мулинекс, за обедом действовал безостановочно работающими челюстями как электрический комбайн с производительностью большая миска еды в минуту. Вкус продукта его, похоже, не заботил.

Контролер был недоволен всем, что я готовила. «Пересолено». «Соли мало».

«Пресно». «Слишком перца много». Его привередливость не имела ничего общего со вкусовыми предпочтениями, а объяснялась просто: до меня вместо пропавшей Ларисы временно работала его жена Азарат, так что Контролер считал, что я подло влезла на ее место. Кстати, и я до поры до времени удивлялась, зачем заводскому начальству понадобилась приезжая повариха, если имелась местная.

Подбежав, Контролер закричал, грозя мне какой-то железкой:

— Убирайся! Ты здесь не нужна.

Не разобрался с налету в сути конфликта. Гамбат бросил ему что-то резкое на своем языке. Контролер запнулся, замолчал, однако продолжал размахивать железкой, всячески показывая, что придает угрозам значение, противоположное прежнему. Потом он как-то исхитрился, обогнул милиционера, схватил меня за руку и потянул к начальству. Хорошо, Толяха не растерялся. Меня выручил, а Контролера отшвырнул в сторону. Тот даже железку уронил. Поднимать не стал, кинулся на Толяху. Но Толя — молодец, в драку не ввязался. Нельзя было драться в такой ситуации. Он толкнул меня под прикрытие милиционера и сам туда юркнул. Пришлось Контролеру отступить.

Их было больше, но уж очень грозен был милиционер, несмотря на безучастность. Битва отдыхала как пахарь.

— Понемногу отходим к тачке, — негромко скомандовал наш предводитель.

В этот момент Гамбат с каким-то диким воем заскочил в свой вагончик. Я с ужасом вспомнила скрещенные сабли на стене. Он выбежал назад с обнаженным клинком в руке почти мгновенно.

Попятился даже милиционер.

— Бегите! — крикнул наш предводитель.

Мы шарахнулись к машине. «Не убегу. Догонит», — успела я подумать.

Убежала. Дернула ручку на дверце машины, кое-как забралась на заднее сидение и только тогда осознала, что не слышала больше дикого воя. Обернулась. Гамбат, лежа в пыли лицом вниз, бился в припадке. В метре перед ним валялась сабля.

Язык себе откусит или задохнется. Внутри у меня все дрожало, ноги были как ватные, однако я заставила себя выйти наружу.

— Куда ты, дура! — Толяха выкатился следом и дернул назад.

Горбоносый предводитель уже заводил двигатель. Милиционер с достоинством устраивался с ним рядом. Я подчинилась. Толяха втащил меня в машину.

Сквозь окно с опущенным стеклом я видела, что Казибег и прочие наблюдают за нашим бегством, не пытаясь ни помешать нам, ни оказать Гамбату первую помощь.

Казибег смотрел на меня с укором, будто говорил: «Ты все-таки разбила мне сердце...»

Я мысленно ответила: «Срастется, это не смертельно».

Он в общем хороший человек. Несчастный, конечно. Тоже, как и мы, невольник. Работа, начальство, Гамбат, семья. Вынужден делать то, чего стыдится. Я мысленно сказала: «Прощай, Казибег. Как знать... может, в другой жизни...»

Машина выехала за ворота. В открытые окна ворвался горячий ветер, зашуршал в ушах. Воздух свободы полон запахов, густых, как в магазинчике, где торгуют индийскими благовониями. Только был он не сладок, а горек.

Мой горбоносый спаситель сказал, не оборачиваясь:

— Ну все, прорвались! Кстати, меня Тамерланом зовут...

В продолговатом зеркальце над ветровым стеклом я видела его глаза. Он

внимательно следил за дорогой, но сквозь сосредоточенность явственно сквозили торжество и гордость. Как же — Овен! Победитель.

— Теперь надо когти рвать отсюда как можно скорее.

Меня так и ударило в сердце.

— А Николай?! Как же Николай?!

Тамерлан в досаде ударил ладонью по рулевому колесу:

— Чего ты раньше молчала? Кто такой? Где он? Как мы теперь туда вернемся?!

В зеркальце я видела, что торжествующее выражение его глаз сменилось раздражением.

— Он не на заводе! — закричала я. — Его в горы увезли.

— Далеко?

— Не знаю. Тезекент называется это место. Поселок или аул.

— Товарищ капитан, посмотрите по карте, — попросил Тамерлан.

Милиционер недовольно хмыкнул, но открыл бардачок, достал карту, развернул.

— Километров сто пятьдесят.

— Далеко, — сказал Тамерлан. — Сейчас не получится.

Еще час назад Николая отделяло от меня космическое пространство, сотни световых лет. И теперь, когда я вырвалась на волю, полторы сотни километров казались мне исчезающе малой дистанцией. Крохотным промежутком. Я не могла уехать без него, когда он был так близко.

— В следующий раз, — продолжал Тамерлан. — Приеду специально за ним... Может, ребята из других городов, из Москвы подтянутся. Командой легче работать.

Но кто знает, что может произойти до следующего раза. Когда он выдастся, этот следующий раз. Да и состоится ли вообще?

Я сказала:

— Остановите.

— Татьянка, ты чего? — встрепенулся Толяха.

— Остановите. Я без Николая не поеду.

Машина заскользила юзом по дороге, скребя шинами и волоча за собой пыльный шлейф. Встала как вкопанная. Горячий ветер, бивший в лицо, сник и исчез, как и не бывало его. Стало тихо.

— И чего, назад пойдешь? — спросил Толяха. — Поехали, Тамерлан. Не слушай ее, у бабы шок от радости... Временная утрата разума. При своевременном лечении может восстановиться. Но без гарантии...

Глаза Тамерлана в зеркальце внимательно меня изучали.

— Мы насильно никого не увозим. — Он забрал у милиционера карту и протянул мне через спинку сиденья: — Смотри, мы вот здесь... А Тезекент совсем в другой стороне, не в той, что нам нужна...

— Слышь, Тамерлан, а может, Танюха права, — сказал Толяха, заглядывая в карту, развернутую у меня на коленях. — Сейчас выедем на большак, и если свернем направо, то придется ехать через поселок, а туда уже позвонили с завода. Они все оттуда, у них там завязки и главное — менты. Я знаю, был в бегах, на своей шкуре и ребрах испробовал. Тормознут нас непременно.

— Бегал ты беспаспортный, — сказал Тамерлан, — а с нами капитан, из столицы... Прав я, товарищ капитан?

Капитан только хмыкнул. Правда, не очень уверенно.

— А им по барабану, что из столицы. Они на своей земле, — сказал Толяха. — Нет, налево надо ехать, кружным путем. Вот так...

Тамерлан перегнулся назад через спинку сиденья, а Толяха повел пальцем по карте:

— Здесь сворачиваем на запад, сюда, и тогда выйдет, что Тезекент, хотя не по пути, но ехать туда недалеко...

Тамерлан посмотрел на меня:

— Знаешь, у кого держат?

— У Камалбека, зоотехника. Я его видела, узнаю.

Он отвернулся. Понять по глазам в зеркальце, что он решил, было невозможно. Машина тронулась, ветер вновь зашуршал в ушах.

Нашли и поселок, и дом без труда. Хозяин вышел к воротам. Тот самый, что покупал кирпич. Камалбек.

— Ас салам алейкум.

— Ва алейкум...

Мужчины обменялись рукопожатиями с подчеркнутой уважительностью. В дом однако хозяин не пригласил.

— Мы хотим Николая повидать. Позовите, пожалуйста, — сказал Тамерлан.

— Ошиблись. У нас никакого Николая нет.

— Человек, который у вас работает...

— Вы, наверное, путаете что-нибудь. Я работаю, жена работает, сын, зять. Больше никто. А кто вас вообще сказал, что у нас кто-то есть?

Я не сдержалась:

— Послушайте, я лично, своими глазами видела, как вы его увозили с кирпичного завода.

Он даже не посмотрел в мою сторону.

— Может, кто-нибудь на меня зло держит, поэтому так вам сказал. Но это неправда.

Уперся, как осел.

Нет, надо иметь железные нервы, такие, как у Тамерлана, чтобы вести свою линию спокойно, доброжелательно, без намека на раздражение:

— Свидетели есть. Вот девушка видела.

Хозяин завел было свою шарманку, но внезапно вмешался полицейский капитан. Надоело, наверное, зря время терять. Как убеждал он хозяина, какими карами грозил, я понять не могла. Говорили по-своему. Потом почему-то перешли на русский.

— В горах он, баранов пасет.

— Далеко?

— Не очень.

— Надо позвать.

Хозяин пошел по новому кругу:

— Далеко идти. Времени нет.

— Мальчик пусть сбегает, — сказал Тамерлан.

— Ему уроки надо делать.

— Какие летом уроки?

— Учителя очень много задали.

В итоге капитан опять зашевелился, подал признаки жизни, и испуганный хозяин неохотно послал мальчишку за Николаем. Пришлось ему все же пригласить нас в дом. Оставить приезжих ждать в машине было, по-видимому, запредельным нарушением традиции и правил приличия. Я, конечно, пошла вместе с мальчишкой. Хотела как можно скорее увидеть Николая.

Я была так взволнована, что смутно различала сказочную красоту окружающих гор. Как бы боковым зрением. Это был прекрасный, но чужой мне мир, в который меня случайно занесло ветром судьбы и который я скоро покину, так и не разглядев по-настоящему. А настоящим было только одно — еще немного, еще несколько часов или минут, и я увезу Николая в настоящую жизнь.

Мальчик шел впереди.

— Он муж твой?

— Нет.

— А-а-а, брат, наверное. Вы все родичи, да? Хорошо, что не муж. У нас пословица есть очень старая: «Сын раба не имеет звезды». У тебя дети есть?

— Что это за звезда? — спросила я, чтобы не отвечать про детей.

— Не знаешь, да? Это у нас так говорят, что у каждого человека есть на небе... не умею сказать... здесь у человека душа, а там — звезда.

— Двойник что ли?

— Не знаю. Наверное.

Очень красивое поверье. Вот только насчет раба мне не понравилось.

— И что же, у Николая, к которому мы идем, нет звезды?

— Э, он совсем ленивый. Ничего делать не хочет. Даже мне приходится его воспитывать...

— Книжки ему читаешь?

— Бью немного.

Я ужаснулась. Представить, как этот живой, симпатичный парнишка избивает Николая, было невыносимо.

— Но он же человек! Взрослый, намного старше тебя!

— Он работать должен. Как объяснить, если не понимает?

Мне расхотелось разговаривать с ним, и я перестала слушать и отвечать, чего он, кажется, не заметил, болтая без умолку невесть о чем.

Николай лежал под кустом. Овцы паслись поодаль.

— Я же говорил, ленивый, — сказал мальчик и крикнул: — Эй!

Николай как-то неуклюже завозился, вставая.

— Почему спишь? — крикнул мальчишка, специально для меня, как я почувствовала. Похвалялся хозяйственностью. — Почему плохо работаешь?

— Только не бей! — воскликнула я.

Николай встал. За это время он оброс огромной всклокоченной бородой. Похудел. Вид был еще более неухоженный, чем прежде. Трудно было узнать, так страшно он изменился... Я вгляделась. Это вообще был не он! Какой-то дикого вида мужик, совсем не похожий на Николая.

— Ты кто такой?

— Я? Ну, это... баранов пасу.

— Вижу, что пасешь. Николай где?

— Николай? Нет его тут.

— Это я тоже вижу. Где он?

Неникола задумался.

— Ну, это... говорю же, нет его. Тут только я...

Я была готова растерзать его за то, что он не Николай. И напустилась на мальчишку:

— Ты правильно привел? Может, есть какое-нибудь другое место?

— Смотри, наши бараны, да? Видишь. Других у нас нет. Здесь пасем.

Я набросилась на Неникола:

— Да как же?! Хозяин сказал, что он здесь.

— Нет, никто не приходил. Я тут все время, не было никого.

Я была настолько ошеломлена, что, наверное, долго бродила бы с Неникола по кольцу идиотских вопросов и идиотских ответов, если б не хозяйский мальчишка.

— Коля, отец приказал, чтобы ты домой шел. С баранами я останусь.

Неникола подумал и сказал:

— Ладно.

Мне осталось только вслед за его спиной отправиться в обратную дорогу. Идти под уклон было не то, что трудно, но как-то непривычно. Будто постоянно натыкаться на собственные ноги. Неникола неспешно брел впереди.

— Эй, как там тебя...

— Николай, — буркнул Неникола. — Прежде Святославом звали. Хозяин говорит, трудное имя, сложно запомнить. «Зовите, — говорю, — Славиком». — «Нет, — говорит, — мы к Николаю привыкли. Зачем менять?».

— Давно ты у него?

— Не считал. Две недели или месяц. Не знаю.

— А прежде?

— У Ибрагима работал.

— А до того?

— У Исмаила. Всех не пересчитать.

— Я про то, чем на свободе занимался.

— Бомжевал.

Я все не решалась задать главный вопрос — боялась услышать страшный ответ. Но наконец собралась с силами.

— Святослав... — начала и оборвала себя, уж слишком, пожалуй, величественное обращение. — Славик, ты встречал того Николая, ну что до тебя... работал?

— Нет, меня привезли, у них никого не было.

— Но хоть слышал что-нибудь?

— Они со мной бесед не ведут.

Тащился он, как на похороны.

— О, господи! А побыстрей идти можешь? Остановись же! Пропусти!

Я протиснулась мимо Славика на узкой тропе, побежала вниз, рискуя переломать ноги. Внизу, в поселке, односельчане с большим, должно быть, любопытством наблюдали, как незнакомая русская женщина, запыхавшись, торопится к дому Камалбека. А сам он не мог понять причину моего возмущения.

— Откуда я знал, какой Николай нужен? Вы фотографию не показывали. Николаев много.

— Где наш? Тот, которого ищем.

— А-а-а-а, вы про того... Тот уехал. Ему в нашем доме не понравилось. «Никаких, — говорит, — удобств нет. Туалет во дворе, водопровода нет. Я не привык». Уехал.

Врал на голубом глазу.

— И вы отпустили?

— Конечно, Зачем держать, если не нравится.

— Ну и куда же он отправился?

— Не знаю. С каким-то человеком поехал.

— Так вы продали его!

— Нет, зачем? Сам захотел с ним уехать. Кто такой, не знаю. Из соседнего района.

Я была твердо уверена, что он отлично знаком с покупателем Николая. Взмолилась:

— Тамерлан!

Тот пожал плечами: силком не заставишь говорить правду. Я буквально ощущала, как Камалбек облегченно вздохнул. Пронесло. В это время ворота открылись, вошел Славик. Остановился, не осмеливаясь подойти. Хозяин замахал на него руками:

— Уходи, уходи!

Славик затоптался на месте, но Тамерлан сказал:

— Подождите, пожалуйста, уважаемый, — и пошел к нему.

Камалбек шагнул было вслед, однако Тамерлан остановил:

— Извините, хочу с ним один на один поговорить.

— Право какое имеете? Здесь мой дом.

— С товарищем капитаном поговорите, он вам объяснит.

Товарищ капитан услышал, что речь о нем, подкрутил усы. Камалбек вынужден был подчиниться. Тамерлан говорил со Славиком долго, наконец вернулся и объявил:

— С нами поедет.

— Как заберете? Это беспредел, я за него деньги заплатил. Какое право имеете?

Назревала очередная схватка. Но не драка меня пугала. Я боялась, что уеду ни с чем.

— А как же Николай?!

— Потом, Таня, потом!

Тамерлан под прикрытием капитана отступил к воротам, схватил Славика на руку, потащил за собой. На его счастье в доме, по всей видимости, кроме хозяина не оказалось мужчин. Соседи не решились вмешаться. Трое малых детей замерли в стороне, глазея на свару, затеянную взрослыми, из дома выскочила старуха и с проклятиями бросилась на помощь Камалбеку. Но Тамерлан со Славиком были уже на улице. Я не стала ждать, пока бабка вцепится в меня, поспешила за ними. Товарищ капитан прикрывал наше отступление.

— Садись, Таня! — крикнул Тамерлан.

Славика он запихивал на заднее сиденье. Я села рядом с человеком, незаконно занявшим место Николая. Как ни странно, он не смердел. От Славика пахло травой, соломой, землей, навозом, овечьим духом...

Капитан с величайшей неторопливостью взгромоздился на свое место. Тронулись. Бабка застучала кулаком по дверце, но машина уже набирала скорость. Односельчане Камалбека наблюдали от своих ворот за нашим отъездом.

— Легко справились. Бывало и похуже, намного похуже, — сказал Тамерлан.

— Мы не справились.

— Не всегда удается сразу, с первого захода, — ответил Тамерлан. — Тем более, что ситуация очень неординарная, очень неопределенная. Может быть, твой друг действительно уехал с каким-то человеком из соседнего района или, что вернее, его продали. А возможно... — он замолчал.

— Заболел и умер, — закончила я. — Нет, я чувствую, что он жив.

На самом деле я ничего не чувствовала, кроме печали и опустошенности, но страшно боялась, как бы Тамерлан не решил, что искать Николая нет смысла.

— Он не продал, — сказал внезапно Славик. — Ахмаду, свояку, отдал на время. Ахмад дом строит, руки нужны.

— Почему раньше не сказал?

— Не знал, зачем ты ищешь? А если милиция или кто?

— Тамерлан, ты слышишь?! — воскликнула я.

Он отозвался:

— Почему раньше не сказал?

Славик вяло возмутился:

— А я знал, зачем она спрашивала? Пришла, требует... А если из милиции или еще откуда...

Я пихнула его локтем в бок:

— Хватит оправдываться. Тамерлан, надо вернуться..

— Молодец, — одобрил Тамерлан. — Хорошо придумала. Разворошили осиное гнездо, самое время в него сунуться.

— Надо же что-то делать!

— Надо, — согласился Тамерлан, — Выждать, пока успокоятся. Позже вернусь, расспрошу людей, где этот свояк живет, съезжу к нему.. Таня, наша работа терпения требует.

— Ты не представляешь, каково ему там.

— Представляю.

Я не видела глаз Тамерлана, сидела прямо за его спиной. Видеть мог бы Славик, помещавшийся посредине между мной и Толяхой, однако окружающее его мало интересовало.

— Татьяна, чего мрачная? Свобода! — Толяха наклонился вперед, чтобы борода Славика не мешала зрительному контакту. Сам он сиял и бурлил, как новенький электрический чайник.

Я не ответила, а то, наверное, ляпнула бы какую-нибудь грубость. Ужасно раздражает и злит, когда кто-то ликует по той же самой причине, от которой тебя одолевает чувство безысходности. Меня переполняло чувство вины. К тому же, разве это свобода, когда ты заперта в железной коробке на колесах. И сама ведь залезла в коробку. Дрогнула, побежала, спряталась, когда старуха попыталась запустить в меня когти. И везут меня помимо моей воли...

Эта мысль принесла мне облегчение. Ведь и впрямь, если помимо воли, то и вины нет. Тамерлан заставил, а он лучше знает, как надо. А главное, он обещал. Он вернется и выручит Николая. Отпустило!

— Толик, — спросила я неуверенно, — неужели это правда? Неужели мы на свободе?

— Танюха, мы прорвались!

Даже Славик завозился, заерзал и этим принял участие в торжестве.

— Дошло наконец, — сказал Тамерлан, не оборачиваясь. — Так бывает, не сразу люди оттаивают.

Я высунула руку в окно, ловя горячий ветер. Слабая иллюзия полета. Пусть даже без отрыва от земли. Пока и этому была рада.

На обочине промелькнул знак: «Река Койсу».

Машина проскочила по мосту, свернула влево и помчалась по асфальтированному шоссе.

— Все, — сказал Тамерлан, — выбрались. Теперь затопим без остановки до самой столицы.

— Далеко? — спросил Толяха.

— Часов семь. Большой крюк делаем.

Во мне будто что-то хрустнуло и отломилось. Острое чувство непоправимости сжало сердце.

— Тамерлан, останови!

— Что случилось?

— Ничего. Я дальше не поеду.

Если уеду, не вернусь никогда. И до смерти буду таскать за собой призрак Николая. Воспоминание о нем, брошенном и погибшем, будет медленно разлагаться и отравлять каждую минуту жизни трупным ядом вины. Сначала вытолкала его в горы, затем бросила на погибель. И никакие оправдания не смогут заглушить дух разложения, проникающий из подвалов подсознания, как ни замазывай щели.

— Танька, не дури, — сказал Толяха. — Любовь, она, конечно, любовью, но разум-то терять не надо.

Дело не в разуме. Давно поняла, что любовь — это железная цепь, которой добровольно приковываешь себя к человеку, которого выбрала даже не ты сама, а судьба. Любимых, как и родителей, не выбирают. Выбирает случайность, цепь причин и следствий. И эта цепь натянулась до предела. Не пускает.

— Это у тебя отходняк, — сказал Тамерлан. — Неадекватная реакция.

— Останови!

Железная коробка встала.

— Остановил. Что дальше?

— Буду искать Николая. Ждать, пока не вернется.

Толяха схватил задремавшего Славика за плечо и яростно затряс.

— Где?! Где ты собираешься ждать?

— На заводе. Где же еще?

Еще утром, несколько часов назад я представить не могла, что ненавистный завод окажется единственным местом на земле, который может стать для меня домом.

— Туда люди со всей округи за кирпичом приезжают. Буду всех расспрашивать, рано или поздно встретится человек, который что-нибудь о нем знает или слышал.

Тамерлан сказал спокойно:

— Очень плохая идея. Не так надо действовать. Я тебя на автобус посажу. Доедешь до Москвы, восстановишь паспорт. Поднимешь шум, Фейсбук, Одноклассники, Твиттер... Наши ребята помогут. Шанс есть, что сумеешь вытащить. И я начну искать.

— Нет. Мне надо быть рядом.

— Не хочешь в Москву, выбери город где-нибудь поблизости.

— Нет.

Пока Николай ходит в рабах, я не могу наслаждаться даже пятью минутами свободы. По вечерам в конце рабочего дня буду безвылазно сидеть в своей комнате, потому что могу пойти или поехать куда угодно — надо лишь выбрать, а у Николая нет никакого выбора, он прикован ко двору своего хозяина. Каждый раз, ложась в постель, буду представлять Николая, валяющегося в сарае на соломе, а садясь за стол со свежей скатертью, на которой расставлены тарелки, вилки и ложки, корзинка для хлеба, вазочка с цветком, — воображать, как Николай сидит на земле и хлебает чечевичную похлебку прямо из алюминиевой миски.

Я открыла дверцу, спрыгнула на землю и пошла в обратном направлении. Дорога в сторону завода шла под уклон. Хоть что-нибудь хорошее в качестве бонуса ко всему плохому. Я двинулась в путь, ощущая себя тем самым бесхозным барашком, о котором говорил Николай.

Черная железная коробка догнала задним ходом. Пятилась, держась со мной наравне.

— Садись, — сказал Тамерлан, приоткрыв дверцу.

— Я с вами не поеду.

— Садись. На завод повезу.

Я распахнула дверцу, пихнула Славика, который успел уже распространиться вширь, и села.

— В конце концов, что такое лишние километры? — сказал Тамерлан, словно доказывая себе, что не совершает ничего неразумного. — Пустяк. Доедем как-нибудь. Мужчина не может бросить женщину на дороге.

— Особенно такую бешеную, — добавил Толяха.

— Странно немного, — сказал, помолчав, Тамерлан. — Всегда возил оттуда, в первый раз везу туда.

Капитан не сказал ничего, но его спина выражала неодобрение всем сразу.

Ехали молча.

— Да, чудно как-то, — задумчиво сказал наконец Толяха. — Про завод не говорю. Он, вроде, каким-то бандюганам принадлежит. А вот Николай, Славик... По рукам ходили. Здесь что, все поголовно рабов держат?

— Нет, конечно, — сказал Тамерлан. — Местные люди этого не одобряют. Хотя, как ты видел, некоторым это неодобрение до лампочки. А мужикам просто не повезло, не в ту струю попали...

Я от всей души надеялась, что Тамерлан прав. Если невольники редки в здешних краях, то шанс, что кто-то запомнил Николая, повышается. Уточнять не стала, а они молчали. Так в молчании подъехали к вывеске «Кирпич». Я сказала:

— Здесь останови.

— Довезу до ворот, — сказал Тамерлан.

— Не надо. Я сама.

Хотела растянуть последний час на воле, остаться наедине с собой и ощутить на прощание горячий вольный ветер, летящий по степи и бьющий в лицо. Жалкая замена полету.

Машина остановилась. Я вышла на дорогу, будто в пропасть бросилась. Толяха и Тамерлан остались внутри. Оба молчали. И я не попрощалась. Ни руки, ни слова...

Не оглянувшись, дошла до вывески и свернула вправо, на дорогу, ведущую к заводу.

Наталья Лясковская

С нетленного листа

Украина

Ангел Весенний
в берёзовом образе —
белый, а крылья зелёные,
мне во спасенье
по щиколки в*о* грязи
бьётся о ветер поклонами.
Что ж двуязычно
клянёшь, мол:
«Гулёна ты!» —
душу мою раздвоенную?
Корпус больничный,
заросший паслёнами,
тень к тебе тянет палёную.
Вот где он, русский,
под астмовой пыткою
в кровь проникал
с химспасением,
вот где в нагрузку
раскраской-открыткою —
небо в окошке весеннее!
Школа тогда ещё
не обандерилась,
русская наша четвёртая,
братьям-товарищам
в лучшее верилось...
Нынче ж — все укры упёртые!
Ой, мамо-мова,
ох, матушка-реченька,
обе вы любы мне, кровные!
Ангел суровый
далёко-далеченько
крылья расправил Покровные...

Лясковская Наталья Викторовна — поэт, переводчик, прозаик. Родилась на Украине, в г. Умань. В 1982 году окончила Литинститут им.А.М.Горького. Работает в пресс-службе Международного союза православных женщин. Автор нескольких книг стихов и прозы для взрослых и детей, в том числе «Сказки о варежках и бабушках» (М.,2014), «Сильный Ангел» (Новосибирск, 2014),«Матрона Московская» (М.,2016) и др. Победитель всероссийского конкурса им.Павла Беспощадного «Донбасс никто не ставил на колени» (2016). Живет в Москве.

* * *

отличаю белое от чёрного отличаю лебедя от ворона
да сужу частенько сгоряча
в человеке тьмы и света поровну если я встаю на чью-то сторону
у кого-то гасится свеча
о своём бы нарыдаться вволюшку да молиться без конца за Колюшку
да беречь запечного сверчка
уж пора бы вроде успокоиться день и ночь передо мною Троица
в самом центре сердца и зрачка
мир исправить скорбная утопия что ж я лезу и ломаю копия
когда след бы слушать зов земли
на пороге смерти и прощания Боже дар смиренного молчания
мне такой безпосульной пошли

* * *

прочитай по губам те слова что не скажет никто никому никогда
ведь тебе это чтенье родной не составит большого труда
прочитай моё горе и трепет молитв по ночам
и ответы врачам
только ты так умеешь наученный ветром российских равнин
бородач сероглазый тверич сын крестьянина христианин
сам не раз рассыпавший страданий калёную соль
прочитай мою боль
кто тебя мне послал знал в целительстве древнем и меру и толк
тёмной кровью кагора молчаньем лиловым букетиком смолк
прочитай капилляры на кончиках пальцев руки
слов и снов завитки
прочитай и забудь на двоих нам дыханье одно не дано
лишь на миг остановят объятия времени веретено
всё равно скоро жизнь в ключ подземный уйдёт пресечась
может быть
вот сейчас

* * *

оглянулась на горестный дом пронизало морозом и солью
пощади меня Господи что ли ведь уже доживаю с трудом
ни бежать ни прикрыться невмочь ветер горя летит по равнине
до конца позабочусь о сыне но плохая наверное дочь
лишь молиться за маму могу не пошлешь ведь заботу в посылке
там она на другом берегу словно девочка в белой косынке
всю-то жизнь против мира одна как травинка что бури сильнее
берегла б я её как стена
а теперь защитить не сумею

* * *

когда ещё учились вере мы по методу апостола фомы
и прищемляли пальцы райской дверью
ходили в море галилейском стаи рыб хватило их эргической икры
на долю чудью и на сытость мерью
цвели сады в долине речки инд скрипело время намотав на винт
гетерогенный спорофит столетий
а он восьмой апостол шёл туда где лотос рдел в воде как вереда
чтоб слово Божие нести индийским детям
он возвратиться был быть может рад под серебристый сумрак пенеад
родного города где чешуи по крыши
ходить на лов пока тверда рука и наслаждаться долей рыбака
не помышляя ни о чём что выше
но кто перстами осязал Христа тот начал жизнь с нетленного листа
тому покорны люди птицы звери
пал жребий на цветастый индостан парфян бактрийцев персов и гиркан
фома неверный убедил поверить
мне близок он я близнецом была сестрою той что рано умерла
он тосковал по ней и хмурил брови
и становился резок нелюдим о как мне жаль тебя фома дидим
мой древний сродник по христовой крови
ты принял муки ну и я смогу хоть на руси хоть на малабрском берегу
копье пронзит ли грудь иль острый стилос
я упаду зажав свой крыж в горсти воскликнув только Господи прости
за то что раз в Тебе я усомнилась

* * *

как случилось не знаю сама
не хотела пришло завертело
обновилось желанием тело
вопреки отрезвленью ума

не пытай словно рыба нема
удивлённо себя озираю
не в раю но в районе подрая
между мемами солнце и тьма

ах запретные яблоки слов
и последняя нежность друг к другу
птицы не улетевшие к югу
вот петля вот и сам птицелов

я себя утешаю сама
что так быстро пройдёт эта малость
ну подумай всего-то осталось
бабье лето и бабья зима

Александр Блинов

Мандариновая птица

Итальянские дневники и сказки

Моей собаке — ушастой суке-дратхаару Жаре Марковне Гоцман, которая никогда не видела Италии, посвящается...

Отпусти меня, Италия

— Отпусти меня, Италия, — шепчу я распухшим от утреннего укуса осы ртом. — Отпусти, Христа ради. Изнемог.

Хватил спросонья кусок ароматного бри, а она меня, сука, цап за губу. Раздуло реально. Теперь похож на светских львиц с наколотыми ботоксом, вывороченными рыбьими губами... Сижу на набережной Йопполо в «Gelateria Artigiana». Пью свой четвертый за день капучино с *корнетто*. Дураков пить днем капучино в Италии кроме меня нет. «*Капучи*», — поправляет меня набриолиненный хлыщ Фабио в отчаянно розовом поло. Это Калабрия. Пусть «*капучи*». Сдохну, но выпью! Завтра уезжаю.

Я, правда, изнемог, моя *синьора* Италия. Как верный обессиленный любовник. Дай хоть продых. Уже три недели ты томишь меня своими прелестями. Серпантинами над пропастями и долинами и обязательными *«аттенционэ, кадута масси»*. Боже, это ж не просто камни могут на башку упасть... Это музыка сфер...

Кажется — невозможно красивее, но, *скузи, синьор,* за поворотом еще сказочней. Даже дурно становится. И так каждый день: за поворотом поворот...

Это когда словно сошедшая с рафаэлевского полотна курчавая смешливая богиня навстречу... а зашел за угол — там десять на тебя идут, еще повернул — толпа. И все на тебя смотрят и глаз стыдливо не отводят. Истомился. Здесь девушки вообще глаз не отводят: где хваленое католическое смирение?

Набережная Йопполо.

Бар Мануэле.

Блинов Александр Борисович — прозаик, художник, скульптор, архитектор, дизайнер. Родился в 1955 г. в Москве. Закончил Московский авиационный институт (МАИ) и Академию художеств Штиглица (бывшее ЛВПХУ) в Санкт-Петербурге. Член Союза Художников. Печатался в журналах и на интернетресурсах «Бельские просторы», «Волга-21 век», «Вокзал», «Русское Поле», «Литбук», «Литературра», «Частный корреспондент», «Пампасы». В журнале «Перемены» — свой блог; в журнале «Медведь» — своя колонка. Автор книг «Рассказы толстого мальчика» (М., 2015), «Чистые враки» (М., 2016) и др. Живет в Москве.

Между столиками ходит небольшая черная собака с белой грудкой. Цокает когтями по деревянному настилу. За соседним столиком компания отчаянно режется в карты: орут, размахивают руками и подпрыгивают. С ними моя соседка по дому, красавица Франческа, напротив ее бойфренд Антонио. Истатуированный в жопу, в черной майке-безрукавке (тату скорпиона на запястье) и с обязательным крупным золотым распятием на толстенной цепи. Типичный представитель калабрийской *Ндрангеты*. Наши дешевые братки отдыхают. И еще двое мужчин. Один полный, с дистрофичной детской ручкой. Проигрывает. «Мафия» пригибает его голову и нежно целует в макушку. Подбадривает.

Собака подошла ко мне и ловко и очень изысканно, печально глядя мне в глаза, слизнула со стола *корнетто*: в Италии не зевают.

Еще через столик двое *рагацци* со своими прелестными *рагаццинами*. У обоих черные курчавые волосы напомажены. У одного — хаер. Воротнички приталенных сорочек приподняты: мода. *Рагаццины* слегка пышноваты: провинция. Вьющиеся по плечам кудри, кажется, звенят озорными колечками, как колокола местных соборов к вечерней литургии.

Одна украдкой рассматривает меня... Все, изнемог! *Чао*, Италия!

Три тысячи пятьсот раз я пожелал бог знает кому *бонджорно*!

— *Бонджорно*! — орет мне незнакомец в голубом поло, пролетающий мимо по набережной Йопполо. Толстяк оседлал розовую «Веспу» — и поет!

— *Бонджорно*! — поднимает голову от сочного лопуха и вопит серый осел Чезарио синьора Фредерико из соседнего городка Коккорино.

— *Бонджорно...* — очаровательно улыбается девушка-карабинер, выписывая мне штраф за неправильную парковку.

— *Бонасера, арриведерчи, чао, бонасерата,* — ору я проплывающей за бортом синего парома роскошной сицилийской Мессине. — *Чао!* — огромной золотой Деве Марии на портовом моле. — *Чао! Чао, ча...*

Уже выпито триста двадцать три чашки капучино с корнетто и сто семьдесят — без! От этих чертовых *белла виста,* словно нарисованных на задниках итальянских опер, уже дурно.

— Нет, нет, синьор, посмотрите сюда! — тащит меня к обрыву за рукав неожиданно крепкий старик с тростью. На старике гогеновские широченные брюки толстого сукна, сползающие гармошкой на огромные итальянские ботинки. — *Белло*?!

— Да *белло, белло*! Но сколько можно таращиться на это чертово Тирренское море, вода в котором цвета *viola*, как глаза моей *фиданцаты* (невесты), — кивает мой друг Кармело, директор тюрьмы из городка Розарно, похоже, собравшийся жениться уже в пятый раз, теперь, кажется, на ливийке.

Я таращусь!

Таращусь на эти рафинадные кубы вилл, сбегающие среди пиний и кипарисов по отрогам горы Монтепоро в лазоревую марину городка Йопполо.

На эту дурацкую, словно огромная рыбина, разлегшаяся во весь горизонт, громадину Сицилии с Этной, нагло торчащей сахарной головой в густое, как черничный морс, небо.

На шесть Эоловых островов, с самым ближним, Стромболи, вечно извергающим клубы дыма, пара и сочащуюся в море лаву.

На еле видный за ощетинившимся стрелами подъемных кранов портом Джойа Тауро голубой перевал Аспромонте.

Таращусь...

Все! *Чао*, моя Италия!

Я переполнен твоими прелестями, страстями и роскошью! Все эти дворцы, акрополи, некрополи, виадуки, акведуки, палацины, ламии и трулли, увитые плющом и виноградом в окружении непролазных зарослей кактусов опунций, ягод которых, индейских фиников, напоминающих сразу и клубнику, и ананас, и брюкву, я натрескался до глюков так, что после этого три-четыре косяка марихуаны покажутся детским садом.

Отпусти меня, моя Италия, бога ради отпусти! Я весь покрыт ссадинами и исцарапан, как шелудивый пес. Меня долбило о скалы твое ласковое *маре Тиррено*, кувыркало и волокло по камням любимое греками *маре Ионио*, выбрасывало на изъеденные злыми зимними прибоями острые, как бритва, известняки *Адриатико*. Я в шрамах от жутких ядовитых медуз. Я искусан злющими дикими осами, когда пытался сорвать цитрон в бесхозном саду. Меня так цапнул за палец белый скорпион, когда я спускался в Коккорино за вином в погреб к моему другу, немецкому бюргеру и прохиндею Хельмару, торговцу недвижимостью от Рима до перевала Никотера (*«*дальше нельзя Алехандро, мафия»), что теперь он до кости разр*е*зал мой бедный палец и вот уже с полчаса заливает его шотландским виски. Остатки виски мы допиваем тут же, у огромного, как пещера Али-Бабы, каменного камина под Вагнера и рыдания пьяного фрица.

Отпусти меня, моя Италия. Бога ради отпусти!

И если я хотел просто сфотографировать красивую нигерийскую проститутку на трассе Никотера — Розарно, то это не значит, как объясняет мне, перебирая черные четки из крохотных человеческих черепов, огромный лилово-черный сарацин-сутенер, который появился, как из под земли, на раздолбанном розовом кадиллаке, что я хотел изнасиловать ее, семерых ее детей-малолеток, которые удивительным образом тут же возникли из ниоткуда, и еще, разом, всех дочерей Африки, от острова Лампедуза до Рима: «А платить кто будет? А, синьор?..»

Отпусти, Италия!

Я изнемог, чтобы не быть белой вороной, ходить в этих обтягивающих нежно-лососевого цвета брючках, нежно-розовом поло и голубых штиблетах на босу ногу, как распоследний содомит.

Отпусти меня, я очумел от моего друга англичанина Сальваторе из Йоркшира, наполовину — итальянца, по матери-неаполитанке, наполовину — шотландца, по отцу (адская смесь!), и его брата Ричарда, сетевого маклера и коллекционера древнего китайского фарфора, — чертовых владельцев сети окрестных гостиниц B&B и небольшого казино в Вибо Валентиа. Устал бегать с ними по этажам их огромной виллы, заставленной, как под копир, одинаковой нерасчехленной мебелью, смотреть на огромных экранах, в записи, лучшие матчи между «Челси» и «Арсеналом» и пить неразбавленный виски: «Потому что, Алехандро, отсюда вид лучше, *каписко*!» И потом сидеть внизу, на первом, за стойкой купленного на распродаже в Лондоне старинного паба, привезенного в контейнерах на огромном красном сухогрузе вместе с «этими чертовыми английскими кирпичами» и «этой чертовой английской черепицей» («потому что итальянский, Алехандро, — тычет в меня недокуренной гаваной Сальваторе, — *каписко*, дерьмо...») для виллы из туманного Альбиона в Калабрию, в порт Джойа Тауро, вон, за окнами, и пить адский кофе, в котором стоит ложка, и смотреть по обкоцанному крохотному телеку то же самое, но в черно-белом изображении: «Потому что так лучше, Алехандро, *каписко*!»

Я по-честному отрастил тонкие усики и клиновидную бородку. И что теперь?.. Опасно ездить в метро...

Дай я уеду по-хорошему, моя Италия. Дай отдышусь, отсижусь под своими березками у пруда, выпью с друзьями водки на даче из граненого стакана под шашлык, баньку и Владимира Семеновича... Пересижу месяц-другой и... я тут! Куда я от тебя денусь! Мучь меня, терзай, неж, ласкай, рви на куски, моя нежная, безжалостная навеки Италия. Дай околеть у твоих ног приблудным псом с выпученными от восторга и счастья глазами, с вывалившимся трепещущим языком от ностальгии по салату оливье, селедке под шубой и далекой загадочной неласковой северной родине.

Аминь.

Бичиклетта

Всем известно, что в Италии ангелы по ночам катаются на велосипедах. Тех самых, что люди оставляют на ночь в переулках, на улицах и площадях. На них-то ангелы и колесят, смеясь и напевая, кружат по гулким, пустынным улицам итальянских городков. Впрочем, не досаждая этим их жителям.

Видимо, оттого в Италии велосипеды имеют столь изящную форму: их тонкий металлический каркас ажурен, а узкие шины колес при соприкосновении с мостовыми издают приятный шелестящий звук, как если вдавить левую ножную педаль органа и одновременно нажать фа в нижнем ряду.

А на стыках старых известняковых плит этот шелест переходит в звон. Звон, который можно услышать, когда холодными зимними вечерами ветер раскачивает усыпанные желудями ветви старых каменных дубов в темных аллеях парка калабрийской Vibo Valentia, и тогда замерзшие скукоженные плоды побрякивают изнутри о кожуру, словно бесчисленные серебряные колокольчики.

И люди не удивляются, когда находят свой старенький красный «Gollalti» или белый «Chiso» не у оливы или ограды парка, где его оставляли, а у скамейки перед баром или у фонарного столба.

Но недалеко. Ангелы, хотя и растяпы, но не настолько!

Зато велосипед, на котором ночью поездил ангел, знают все, приносит его владельцу удачу.

А что до замочков, которые навешивают владельцы на свои *бичиклетты*, то это от воришек, а к ангелам они не имеют ровным счетом никакого отношения.

И не тайна, что велосипеды в Италии делаются не только для людей, и проживают они свою жизнь, как и люди, и как и люди, они потом попадают на Небо, а не валяются ненужным ржавым хламом где-нибудь в сарае. По крайней мере, их души. Это все знают.

И там они ездят, весело позванивая старыми звоночками и шурша стертыми шинами, не касаясь душистой райской травы. Естественно, они попадают в рай. А куда еще?

И рядом с какой-нибудь белой изящной «Джульеттой» позванивает синий или красный шустрый «Ромео». А то и два... И даже случаются стычки — все как у людей.

И тогда эту строптивую парочку снова отправляют на Землю, и тут у них, как обычно, рождается целая куча других *бичиклеттиков*: синих, лазоревых, розовых и даже в полоску и крапинку с глазастыми фарами, с нежными розовыми колесиками и еще не окрепшими молочными спицами.

Но это дело обычное, и мало кого можно этим удивить.

Чао, Нонна Чика (Пока, Бабушка Чика)

Нонна Чика плыла по небу, тихо покачиваясь.

Она улыбалась. Это было как в детстве, когда девочкой она со своим отцом, синьором Франческо, выходила в море.

Обычно синий баркас «Святая Мария», чихая старым мотором, отчаливал от причала у бара «Lunge del Mare» и, выйдя из бухты, шел сначала вдоль берега в сторону нормандской крепости и потом, встав на волну, задирал облезший нос в сторону Сицилии. Баркас переваливался с волны на волну, то и дело черпая бортами. И тогда Чика выливала воду большим оловянным ковшом обратно в море. Свесившись за борт, она следила, как очумелые рыбешки, выплеснутые с водой, рассыпаются, сверкая чешуйками, словно подкинутая в воздух горсть монеток. И вдруг заливалась смехом от того абсолютного счастья, которое и бывает у людей только в детстве.

И нонна Чика засмеялась...

А потом она лежала на корме, закинув руки за голову на теплых сетях. Сети пахли рыбой и морем. Старый баркас скрипел. Корма с Чикой то подлетала в небо, к чайкам, то падала в волны: вверх — вниз, вверх — вниз... Чика пела...

И нонна Чика запела...

Гроб медленно покачивался в струях жаркого сирокко в такт ударам колокола с колокольни Святого Франциска: «Нонна, Нонна, Нонна», — причитал колокол глухим, медным голосом. Такт то и дело сбивался. «Стареет синьор Чезарио, мыслимо ли по такой жаре лазать на этакую верхотуру, вот бедный», — думала Чика про звонаря, наблюдая, как гроб нарезает круги над ее Joppolo, словно ястреб, набирая высоту.

Сначала было страшно, и она, боясь пошевелиться, лежала как мертвая. Но постепенно страх проходил. Она обвыклась и, чтобы не вывалиться, хотела было ухватиться за обитые белым шелком борта, но руки, которые ей сложили на груди как при молитве, не слушались. Она не смогла разъять ладони. Они будто одеревенели.

Вдруг ладони сами собой разошлись, и ее руки разлетелись, как крылья у птицы, и пластмассовые бусинки четок, заботливо обвитых вокруг пальцев, посыпались на нее черным дождем...

Чика приподнялась в гробу и окинула себя взглядом. На ней было длинное черное платье. Платье ей шло. Ей стало неловко. Ведь она не девушка, а старуха. Не к лицу ей красоваться, думала она.

— *O, mio Dio*! — охнула Чика, вспомнив про жемчужное ожерелье, подаренное на венчание ее Сальваторо, упокой, Господи, душу его. Неужели и его надели? Но прикоснуться к шее не решилась — а вдруг нет...

Потом она нащупала ручки, вделанные в стенки гроба. Обивка хорошая, шелковая, и ручки медные, дорогие. Ей это понравилось. Вцепившись, Чика свесилась за борт. (Гроб как раз пролетал над via Piave, и она увидела и большой черный катафалк, на котором час назад ее подвезли к церкви, и черные точки людей на слепящих известняковых плитах соборной площади.) Сверху это напоминало ей маслины на большом белом фаянсовом блюде, подаренном свояченицей Анжелой на венчание. Оливы тыкались друг о друга и перекатывались с края на край блюда. Кто-то вдруг задирал голову к небу, точно хотел разглядеть, как она тут летает... Она смущалась и поправляла волосы на голове — так, на всякий случай. Чика разглядывала печальные лица. Некоторые плакали... Ей было неловко, что она доставила столько горя этим людям, но втайне и приятно...

— Выходит, они меня любили, — вздыхала нонна Чика.

А дети были как скворцы на поле: прыгали, кричали, размахивали руками. Взрослые хватали их за руки и строго одергивали, точно боялись, что те улетят на небо — откуда и появились...

— *O, mio Dio*! Какие глупости приходят старухе в голову, — думала она, — верно, я и правда померла...

Ей так хотелось послушать, что они говорят! Но те, внизу, только беззвучно открывали рты, и она, как ни старалась, ничего не слышала. Было высоко, и ветер сносил голоса в море.

В толпе она сразу разглядела родных. И Антонио, и Рафаэлло с маленькой Сильвией (вот ведь нарядили, и не узнать). А это, что ли, Франческо с Ритой? «Эй, Франческо», — хотела крикнуть она и махнуть рукой — и тот вдруг задрал голову и теперь крутил ею как оглашенный... Чика рассмеялась.

— Хоть бы они обвенчались наконец, — вздохнула она, — так жалко эту дуреху...

— А ведь это наша Джульетта! *Белла,* Джульетта, *беллиссимо!* Весной у тебя конфирмация...

— *O, mio Dio*! — она даже привстала в своем ящике. — Ну куда смотрит Филумена! Ее Джулио — просто черт с хвостом. Почти весь пролез в ограду над скалой. Ведь вывалится, не приведи Господь! Ну куда смотрит эта растяпа со скорбным лицом?! — И она погрозила невестке маленьким кулачком: — Гляди в оба! Он же совсем *piccolino*, мой внучок Джулио.

Гроб поднимался все выше. Теперь она плыла над своим Морем. Стали видны и Коккорино, и Капо-Ватикано, и вулкан Стромболи, и вся череда Эоловых островов... Мелькнули Сицилия, Мессинский пролив, Пальме. Внизу проплывали прилипшие к скалам белые городки и бухточки, бухточки, бухточки... Вот уже и Никотера, и снова ее Joppolo...

Гроб все набирал и набирал высоту. Все увеличивал скорость. Но что-то мешало... И она поняла — что.

Крепко взявшись за медные ручки, она с силой оттолкнула от себя ненужный полированный ящик.

Гроб, медленно кувыркаясь, пошел вниз, как отделившаяся ступень ракеты-носителя.

Ей снова стало легко, счастливо и свободно, как в детстве.

И с руками, раскинутыми крестом, в длинном черном платье, которое ей очень шло, и маленьком жемчужном ожерелье на шее она в последний раз окинула взглядом:

медленно бредущую за катафалком процессию, что растянулась от собора до *чимитэро;*

и людей с запрокинутыми в Небо скорбными лицами, тех, кто любил ее и кого любила она;

и черный катафалк с большим гробом «под орех» («...красивый... не моего ума эти дела... я просто старуха...»);

и свой маленький Joppolo, раскинувшийся на склонах горы Монтепоро среди олив, пиний и цветущих кустов дрока;

и свое Огромное Бескрайнее Море;

и вскрикнув резко, как чайка, ушла штопором вверх, в слепящую сверкающую точку.

А маленький Джулио, кряхтя, просунул голову меж балясин ограды смотровой площадки у храма и, еле слышно шевеля губами, то поднимал глаза в слепящее жаром

небо, то провожал взглядом кувыркающийся в воздухе длинный ящик, пока тот не упал, рассыпавшись вдребезги, в его Огромное Сверкающее Море.

И если прислушаться, то можно было разобрать, как он повторял и повторял: «*Чао, нонна Чика, чао, нонна Чика, чао, чао, ча...*»

Каписко

Дураку ясно — небо в Италии синее. Но не просто синее, а бешено синее! Такое, как если бы всю синьку для белья, что продается во всех магазинах мира, все прачки на свете высыпали в один жбан, развели и вылили бы на небо — вот тогда это и будет тот самый бешено синий.

А еще, как говорит старая синьора Фредерика с улицы Альбикокко южного города Бари, синее — как глаза ангелов. А их там, в этом небе, не счесть, как песчинок в пустыне. И синьора Фредерика вскидывает в небо свои сухие старческие руки в жесте, как все итальянцы, когда хотят сказать, что есть вещи, которые понятны только Богу.

— И все эти ангелы смотрят сверху на нас этими своими голубыми глазами, *каписко* (понятно)? — тузит она толстого увальня Мануэле.

— *Каписко...* — кивает Мануэле. Он сидит напротив бабки на корточках на футбольном мяче и наблюдает, как бабка помешивает в огромной медной сковороде пасту с морепродуктами. Паста чавкает, пыхает и выстреливает в воздух густой ароматный пар, как вулкан Стромболи у берегов Калабрии дым и лаву. Сковорода стоит на гудящем примусе у ног старухи, как и у других женщин, сидящих на каменных ступенях своих домов вдоль их узенькой улицы — Виа Пьявэ. И если Мануэле расставит руки, то пальцы одной руки коснутся дома синьора Винченцо, мясника, а другой — их дома с тремя крохотными балкончиками, увитыми цветущей гортензией.

Старуха пробует пасту.

— Вроде соли не хватает, — шамкает беззубым ртом старуха и задирает голову.

— Угу... — отвечают сверху. И тотчас с неба, на серебряной струне, как паук на паутине, спускается толстощекий путти и пухлой ручкой кидает на сковороду жменю соли. Старуха зачерпывает. — В самый раз. — Закрывает сковороду крышкой и кряхтя встает. — Готово с божьей помощью. *Каписко*?

— *Каписко...* — Мануэле чешет курчавую голову и провожает взглядом ускользнувшего в Бешено Синее Небо путти. — *Каписко, нонна* (понятно, бабушка)...

От всего этого, конечно, много беспокойства, но и плюсов много. К примеру, итальянцам нет необходимости мучиться со стиркой. Белье просто вывешивают на веревках, обычно перекинутых через балконы в это небо с синькой, и снимают через час-другой хрустящие от чистоты подсиненные простыни.

Но и это не все!

Эта синева стекает с неба по черепичным крышам и капает на всякие там двери и ставни домов и на снующих по улицам собак, кошек, ужей и ежиков.

И на людей — тоже.

И даже на туристов, которых тут даже больше, чем всех этих вместе взятых собак, кошек и ужей!

И этих ежиков!

Поэтому двери, ставни и глаза у всех — голубые.

И у ежиков.

И даже у туристов.

И поэтому они все на одно лицо!

И ежики!

Не отличить!

Каписко?

И если эти глаза и кажутся вам другого цвета — ну там, карими или серыми, — не верьте! Это от усталости зрения на нестерпимом чокнутом итальянском солнце, которое палит с этого Бешено Синего Неба.

Каписко?

Ну, к примеру, говорят же: «лошадь в яблоках», — но это не значит, что бедная пегая кобыла обвешана со всех сторон антоновкой, как елка марципанами...

Каписко?

Поэтому в Италии все носят темные очки. Дураку же ясно, что не от солнца!

— А чтобы отличить Фабрицию от Джулии, или от ежика — Лючию, или от лисички — Франческу... *Каписко*!.. — обьясняет мне мой калабрийский друг художник Рафаэлло. И вздыхает: — Иначе неприятностей не оберешься. Уж поверь.

И я ему верю!

Единственно, когда вы возвращаетесь к себе в Москву, или там Лондон, или Воркуту, то глаза ваши быстро блекнут, как и загар, и вы опять бледный и в обнимку со своими серыми глазами.

Каписко?

Bambini

Дети в Италии не просто дети, а *bambini*. При рождении — они подобны ангелам. Это путти в чудных перетяжках, с курчавыми ниспадающими на плечи волосами и озорными маслинами глаз. Те самые, что изображены на бесчисленных полотнах и фресках *Bella Italia*: от голенища сапога, притороченного к Альпам, до его остренького мыска, торчащего меж Ионическим и Тирренским морями. Точь-в-точь.

Ими Господь одаривает счастливых матерей Белла Италия, и те любят и тискают их без меры, и целуют их розовые пяточки и мысочки туфель Мадонны из папье-маше в местном соборе за это чудо.

Действительно, они так хороши, что кажутся ненастоящими, хотя очень громко кричат и отчаянно жестикулируют, как и их родители. Глупо думать, что *бамбини* растут сами по себе, как артишоки или сельдерей на грядке. Все в руках Господа.

Поэтому сзади у них есть пуговки, которые (с Божьей помощью) расстегивают время от времени и, видимо, как из кокона, из прежнего *бамбин*о появляется новенький, хрустящий, как накрахмаленные простыни.

Если мальчик — то в темно-синей тройке в нежно-голубую полоску, белой сорочке, тонком черном шелковом галстуке и маленьких лакированных штиблетах — но все на размер больше.

Если девочка — то как волшебная бабочка, очень напоминающая Мадонну из папье-маше в местном соборе.

Подобное я видел в террариуме и даже выпросил кожу, сброшенную большой роскошной гадюкой, у смотрителя. Кажется, она хранится у меня в шкафу вместе с другой ерундой.

Обычно это происходит так: падре уводит на время *бамбини* в задние притворы храма и через миг появляется с уже подросшим мальчиком (или с девочкой — смотря кого сдавали...) перед счастливыми родителями. Так это происходит.

Только не надо думать, что во внутренних комнатах собора стоит толпа вешалок из IKEA на колесиках, где на распялках висит весь этот секонд-хэнд. Ничего подобного я не видел.

Бамбини даются родителям на счастье и в утешение, и потому их не ругают, а так, слегка журят.

Стоит Счастливой Матери вывести своего чудного *бамбини* на улицу или соборную площадь, как вокруг собирается толпа: *бамбини* постарше, их родители, родители родителей, все родственники всех, три-четыре ангела, два-три карабинера, лоточник, зеленщик, бармен из кафе напротив, мэр, два помощника мэра в тех самых синих костюмах в еле заметную серебряную полоску (как утверждают невежды, любимая расцветка калабрийской мафии); небезызвестная всем синьора Эсмеральда в красных подвязках, о которых знают все; кошки, собаки, немецкие туристы в огромных мартинсах и бог знает кто.

Все они тискают и целуют *бамбини* и повторяют: *«Belli Bambini, Bellissimi Bambini»,* — и потрясают сложенными ладонями, глядя в ультрамариновое небо.

А с ними и кошки, и собаки. Ведь в *Белла Италия* животные разговаривают, как и люди. Единственно, немного шепелявят и не выговаривают букву «L». Но все их понимают.

А с ними и фарфоровый падре Пио с площади апулийского городка Чистернино. Он потрясает сложенными ладонями круглые сутки. У него коричневые митенки без пальцев, как перчатки у велогонщика. Они защищают его стигматы на ладонях от непогоды. Впрочем, как и у всех других бесчисленных падре Пио *Белла Италия.*

Даже если *бамбино* оказывается толстым, ленивым или зловредным — это ничего не меняет: любовь Господа безмерна.

И может быть, если я проживу много правильных жизней, то Господь сподобит синьору Филумену и ее мужа Марчелло зачать меня в каком-нибудь апулийском городке, в домике, затерянном среди олив, на огромной скрипучей итальянской кровати, у изголовья которой будут висеть черное распятие и огромная репродукция Христа в дешевой пластиковой раме. Христос красивыми пальцами музыканта разверзает свою грудь. В груди Христа, как еж, пылающее острыми алыми лучиками сердце. Это бесконечная любовь.

И я пронесу через всю свою жизнь легкое недоумение от его нормандских васильковых глаз, прямых льняных волос и острой клиновидной бородки. Бог его знает почему.

Но это если я буду очень стараться.

Господи! Помоги мне когда-нибудь родиться бамбино!

Поэтому я вытаскиваю из потертого семейного альбома в сиреневом велюровом переплете черно-белую фотографию с перфорированными краями и кладу ее на старую вьетнамскую бамбуковую этажерку. На фото мальчик на сером пони. На мальчике шапочка с дурацкими ушками, короткое серое пальто в крапинку, бязевые чулки на резинках, штанишки на помочах и неудобные черные ботинки фабрики «Скороход». Лицо у него веселое.

Это я, Господи, чтобы ты не забыл.

Билет, контролеры и хор «Ла Скала»

Когда вы едете в аэропорт «Ламеция-Терме» на местном поезде, скажем, из городка Йопполо, то, кроме прелестных видов, бесчисленных туннелей, огромных лап кактуса опунции, которые хлещут вас через окно, и серпантинов, вас на каждом шагу будут подстерегать неожиданности. Одна из них — контролеры. То ли эти контролеры проверяют друг друга, то ли еще что, но их больше, чем пассажиров коротенького, в три вагончика, дизеля. И даже непонятно, где они там все помещаются.

Как только я сел в поезд, ко мне подошел контролер:

— Синьор, где вы сели?

— В Йопполо, — ответил я. Хотя он сам только что открывал мне дверь вагона.

— Хорошо, — ответил контролер. — У вас есть билет?

— Нет, — ответил я. — В Йопполо нет кассы.

— Хорошо... — сказал контролер. — А куда вы едете?

— До «Ламеция-Терме».

— Хорошо, — кивнул контролер, и бригада ушла.

Через пять минут подошла другая бригада.

— Где вы сели? — спросил новый контролер.

— В Йопполо... — ответил я.

— Хорошо, — ответил контролер. — У вас есть билет?

— Нет, — ответил я.

— Хорошо... — сказал контролер. — А куда вы едете?

— До «Ламеция-Терме».

— Хорошо, — кивнул контролер, и бригада ушла.

Подошел третий контролер. Так продолжалось более часа.

Разморило. Мне снится: огромный бесконечный вагон. На всех сиденьях бесчисленные контролеры в форме. Из тамбура в проход выходит в черном длинном сюртуке и фирменной фуражке хормейстер, вскидывает руки:

— Где сели вы, синьор печальный... — выводит хорошо поставленными голосами, как у певцов в «Ла Скала», хор.

Хормейстер тычет в меня дирижерской палочкой.

— Сел в Йопполо я утром ранним... — вступаю я неожиданным фальцетом.

— А ваш билет, но без утайки, он с вами?.. — вступает хор.

— Н-е-е-е-т! — воплю я и просыпаюсь.

Поезд тормозит и благополучно прибывает на конечную станцию «Ламеция-Терме».

Я выхожу в тамбур, все бригады уже там.

Вот теперь-то — решил я — и состоится роковая покупка моего таинственного билета.

Но нет!

— *Арриведерчи*! — крикнули контролеры хором, и я в недоумении вышел на перрон.

Господи, если в следующей жизни мне суждено будет родится контролером, то пусть это будет итальянский контролер Микеле, нет - Антонио, нет - Джузеппе! Или по очереди вся бригада! Может быть, тогда я разгадаю эту тайну... Хотя я согласен и на солиста в «Ла Скала», Господи! Пожалуйста!

Дверь на небо

Жара адова.

Он шел, как цапля, нелепо подбрасывая коленки. Боязливо ставил ступню на песок и тут же отдергивал. Песок жег. После прохладной воды это было мучительно приятно. Пройдя шагов двадцать, раскинул руки и упал плашмя в хрусткий жар. И замер.

И теперь лежал, ощущая, как холод знобкими волнами источается из тела. Даже сама мысль пошевелиться была мучительна. Просто отплевывал крупинки песка и тупо пялился перед собой. Ему были видны только ступни, щиколотки, в лучшем случае — ноги по колено. Ноги шли, бежали, крутились, подпрыгивали, утопали в песке — сами по себе, отдельно от их владельцев. А те кричали, смеялись, визжали откуда-то сверху. Сами по себе. Он пытался представить их целиком. Но только у кромки воды фигуры соединялись сами собой. Это потрясало банальностью и совершенством. Но и смешило... Очевидно, эта зыбкость раздвоенного сознания была вызвана жарой.

Он приезжал сюда после сиесты. Покрутившись по серпантину из Йопполо до Никотера, парковал черный арендованный фиат у бара, вскидывал красный рюкзак и по песку шел через пляж к морю, обходя пальмы в кадках, перевернутые вверх голубым брюхом баркасы, тела загорающих...

Закрыл глаза — еще минут десять, и он встанет, влезет в линялые шорты и футболку *«I hate mondays»*, возьмет в баре у Джакомо чашечку капуччи и, сидя на парапете старого фонтана, будет наблюдать, как толстые золотые рыбы общипывают водоросли с ноздреватых известняков.

Он повернул голову в сторону бара и уперся взглядом в стену. Странную слепящую белую стену в мавританском стиле.

Ее точно выперло из песка у него за спиной, как нелепый надувной аттракцион в парке развлечений. Высотой два — два с половиной метра, она выпирала несуразным пустым каре посреди бесконечного пляжа, покачиваясь и змеясь в жарком мареве. У ее основания — заросли опунции с созревшими лиловыми плодами, кусты дрока, нагло торчащая одинокая мачта араукарии... Ящерица на ухе кактуса оцепенело таращилась на него...

Странно, что раньше он стену не замечал, хотя был здесь столько раз и шел мимо, почти касаясь...

«Старая и стоит тут невесть сколько», — думал он, скользя взглядом по ее округлым асимметричным зубцам, и уперся в голубой вход под аркой.

Абсолютно голубой, как небо над этой странной стеной, сложенной из огромных, выкрашенных подсиненной известью камней.

Цвет арки был не просто похож, а словно эти «Вход» и «Небо» над стеной выкрасили из одного ведра — огромной, разлапистой пеньковой кистью, окуная ее в ведро с лазурью.

Проводил взглядом сухонького эфиопа-коробейника, обвешанного как рождественская елка дешевой ерундой за один евро и с пляжными шляпами на голове, вставленными одна в другую, как матрешки: «Да пусть хоть и «эфиоп» покрасил, мне-то что...»

На самом деле он давно понял, что это «Вход на Небо». Такие вещи чувствуешь сразу, нутром, до коликов...

Неловко огляделся — как если вдруг увидишь такое, чего и видеть-то нельзя, не

положено. И подставишься глупо. А другие заметят. А окажется — розыгрыш. Как кошелек на веревке. Потянешься — а кошелек выдернет из-под носа, хихикая, ребятня из-за угла.

«Но нет... — привстал на локте. — "Вход на Небо", он такой и есть. А какой еще? Не хватает Петра со связкой ключей у входа, — ухмыльнулся он. — Но Пётр мог и отойти. Жарко, он и отошел на минуту, в тенек. Или в сортир...»

Пригляделся. У стены валялись стертая покрышка, остов велосипеда, пластиковые бутылки из-под воды и прочий хлам. Или морем нанесло, или те набросали, что *туда* отчалили... Зачем им эта хрень там, на Небе?

Задумался и понял, что и ему, если что, туда взять нечего...

Странно: у входа не было ни сутолоки, ни толкотни. Похоже, кроме него «Вход» никого и не интересовал. Или не видели...

«Похоже, — размышлял он, — это только его "Вход". Или здесь по списку, и он на сегодня последний. Может, дверь из грубых, покрашенных лазурью досок и привычней, но "Вход на Небо сквозь камни" — тоже неплохо. В тренде».

Обыденность чуда коробила, но и успокаивала его, как очки с замотанной скотчем дужкой на сосредоточенном лице хирурга.

Вспомнил, как неделю назад, в Бриндизи, одурев от жары, перепутал двери и ввалился в Траурный зал: покойник приподнялся в гробу, не узнавая. Вдова приветливо кивнула, поправила подушку в изголовье и, надавив на лоб мертвеца, уложила бедолагу на место. Это примиряло. Все по-домашнему. Не варьете, чтобы кордебалет мулаток в юбочках из тростника, негры по сторонам от входа с веерами из страусовых перьев, фейерверки.

А что? В его жизни все происходило вдруг, неловко, подчас глупо, некрасиво. Всплыли первые сексуальные опыты... Его передернуло. «Ну, упрешься руками в шершавые камни, отвернешься и сделаешь вид, что по нужде...»

Здесь двадцать шагов, от силы двадцать пять. Мимо того колеса, синей пластиковой бутылки, потом закрываешь глаза, и дальше, вытянув вперед руки... и — «блондинка в шоколаде»... Ну, давай!

...Человек шел по песку к стене, цаплей, смешно поднимая колени, с вытянутыми вперед руками. Точно слепой...

Он отвернулся и теперь, прикрыв ладонью глаза от слепящего солнца, наблюдал, как из-за его спины выходит огромный, иссиня-черный сарацин в черном как смоль комбинезоне, больших белых наушниках на черном лысом точеном черепе, белых перчатках и огромных белых кроссовках «Asics». Сарацин подходит к берегу, зачерпывает красным пластиковым ведром воду и, подхватив на обратном пути ведро с белилами, теперь идет обратно, придерживая большую разлапистую кисть.

Его огромное матовое мускулистое тело двигалось неумолимо, как хорошо смазанный совершенный механизм. Сарацин прошел мимо, почти коснувшись его. Подпевая музыке в наушниках на гортанном архаичном языке. Его обдало жаркой волной странного мускусного запаха. И не надо было оборачиваться, чтобы увидеть, как сарацин делает первый мазок белилами по лазури — крест накрест...

«Или я все же вошел в ту дверь?..» — Он встал и, не оборачиваясь, пошел в сторону прибоя по бесконечному пустынному пляжу. Стараясь не наступать босыми ногами на пролитые пятна краски на песке. Как в детстве, при игре в классики на «чет-нечет».

И Море, полное Толстых Золотых Рыб, которые пускают смешные бульки и глупо пучат глаза, плыло ему навстречу. Не приближаясь.

Звезды

Звезды в Италии похожи на настоящие.

Это сбивает с толку.

На самом деле они серебряные и пришпилены к темно-лиловому пологу Неба. (Как на задниках всех романтических итальянских опер во всем мире.)

И еще — звезды протирают. Мягкой бархоткой. Той, что лежит в футляре для очков старой синьоры Изабеллы.

А иначе с чего бы звезды так блестели?

Впрочем, как и Коварную Луну. (Ее достают каждый день, разную, из большой длинной коробки, где она лежит в вате, как елочные украшения, припрятанные на пыльных антресолях до следующего Нового года: всякая — от тонюсенького серпа до круглощекого серебряного таза.)

Созвездия в Италии состоят из звезд, как коровы, пасущиеся на сочном лугу, — из клевера, мяты и чертополоха. Это не секрет.

Созвездия без дела слоняются до утра по Небу. И не секрет, что от них один гвалт, сутолока и беспокойство. Но и польза — они лижут звезды своими большими шершавыми языками.

А иначе с чего бы звезды так блестели?

У звезд в Италии важная роль: от них зависит жизнь людей, по ним ориентируются, и потом — это красиво.

Звезды иногда скрываются за облаками, но это ненадолго.

И еще — когда идешь вечером по южному итальянскому городку и заглядываешь в глаза прохожих, то видишь в их глубине — те же звезды. Словно туда запрокинулось Небо.

И кажется, их тела, толкаясь, смеясь и размахивая руками, плывут, покачиваясь по городу (среди витрин, кустов цветущего дрока и припаркованных машин), как баркасы по небу, сквозь эти Мерцающие Девы и Равнодушные Весы...

И хочется подойти и ни с того ни с сего погладить прохожего по затылку. Как меня родители в детстве. Просто так. Но и заодно убедиться: те ли это звезды, что и на небе, или другие?.. И как они там у них пришпилены...

Устав от этих размышлений, я подошел к своей машине, мокрой от только что пролетевшей с апулийских холмов грозы, и увидел — машина вся усыпана звездами: и капот, и крылья, и стекла.

Я распахнул дверцу и вошел в это уютное звездное нутро. Вставил старенький диск Челентано, откинулся в кресле и закрыл глаза: «О Господи! Хорошо-то как, как на Небе».

Бог и итальянцы

У итальянцев с Богом все просто.

Бог любит итальянцев.

Итальянцы любят Бога.

И все!

И еще, как только прелестная Кармела поднимает в ультрамариновое небо свои лукавые оливковые глаза и молитвенно сложенные ладошки, то Господь дает ей сразу все:

и курчавого Франческо в мужья;

и двух прелестных детей: мальчика — Джузеппе и девочку — Марию;

и двух ослов: Чико и Фемину;

и лохматого пса — Джулио, и дом, и сад, и кота Фердинанда.

И еще, загодя: мужа Антонио, для ее будущей дочери; жену Луизу, для ее будущего сына.

И внуков дает: Анджело, Джулию, Микеле...

И еще Бог знает что.

А как иначе?

Ведь если она еще начнет и просить, моля, заламывая руки и причитая, то придется отдать и собственные сандалии из мягкой позолоченной буйволиной кожи. (Которые не жмут, и он их так любит...)

А у Него и так от этих итальянцев голова раскалывается и идет кругом.

...И Он осторожно отодвигает линию прибоя своего *маре Тиррено* у калабрийского городка Йопполо на метр и еще — чуть-чуть... Этот маленький Джузеппе такой настырный, вечно лезет Бог знает куда.

...И Бог слегка придерживает солнце над линией горизонта за портом апулийского городка Монополи: ему интересно, чем закончится разговор между этими старухами — Филуменой и Клаудией, у старой оливы.

И дослушав, хихикает, мотает головой и, выпустив из рук бордовый диск солнца, долго дует на пальцы. Горячо.

Возможно, поэтому закаты в Италии так быстротечны.

И кажется, солнце еще высоко, но внезапно солнце шмякается в лиловое море (словно кто дернул его снизу за веревку) и плющится. Подскакивает мячиком за молом порта и снова падает... и медленно начинает оплывать в алый горизонт, как медуза, выброшенная на берег.

Bella figura

Итальянцы — известные модники. Даже больше, чем можно себе вообразить.

В этом году в моде фисташковый и канареечный.

Я стою на набережной и наблюдаю, как канареечное солнце садится в фисташковое море. Мода.

— *Salve*, — говорю я Антонио и Фабио, идущим навстречу.

— *Salve*, — говорят они и поправляют стоячие воротнички на своих поло: фисташковом и канареечном. И оглаживают гребешок набриолиненных волос и маленькие бородки клинышком. А я рассматриваю, как между их узкими брючками и штиблетами на босу ногу шевелят лапками и подмигивают мне татуированные на их загорелых щиколотках саламандра и тритон. Мода.

Нелепо думать, что Господь сидит над своей Италией столько лет в той самой скучной тунике, шитой серебром, и тех самых золотых сандалиях из буйволиной кожи. Сколько можно...

Я задираю голову, но могу разглядеть только носок его модного фиолетового штиблета и лососевого цвета брючину. И все. Очень высоко...

Понятно, что итальянцы рождаются модными.

Девочки всегда появляются на свет в элегантном черном платье от *Гуччи*, узких

лакированных лодочках от *Валентино* и с большой сумкой через плечо (в этом сезоне — розовая) от *Армани*; с яркими изящными лейблами.

Мальчики рождаются в темно-синей тройке в мелкую голубую полоску, голубой сорочке (в этом сезоне с пуговками на лацканах), узком красном галстуке-селедке, черных шелковых носках и лакированных черных штиблетах.

Это называется *Bella Figura.*

Это не менее важно, чем воскресная месса в местном соборе.

И это на всю жизнь.

Мода в Италии на пятом месте — после: Девы Марии, Господа Бога, Папы Римского, семьи (Мафии) и футбола в баре под ледяное пиво «*Drier*» в темно-синих бутылочках по 0.33. (Но об этом не принято говорить.)

Папа Римский, Мафия и футболисты тоже одеваются от *Гуччи, Дольче & Габбана или Армани...*

О том, кто одевает Деву Марию и Господа Бога, Ватикан умалчивает.

Марчелло

Сегодня день Марчелло.

Марчелло стоит посередине небольшой площади городка Тропеа под левым мраморным усом Джузеппе Гарибальди. На правом усе героя греется большая толстая серебристая ящерица. Веки ящерицы подрагивают, как и набриолиненный хаер на голове Марчелло.

Немного полные ноги Марчелло в обтягивающих розовых брючках слегка расставлены. Ягодицы подтянуты. Марчелло — Аполлон!

Правая рука Марчелло опирается на хромированный руль роскошного голубого XARLEY DAVIDSON с расписанным бензобаком: слева Иисус с разверстым, струящимся любовью к людям сердцем; справа — Дева Мария с голубоглазым младенцем на руках.

Вокруг Марчелло собралась небольшая толпа: два истатуированных в хлам рокера в хрусткой свиной коже с ног до головы на жаре в сорок, несколько официантов из окрестных баров, три пацана с косматой собакой и драной кошкой на одном поводке и группа щелкающих фотоаппаратами немцев: в основном бодрые пергидрольные старухи с голубыми волосами и животастые бюргеры с мясистыми лицами в красном кракелюре и с бледными, торчащими из широченных шорт волосатыми макаронинами ног в огромных докерсах.

Все пялятся на живот Марчелло — рассматривают татуировку: роскошная шестигрудая русалка обвила хвостом трехмачтовую шхуну...

Всем нравится.

Татуировка новая, из-под иглы — в густой белой смазке и обмотанная целлофаном, как младенец в «родовой рубашке», только что вынутый из чрева...

— Неделю делал, — поясняет Марчелло и манерно скидывает с плеч черный платок, как скульптор полог с нового шедевра: чешуйчатое тело русалки искрится и трепещет на солнце.

— Браво, Марчелло, — все по очереди пожимают руку счастливцу.

— Шесть, — завистливо сглатывает прыщавый бармен Рафаэло и тыкает в русалку.

— Шесть, — победоносно кивает Марчелло.

На обеих руках Марчелло по три пышногрудые красавицы, над каждой —

пронзенное стрелой лучистое сердце со стекающими каплями крови, почище чем у Христа.

Марчелло задирает выше бирюзовую футболку: на груди, в центре, Дева Мария, а в лучах ее благости, амфитеатром — вся семья Марчелло: бородатый отец, мать с маленьким Марчелло на руках, три старших брата Марчелло — Антонио, Джузеппе и Фабио; младшая сестра Франческа. Все подписаны.

На спине, как житие святых на иконах, весь тернистый жизненный путь Марчелло:

— вот Марчелло с колена стреляет из винтовки — подпись: *Марчелло в армии*;

— вот Марчелло обнимает красавицу... Подпись: *Лючия — навеки*;

— еще одна красотка: *Филумена — навеки*;

— вот жестокая рука вонзает нож Марчелло под ребро. Рубец обведен и от него, как от Христова сердца, расходятся лучики и парят ангелы...

Марчелло поворачивается. Между лопаток — Дьявол, искушающий Марчелло. Но Марчелло не сдается и ловко проходит все западни и ловушки рогатого...

Я стою в полутемной прохладе у стойки бара, пью кофе-*корретто* и в зеркало за кофе-машиной рассматриваю свою бледную пупырчатую кожу в мелких родинках и седых волосах.

Мне очень печально. Похоже, под этой вялой пустой кожей с жировиками так и пройдет вся моя глупая натужная жизнь.

Хотя возможно, она и отпечатается изнутри. И когда меня призовут (я поднимаю глаза на фото Христа в пластмассовой голубой рамке на полке среди бутылок с аперитивом), то сильные ловкие руки вытряхнут мою ненужную требуху, вывернут меня и вывесят на просушку на небесном дереве мою еще мокрую, роскошную, истатуированную жизнью кожу... Я невольно содрогнулся от увиденного и неловко обернулся...

— Я здесь, — суровый голос сверху. — Не нравится? Хочешь, как у Марчелло?

— Ага, — сглатываю я.

Из листвы небесного терновника высовывается рука с татуировочной машинкой:

— Но русалка будет одногрудой...

— Пусть, — обреченно вздыхаю я. — Только хотя бы с хвостом.

— Сделаем, — хихикают из листвы. — Но придется потерпеть.

Тапир или собака

— Мама, я хочу позвонить мадонне!

Полный, с немного выпученными глазами, как у всех аутистов, мальчик манерно приставляет ладонь к уху, как заправский телеведущий развлекательного канала, когда делает вид, что говорит по телефону.

— Си... — мать, худосочная носатая крашеная блондинка, понуро волочит дауна к храму. — Быстрее, Николо, опаздываем.

— Мадонна, привет, это я! — орет даун. — Ты что сегодня ела на завтрак? А я вчерашнюю пасту и пил кофе. Тебе на небе не жарко? Сказали по телевизору, сегодня будет очень тепло. Ты не болеешь? А у меня второй день болит горло и утром немножко живот. А еще умер мой двоюродный дядя, Федерико, мы идем к нему, он лежит в гробу, и сегодня его заберут на небо. Мама говорит, его уволочет дьявол. Я дядю Федерико не очень любил, но мне жалко отдавать его дьяволу... Ему там будет плохо...

— Николо, — женщина резко оборачивается. — Перестань! — И снова волочит парня.

— Мадонна, — продолжает даун, — ты же добрая и всех жалеешь. Попроси, чтобы дядю Федерико забрал ангел, и пусть он сидит на облаке, как мои дедушка и бабушка. Рядом. Я буду с ним разговаривать, и он не будет скучать...

Из узенькой, хранящей полумрак улочки толпа вываливается на залитую солнцем площадь перед храмом.

Женщина с мальчиком пристраиваются в длинный хвост очереди, ползущей по раскаленным известнякам. Голова очереди растворяется в гулком полумраке входа в собор.

Перед собором два шикарных черных лимузина-катафалка от фирмы «Jodano» и «Iudio» с характерными серебряными дельфинчиками, видимо, символизирующими души умерших, отлетающие в небо. Красиво. Похоже, покойный был значимой фигурой в городе, — размышляю я, — но почему все-таки катафалка — два? Может, фирмы повезут по очереди, меняясь. Ну не пилить же гроб. Или... — вспомнил размышления дауна о покойном, — у них разные маршрутные листы?..

Очередь очень разношерстная: тут и хорошо одетые солидные пары, и люди победнее, а вот и два подростка-маргинала с кое-как прилизанными хаерами... трое рокеров в коже... Храм полон. Все скамьи в центральном нифе забиты, люди стоят в боковых. Очередь змеится меж скамей главного провхода, мимо стоящего на полу у паперти гроба к семье покойного. Подходят, соболезнуют, протягивают конверты. Все очень пристойно и чинно.

Гроб дорогой, под орех. Но ни приоткрытого окошка, как любят протестанты, ни, как у православных, лежащего в полный рост покойника с одутловатым исковерканным смертью лицом и догорающей свечкой в окостеневших пальцах. Мне всегда казалось, что покойнику больно от капающего на желтые костяшки пальцев горячего воска. Нет! Гроб под орех плотно закрыт крышкой. Покойный, по причине того, что будет замурован в склеп, все одно лежит в ореховом футляре, в запаянном оцинкованном ящике. Смотреть не на что.

По бокам от входа, в нишах, высеченные из камня фигуры пророков с библейскими отрешенными лицами. У входа в храм колченогий столик. Над столиком стандартный некролог: «Federico Caraciodo покинул нас...» — и все такое... Над некрологом распятие, на столике толстенная гостевая книга. Такую у нас кладут на открытии выставок. В них друзья авторов или дамы за сорок пишут что-нибудь вроде: «Восхитительно!», «Удачи автору...», «Это перевернуло мое сознание»...

А тут?.. Что-нибудь вроде: «*Чао*, Федерико, увидимся!», «Все там будем»?..

Вряд ли: лица в очереди почтительны, но с еле заметной потаенной радостью: «Мы-то пока здесь... Упокой, Господи, душу Федерико... *Чао, чао, ча*...»

Все подходят и расписываются. Видимо, чтобы семья покойного знала, кто приносил конверты. Подхожу ближе, протискиваюсь: интересно, а они проставляют суммы, как в приходских бухгалтерских книгах? Наклоняюсь: нет! Имя, фамилия, иногда строка из Библии, стандартная: «Пусть земля ему будет пухом...» — но по-латыни.

Простившиеся по-быстрому расходятся. С грохотом разъезжаются на трех Харлеях рокеры. Очередь в храм тает. Неожиданно над куполом храма, в совершенно безоблачном небе образовывается небольшое, подсвеченное алым закатным солнцем облачко. Облачко принимает форму то милого забавного тапира, который смешно волочит по мозаичному куполу собора хобот, то жуткую оскалившуюся собаку.

«Однако, — рассматриваю я облако и одновременно наблюдаю, как пустеет площадь. — Не все так просто...»

Вот Облако Собака, ощерясь, зло топорщит белесый дьявольский глаз на выход из храма. Того и гляди, обхватит ящик под орех ощеренной клыкастой пастью и уволочет в преисподнюю — если покойник того, с грешками.

А теперь Облако Тапир — ласково смотрит на ступени у входа. Ждет. Обернет усопшего нежным хоботком и... к ангелам.

Площадь почти опустела.

«А все же, — размышляю я, — а зачем два катафалка? Может, один так и стоит на приколе, как реклама фирмы, навроде голубого кабриолета у дворца бракосочетаний на соседней площади: для селфи? А так и не ездит».

Но кажется, никого из присутствующих ни Тапир, ни Собака, ни два катафалка для одного покойного не интересуют. Пообвыкли. Между тем шестеро мужчин в черном по-быстрому выносят из храма гроб, по-быстрому, как пустой баул, засовывают в один из катафалков, сверху, как багажник барахлом, закидывают венками, и машина, шурша дорогими шинами, уезжает.

«Пока, Федерико, все там будем, не скучай...» — читается на их лицах. Закидали второй катафалк оставшимися венками, расселись по машинам, и площадь опустела.

Оглядываюсь. «И все! И это весь театр?.. — разом становится тоскливо и скучно. — Хотя... похоже, ящик-то под орех был пуст, — задираю голову. — Вот и облака хренова нет...»

Вскидываю рюкзак и иду к морю. Окунусь... Навстречу мне, от смотровой площадки торопливо идет молодая женщина. Лет тридцати. На женщине архаичные несуразные волочащиеся по плитам одежды. Наскоро подбирая подол одной рукой, другой женщина прижимает к груди маленького ребенка. Обернулся. Теперь женщина стоит у разверстого входа в пустой храм, растерянно оглядывается.

« Один в один... — Я перевожу взгляд с Девы Марии с ребенком на постере некролога на женщину у входа... — Да ладно... — одергиваю я себя. — Просто опоздавшая родственница... или соседка... Или чертов парень дозвонился?..»

— Извините, — поворачивается ко мне женщина и поправляет на голове сбившийся платок. — Вы не заметили — Тапир или Собака?

«Похоже, Тапир...» — я перевожу взгляд со странного маленького облачка, выплывшего из-за черепичной крыши джелатерии сестер Ричо, на то место, где только что стояла женщина с ребенком. На облаке сидит человек. Но очень высоко, почти не видно.

Бизнес-класс

В одно из посещений итальянского кладбища меня заинтересовали странные сооружения. Они стояли поодаль от роскошных мавзолеев, акрополей и усыпальниц белого, розового и голубого мрамора с саркофагами в окружении печальных полногрудых дев в туниках и пухлозадых ангелочков, охраняющих покой усопшего. И гуртом, как микрорайон хрущевок в Солнцево или Южном Бутово. С виду сооружения напоминали стеллаж для книг, только бетонный, с четырьмя-пятью длинными и, по бокам, коротенькими полочками.

— Бизнес-класс, — печально улыбнулся возникший как из под земли служка. — Расхватывают. Комфортно и надежно. Выдерживает землетрясение до восьми баллов. *Каписко*?

— *Каписко*, — кивнул я. — А *пикколо* — для *бамбини* (маленькие — для детей)?

— *Но, синьор: гатти, канини...* (Нет, синьор, для кошек и собачек...)

— *Куанто коста*? (Сколько стоит?)

— От тысячи евро, — вздохнул служитель, смерив меня понимающим взглядом. — Прекрасный бетон, сносу нет. Изнутри можно покрасить. Цвет подбирает клиент. Обычно берут под семью. Чтобы снова соединиться... там...

— Понятно.

— Если у синьора есть некоторые пристрастия, то можно их изобразить внутри в виде фресок или мозаики. На самые фривольные темы... Инкогнито. У нас прекрасные мастера по камню...

— Надо подумать.

— А у синьора большая семья?

— Нас трое и кошка.

— Возмите в рост из пяти секций.

— ?

— В случае преждевременной смерти супруга вдова или вдовец могут выйти замуж...

— Понятно.

— У синьора крепкая семья?

— ?

— Может, у синьора есть предпочтения на стороне или незаконнорожденные дети?

Делаю неопределенный жест.

— Вот, последний хит: две усыпальницы спина к спине. Очень трогательно! Обе семьи даже не догадываются... Вторая секция оформляется как подарок новой избраннице... А главное: между вами и вашей пассией, видите, специальное тайное окошко. С задвижкой. Даже голова пролезает. Ну, вы меня понимаете...

— Понимаю...

— Теперь вид. Вот, посмотрите, отсюда и отсюда: Тирренское море и мыс Капо-Ватикано как на ладони... Тую, слева, можно подпилить... Хотите — сегодня вечером.

Господи, что-то я с этими кладбищами совсем растерялся. Саркофаг с печальными девами, стояк с тайным окошком, где я буду лежать между женой и тещей, как в плацкартном вагоне, а по бокам любимые кот и барбос, конечно, хорошо... а если приоткрою дверцу... Или там над Мальдивами прах из воздушного шара развеять: тоже романтично... На худой конец и в Москве, на Миусском, между дедом и бабкой, тоже ничего...

Тебе решать, Господи! Но, с другой стороны, у тебя и так дел по горло. То туда, то сюда... Поэтому, Господи, просто знай: я с этим не спешу.

Серёга

Жара.

Сиеста.

Я сижу на залитой солнцем площади забытого богом итальянского городка Локрия перед собором Святого Франциска Ассизского и тупо разглядываю изъязвленную временем каменную колонну. Колонну венчает обсиженная голубями Дева Мария с младенцем на руках. Удивительным образом голубиный помет не попадал на святые одежды девы, а образовывал вокруг колонны что-то наподобие нимба, как над головами святых. Не знаю, что было тому причиной, возможно, сам нимб святой с крохотными шипами, зло колющими лапки несчастных птиц, или что другое, но чудо

было налицо. Я давился, чтобы хоть как-то взбодриться от измотавшего зноя, третьим *капучино* за день. И не знаю, с какого рожна: то ли осоловел от жары, то ли от благоговения увиденного, то ли кофе перепил.., но вдруг явственно увидел своего закадычного друга, Серёгу Честнакова — усатого любителя бардовской песни и женщин, особенно замужних... Пять лет как мертвого. Увидел совершенно отчетливо, вот как этого типа за соседним столиком в лазоревом поло, слизывающего *нутеллу с корнетто.* Серёга лежал на боку, спиной ко мне, подложив левую руку под ухо, придавленный сочащимися водой серыми холодными глиноземами Санкт-Петербурга на глубине в два метра. «Слава богу, — еще подумал я, — спиной ко мне». Отчего-то лица Сереги мне видеть не хотелось.

Возможно, причиной «Явления Серёги» были величественные двери собора. Высокие, кованые, похоже, недавний заказ Ватикана, и, как поощрение современному искусству, исполненные в неканонической, жесткой, динамичной пластике.

На правой створке дверей были изображены муки Господни: избиение плетьми, тяжкий путь восхождения на Голгофу, распятие... На левой — святые деяния Господа и содеянные им чудеса. И в самом низу — воскрешение Лазаря.

Возникла неловкая пауза: я переводил взгляд с Серёги то на восставшего из мертвых Лазаря, то на Деву Марию... Площадь замерла... Голуби на Святой Деве разом перестали ворковать и гадить и теперь крутили своими острыми змеиными головками вслед за мной: Лазарь, Серёга, Дева Мария... и обратно...

«Может, попросить... — Я пододвинул к себе чашечку *капучино* и взял пакетик с тростниковым сахаром. Покрутил. — Одним Лазарем больше, одним меньше...» Серёга начал медленно вынимать руку из-под уха и медленно поворачиваться ко мне... «А похоже, тебе это не очень хочется...» — поймал я себя на мысли. Серёга замер. И вдруг запел. Своим низким, с хрипотцой голосом: «...Что мне модницы-кокетки, повторенье знатных дам...»

«Голос все тот же, — растроганно прислушивался я. — Хотя немного осип. А может, все же попросить?..» Но отчего-то в голову полезли все эти истории очевидцев про то, как воскрешенный вечно болтался потом как неприкаянный, в пропитанных гноем бинтах, был некстати и смердел... И вообще, похоже, из этой затеи с воскрешением ничего путного не получилось.

«Ночью с нею то и дело, платье прочь, и к телу тело, есть ли время отдыхать...» — уже еле слышно безнадежно дотягивал Серёга.

Я с облегчением неспешно надорвал пакетик с сахаром: хрусткие коричневые кристаллики шурша посыпались, продавливая упругую пенку *капучино.* Образовали воронку, куда и соскользнула, легко, как в бане баба с намыленной жопой по полатям, и эта моя нелепая идея с Серёгой, и вдруг накатившее разом чувство вины: а я-то живой...

А я-то — живой! — сделал я большой обжигающий глоток густого ароматного кофе. И разом ожила залитая солнцем площадь, загомонили посетители баров, разом заворковали и начали гадить голуби на Мадонне... Мой взгляд пошарил по площади и уставился в двух сидящих рядом немок: тощую воблу и пышечку. На немках были свободные спортивные хламиды цвета хаки и огромные синие *мартенсы*. Взгляд протиснулся между их джинсовых бедер и уперся в витрину магазина женского белья «Интимиссими».

— Надо же, Серёга... — разглядывал я витрину: изящный манекен в канареечном ажурном белье фривольно откинулся на обтянутый алой кожей диван. — Как бежит время?!.. А в том году в моде был оливковый.

Карабинер, олива и англичанин

Ворота виллы моего друга англичанина нараспашку. С воплями вываливаются сам Сальваторе и наш общий знакомый, толстяк, карабинер Кармело. Кармело в полной выправке. В фуражке и с огромным черным пистолетом на белой портупее сильно смахивает на Карлсона, который решил послужить в полиции. Крутят головой — то на меня, то на пригорок. На пригорке, подперев спиной оливу, с решительным лицом и сложенными на груди руками стоит коренастый синьор.

— Третье, — толстяк Кармело мотает перед носом Сальваторе бланком, как тореадор перед быком. — Третье заявление от синьора Чезарио. — И смотрит на человека у оливы.

Человек у оливы кивает.

— Джузеппе, какого черта, каждую весну, когда ты приезжаешь из своей чокнутой Англии, ты пересаживаешь его оливу на холм! Вон стоит!

Человек у оливы кивает и шлепает дерево по кряжистому боку: дескать, стоит натурально...

— А осенью, перед отъездом, зарываешь на место! Синьор Чезарио протестует!

Человек у оливы кивает и вскидывает вверх руку с тремя оттопыренными пальцами.

— Он протестует, а я не могу попасть на собственную виллу! — орет англичанин. — Я не кенгуру, чтобы прыгать через его оливы!

— Да какого черта! — орет карабинер. — А объехать?

— Ты посуди сам, — вопит и размахивает руками Сальваторе (на самом деле он только наполовину англичанин, мать у Сальваторе — неаполитанка). — Вот когда ты, Кармело, возвращаешься с рыбалки в нашу гавань, а дует широкко, то сначала ты забираешь влево, на маяк Кокоринеллы, чтобы поставить барку на волну. Ведь так!

— Так! — кивает Кармело.

— А потом, когда до мола остается метров сто, то резко руль вправо! Ведь так!

— Так! — кивает Кармело, снимкет фуражку и, отдуваясь, протирает тыльную сторону носовым платком.

— А тут у тебя перед носом эта чертова олива! — орет англичанин.

При этом почему-то оба апеллируют ко мне как к третейскому судье. Хотя я понимаю с пятого на десятое.

На всякий случай я тоже киваю.

— Видишь! — радостно тыкает в мою сторону англичанин. — Браво, руссия.

— А если, скажем, дует мистраль, то ты ставишь нос на маяк Никотеры! Ведь так!

— Так, — чешет голову Кармело.

— И уже метров за сто, перед молом, резко влево! А тут у тебя перед носом эта чертова олива! — орет англичанин.

— Да причем здесь барка! — орет карабинер. — Ты же ездишь на синей Ланче!

— Вот именно! — орет англичанин. — А какого черта тут олива! Ведь когда я иду на барке, я думаю о девушках, ветре и выпивке! А когда еду на Ланче — о море, девушках и выпивке! Но никогда об оливах!

— А если проехать на Ланче между забором и оливой?.. — неуверенно предлагает Кармело.

— Забором?! — Джузеппе печально смотрит на карабинера. — Оливой?!

— Ну, да... — вздыхает карабинер. — Ведь в море нет заборов!

— И олива не в обиде, — заключает англичанин. — Оттуда и вид лучше. И мыс Капо-Ватикано как на ладони.

— Как на ладони, — кивает карабинер и машет коренастому. — Чезарио, все улажено! Давай к нам! Олива не в обиде! Сальваторе всех угощает.

Господи, если в следующей жизни мне будет суждено родиться деревом, то пусть это будет олива синьора Чезарио, которую каждую весну чокнутый англичанин Сальваторе пересаживает на гору, а по осени вкапывает обратно. Я не против. Оттуда точно вид лучше, я проверял, Господи.

Полхряка Фабио из Фазано

Мужчина с красным натужным лицом в красном плаще с капюшоном тащил на закорках половину разрубленной вдоль свиньи. И пел.

Огромное тело свиньи колыхалось в такт его шагам по щербатым плитам мостовой городка *Фазано.*

Волосатые руки синьора в красном придерживали одну переднюю и одну заднюю ножки свиньи, как держат хрупкую детскую ручку.

В отношениях человека в красном и свиньи было что-то трагически щемящее, возвышенное, выходящее за рамки обыденного, как отношения палача и жертвы: они любили друг друга.

Еще человек с красным лицом любил деву Марию, любил свою работу мясника, любил свой город.

И эта половина свиньи не грустила: она ласково терлась о щеку господина своим освежеванным телом и любовно покряхтывала, игриво подпрыгивала на могутных плечах и тыкалась одним глазом по сторонам:

подмигнула брутальной барменше Джулии из бара «Saco Caffe» напротив (барменша вполне могла бы содержать один-два притона, приторговывать черными малолетками и наркотой где-нибудь в портах Лаоса);

задержала взгляд на двух лысых красавцах за соседним столиком с длинными тонкими сигарками и бутылочками пива «Дриер»: в одинаковых лимонных поло и розовых шортах, подчеркивающих их красивые загорелые ноги — браво, свинья;

лениво скользнула по высохшему тортильему лицу вечно сидящей у своего модного салона «Винченцо&Кармела» старухи Кармелы, обвешанной с ног до головы кольцами и браслетами, гремящими на ней, как созревшие фисташки в ветреную погоду;

проводила розовую спину Пеппи, отъезжающего на салатовой «Веспе»...

и уставилась на меня.

— Ты кто? — тяжко выдохнула свинья. — Зачем тут?

Я замялся: рассказывать свинье биографию и про свою далекую северную страну — не катило... Да и похоже... — присмотрелся я — половину свиньи это не особо и тревожило...

— *Buongiorno,* — кивнул я, — Suino (так будет *свинья* по-итальянски).

— *Bon*, — ответила мне полбашки. Похоже, вторую часть слова знала отсутствующая половина головы.

— *Fa caldo* (жарко), — сказал я и для убедительности выхватил газету у сеньора за соседним столиком и стал обмахиваться.

— *Fa*, — сказала свинья и манерно пожала плечом.

«Пар костей не ломит», — хотел пошутить я, но не решился, рассматривая ее белый, аккуратно разрубленный хребет: похоже, между мной и половиной свиньи что-то складывалось...

Лысые в шортах разом потянулись взглядом к богине с веснушчатым носиком, плывущей по липким от жара известнякам улицы. «Немка или из северных итальянок», — думал я, рассматривая четырех отраженных богинь, вышагивающих в стеклах их больших солнцезащитных очков. Четко, как кремлевские курсанты на плацу. В обтягивающих розовых лосинах, инкрустированных стразами, и гепардовой расцветки коротких, до пупка с пирсингом, блузках.

И когда я повернул голову обратно, моей разрубленной свиньи не было и в помине: выбор — это жестокая вещь, особенно если это касается разрубленных свиней.

Хотя возможно, это и хряк: хряки вообще ранимые существа...

Да, скорее всего, это и был хряк! Точнее — Полхряка Фабио из Фазано.

Мандариновая птица

Он шел вдоль линии прибоя, выискивая среди выброшенных на берег пластиковых бутылей, вороха тростника, стволов пальм, вывороченных с корнем кустов цветущего дрока, брошенных с прошлого сезона сломанных шезлонгов и остовов пляжных зонтов — маленькие оранжевые мячики.

Весь бесконечный пляж от Нижней Никотеры до еле видного в дымке порта Джойа—Тауро был усыпан мандаринами.

Сотни тысяч плодов — крупных, мелких, пупырчатых, гладких, сочных, повядших, целых или обглоданных и полусгнивших — источали на солнце густой, щекочущий ноздри аромат жаркой цедры, как кулич, который пекла его бабка, Анна Сергеевна, к Пасхе. Кулич заворачивали в хрусткий крафт, и потом, освещенный в церкви на Новослободской, подбоченясь, он стоял фасонистым битюгом на столе в гостиной, истыканный свечками, в карамельных подтеках от воска, и нагло пах чудом и счастьем.

«Обычное дело — середина февраля: время штормов и урожая цитрусовых». — Он шмыгнул носом, отгоняя щекотный запах горячего воска.

Похоже, кроме Него эти мандарины никого и не интересовали. Даже смешно переваливающиеся на своих розовых палочках чайки и тяжело клюющие носом бакланы предпочитали оранжевым красавцам выброшенную на берег подтухшую рыбу или медуз.

Он сел, вывалил на песок содержимое очередных сумок и теперь смотрел в море, туда, где обычно видна Сицилия. Сицилии было не видно: туман и вообще штормило.

Очистил один плод, лизнул, надкусил и выбросил. Вкус сладко-соленый, — Он сплюнул, — как от «шипучки» из детства.

Тогда ее продавали усатые мужчины в московских табачных киосках, в пакетиках, вместе с роскошными подарочными пачками папирос «Беломорканал», гаванских сигар в дорогой упаковке и пакетов сушеных бананов в шуршащем целлофане.

Шипучку надо было высыпать в стакан с водой, тогда получался почти взаправдашний лимонад.

А если высунуть язык и насыпать на кончик белый порошок, тот начинал пениться и шипеть, как карбид в луже, и так же подванивать сероводородом, как тухлыми яйцами, — вкус абсолютного глупого детского счастья.

«...Как-то все это по-быстрому пролетело... — Он откинулся на песок и закинул

руки за голову. — Вся эта его чумная жизнь... — Размахнулся и с силой кинул мандарин в воду. — Вверх — вниз, вверх — вниз... — мысленно повторял Он, наблюдая, как оранжевый мячик прыгает поплавком в волнах. — Растаяла, как "шипучка" на языке...» Отчего-то ни горечи, ни сожаления Он не испытывал. Может быть, печаль.

Потом встал и продолжил выкладывать плоды в одном ему известном порядке. Опорожнив сумку, Он как заведенный шел за следующими мандаринами, исподволь прислушиваясь к чему-то странному, полузабытому, смешно покалывающему язык... Это *чувство абсолютного счастья* в детстве пахло еще хвоей и волшебством.

Тогда елка, купленная загодя, долго висела за единственным окном их маленькой коммунальной комнатки-пенала длинным зеленым коконом, обмотанная бельевой веревкой, а мандарины вызревали в газетном кульке на шкафу.

Мандарины мать получала на работе в новогодних наборах вместе с зелеными бананами — терпкими, вяжущими язык и на вкус напоминающими картофель, палкой «Краковской» колбасы, банкой прибалтийских шпрот и кучей ненужной всячины.

Но набор есть набор: не нравится — не бери.

Дни тогда становились длинными, как жвачка, которую они выменивали у иностранцев на ВДНХ за октябрятские значки и пионерские галстуки, купленные на деньги, выуженные в бетонном бассейне с водой под ракетой «Восток» палками с примотанным куском пластилина. Жвачку жевали потом всей шальной компанией, по очереди, пока не исчезал чужой иностранный вкус.

Но и тогда можно было, зажав кончик зубами, оттягивать хвостик и, сидя на скамейке Садового бульвара, вопить: «...В Кейптаунском порту с какао на борту "Жаннетта" поправляла такелаж...» — как мартовские коты хором. Хотя и на Садовом было классно.

Время шло, мандарины на шкафу зрели и постепенно из зеленых превращались в пахучие оранжевые ноздреватые плоды, а бананы — в желтые и ароматные луны: чудо приближалось!

И когда он прибегал с продленки, то первым делом бросал ранец на разлапистый продавленный дерматиновый диван со слониками на высокой спинке, лез на подоконник и, высунувшись в форточку, гладил колючий бок елки и что есть сил нюхал ее. Потом лез на шкаф: осторожно разворачивал газету, закрывал глаза и тыкался носом в мандаринный пупырчатый бок.... — так оно и пахло, это абсолютное глупое детское счастье...

И потом, прежде чем в жизнь его входило что-то важное и счастливое, Он, принюхиваясь собакой, чуял этот хвойно-мандариновый запах... а дурное, как ни тянул носом, — словно сыростью из подвала...

Еще снился сон.

Он сидит на залитой солнцем опушке густого леса. Под огромным деревом.

Все дерево, как новогодняя елка игрушками, увешано мандаринами.

На вершине дерева сидит большая оранжевая птица.

Вернее, он не видит ее, но она есть как ощущение счастья.

Он зовет птицу.

Птица слетает и садится рядом.

Птица нестерпимо сверкает — как солнце.

Он зажмуривается, на ощупь вскарабкивается птице на спину и, вцепившись, зарывается лицом в мягкие, пахнущие мандаринами перья.

Птица встает, делает несколько шагов и взмывает в жаркое оранжевое солнце...

Тогда Он просыпался весь шальной от счастья, и потом, все утро и даже целый день, и воздух, и все вокруг отчаянно пахло оранжевым счастьем, как пальцы, если подержать в руках пупырчатый мандарин.

Потом сон снился все реже... А теперь не снится вовсе. А от мандаринов у него стала высыпать сыпь на шее и чесаться ладони.

— Аллергия, голубчик. А что вы хотите? Обычная реакция на цитрусовые. — Дерматолог Вера Аркадиевна оправила халатик на немного полных, но еще аппетитных коленях. — Чужие нам фрукты, голубчик. Ешьте родное, вон, антоновка: и душисто, и патриотично, и пятен на шее не будет... Понятно я говорю?.. — и прописала таблетки.

Таблетки помогли. Только теперь и воздух, и все вокруг, как ни принюхивайся, пахло, как и должно пахнуть в жизни: пылью, камнем, человеческой кожей, натужной жизнью, пошлостью и бензином. «Без этой, блин, оранжевой дури... — Он цыкнул на песок оранжевой, едкой, сладко-соленой слюной... — На хрен...»

К концу сиесты его работа была закончена.

Он высыпал последнюю порцию мандаринов и сел рядом на песок.

Большой синей разлегшейся в пол моря рыбой медленно проступала из тумана Сицилия.

Задул вечерний бриз.

Он встал и оглядел свою работу.

С его ракурса постороннему глазу было бы не угадать в этих разбросанных по песку плодах очертания огромной, раскинувшей крылья птицы. «Похожа...» — Он разделся догола, аккуратно сложил вещи, сверху документы в заранее приготовленном целлофановом пакете, раскинул руки — «Оп-ля!» — и прыгнул лицом в теплые душистые плоды.

Некоторое время птица с лежащим на ней человеком была неподвижна.

Потом птица всполошилась, словно окликнули, взъерошила перья, и человек исчез.

Потом птица резко, как делают птицы, вскочила на длинные смешные лапки-палочки и стояла какое-то время, покачиваясь с боку на бок.

Потом птица сделала несколько шагов в сторону моря, взмахнула крыльями, взмыла — и растворилась, немного правее Сицилии, в пурпурном диске солнца...

Хотя со стороны могло показаться, что налетевшим порывом ветра подбросило разбросанные по пляжу мандарины и всякую ненужную ерунду, покрутило смерчем в воздухе... и просыпало оранжевым дождем в сверкающее море.

На пляже осталось пятно, как обычно от лодки, если та долго пролежала на одном месте и туда набились старые газеты, птичий помет, разный мусор и два-три ошалело таращащихся краба. Все.

Сергей Пагын

Небо плачет человеком

* * *

Воду льёшь, а она темна,
воду пьёшь, а она сияет.
Просыпается ото сна,
о тебе ничего не знает.

И целуешь её в уста,
и сияет она, покуда
постигаешь ты без труда:
человек — соучастник чуда.

* * *

Проём расплывчатый окна,
подлесок, мутная луна,
пределы дорогие...
И как сомы, в глухой воде,
плывут по спящей слободе
большие сны людские.

Из них, из памяти густой,
из вязкой ворвани ночной,
из общего замеса
сквозь бледной прачечной дымок,
сквозь пара верный тёплый клок
летит душа-невеста.

И всё, что в прошлом мнится ей,
летящей с ветром декабрей,
беспамятной и белой:
цветущий шип и певчий прах,
дождя в распахнутых дверях
смеющееся тело.

Пагын Сергей Анатольевич — поэт. Родился в 1969 году в Молдавии, в г.Единцы. Окончил филфак Бельцкого пединститута. С 2000 года — главный редактор регионального издания «Норд-инфо». Автор четырех книг стихов, в том числе «Сверчок в радиоприемнике» (2008) и «Перед снегом» (2012). Финалист и дипломант Международного поэтического конкурса имени Н.С.Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2010). Лауреат премии «Молодой Петербург» (2011). Победитель Международного поэтического интернет-конкурса «Эмигрантская лира» в номинации «Неоставленная страна» (Бельгия, 2012/13). Член Ассоциации русских писателей Республики Молдова. Живет в г.Единцы.

* * *

Глуше дождь и ветер тише
охает впотьмах.
Человек всей грудью дышит
в полноводных снах.

Ходят звёзды в них плотицей,
плавает луна.
Ничего не воплотится,
будет тишина,

будут голая ракита,
в ряске озерцо.
Но водой живой омыто
ясное лицо.

* * *

У берегов широкого заката,
где лодки мы оставили когда-то,
земную радость выбрав и беду,
горит звезда.
Горит звезда, не грея.
И я смотрю, немного сожалея,
в прозрачную немую высоту.

Они вон там — за той железной тучей,
их занесло до самых до уключин
лазурной галькой, золотым песком.
А здесь — весна...
Простая жизнь. Простая,
как глиняная птица расписная,
как старенькая лавка под окном,

как руки дочки, пахнущие вербой...
Уже слабее полыхает небо,
но лужи света рыжего полны.
И снег последний тает на асфальте.
И если бы не лодки на закате,
тогда о чём с тобой мечтали б мы?

* * *

Горе луковое. Сладкий чай.
Слово, брошенное невзначай,
покатилось дорожкой длинной.
Печь топлю и смотрю на снег.
Чем ни тешился б человек,
от рожденья помолвлен с глиной.

За дровами пойдёт, и рад —
на ресницах уж целый сад
шевелится, горя и тая...
И стоит, словно в детстве, он,
с высью ласковой обручён,
за собою вины не зная.

* * *

Сухим дымком, беспамятством ветвей,
зубчатым «кар-р», царапнувшим простор,
коротким скрипом инистых дверей,
что к ночи запирают на затвор,

зима нас приближает, не спеша,
к непознанной печали бытия.
Ну, что дрожишь, в колючий шарф дыша,
в сквозных дворах сгорающего дня?!

Пусть снег летит с соломой пополам,
пускай грозит бесславьем и бедой
зимой на откуп данное ветрам
озлобленное небо над тобой.

Ещё есть время прутик надломить,
вдохнуть весны с морозом заодно.
Как жизнь остра!
И если нам не жить —
найдёт душа насущное тепло,

прильнув к трубе, смотрящей с крыши ввысь,
в гнезде вороньем на ветле сухой
за два-три дня пред тем, как вознестись
над местностью постылой и родной.

* * *

Наши земляничные поляны,
кровь июльской вишни за щекою...
Прошлое — как ножичек карманный,
как «лимонка» с вынутой чекою.

Где спасёт, а где тебя погубит,
всё с тобой играет в чёт и нечет.
Полоснёт по сердцу, приголубит,
поцелует или покалечит.

В прошлом есть отрада и надсада.
Гости в белом или в чёрном гости,
золотое облако над садом,
плач отца на ветреном погосте.

* * *

Небо плачет человеком —
босоногая слеза
пахнет детством, пахнет снегом,
обнимающим леса.

А потом во тьме кромешной,
встав в дороге на ночлег,
одинокий, поседевший
небом плачет человек.

Сергей Пагын:

«Моя душа пустячное любила...»

Разговор ведет Елена Константинова

— «Визитная карточка» поэта — его стихи. Для вас это...

— Наверное, все стихи, написанные мной, так или иначе отражают мой внутренний мир. Точнее, стихи не просто отражают мир души стихотворца, но формируют его. Не знаю, как у других авторов, но у меня — так. В процессе творчества я пытаюсь что-то уяснить, прояснить для себя, обрести новый опыт — назвал бы его опытом полёта. Кто-то или что-то позволяет тебе просто немножко полетать. А потом во времена творческой немоты я тоскую по этим кратковременным полётам.

Мне сложно выделить какое-то одно из стихотворений в качестве «визитки»... Может быть, вот это:

Моя душа пустячное любила:
в продольных трещинках хозяйственное мыло,
оставленное кем-то на полу,
на верстаке светящуюся стружку,
щербатую, надтреснутую кружку
с чаинками, прилипшими ко дну.

Родство ли это, давнее желанье,
чтоб в замкнутой глубинке мирозданья,
где снег стоит, как в стылой бане дым,
и день проходит меж ночами боком,
предельно личным, милосердным Богом
я так же был замечен и любим?

Здесь — внимание к малым вещам нашего огромного мира, которое мне свойственно. Они становятся частью нашей жизни и разделяют нашу судьбу. Как их не любить?!

— И эти же будничные вещи-слова, «правильно поставленные» поэтом в строку, могут проявлять и неожиданные смыслы, оттенки, звучание?

— Вот именно это мне и интересно в поэзии. Головокружительную — в хорошем смысле — метафору можно создать, используя несколько простых или, как вы выразились, будничных слов, расставив их в правильном порядке. Наверное, это можно назвать высокой простотой.

Поскольку мы затронули тему слова, мне вспомнилось высказывание немецкого философа Мартина Хайдеггера о том, что прежде чем искать в слове какую-то суть, нужно прийти к слову как таковому — услышать весть, которую оно в себе несет. Слово для поэта не просто материал, который он мнет и выворачивает, чтобы слепить

стихотворение, — это нечто самоценное и самодостаточное. Оно ведет стихотворца, а не наоборот. И тогда можно прийти к чему-то новому, неожиданному.

— Нередко из суммы таких вроде бы «ничтожных» мелких многочисленных деталей, фрагментов, перемен, поворотов, движений, порой разнонаправленных, друг друга ограничивающих или даже противоречащих друг другу, складывается и какое-то большое событие, например, в отдельной частной жизни.

— Именно так и происходит. Причем не только со мной. Жизнь души чаще всего сокрыта, и только замечая, что становится событием для нас, что по-настоящему важно, что печалит или радует, мы имеем возможность как-то судить о том, что происходит глубоко в нас. И этим событием может стать какая-нибудь «ничтожная» деталь, вещь, незначительное, на первый взгляд, явление.

К примеру, несколько лет назад осенью я впервые оказался в Петербурге. Казалось бы, чем не событие в отдельной частной жизни? Умом я осознавал, что вот — великий город, удивительный, красивый, а Встречи с ним не получилось.

Приехал домой, утром пошел в огород и застыл зачарованно над цветущей капустой. Минут десять стоял. Понимаете, конец октября, всё кругом пусто, а тут такое жёлтое великолепие. И кто знает, почему именно это тронуло меня и стало событием?! Значит, душа откликнулась на это, значит, это для нее наиболее важно здесь и сейчас.

— Особо значимые события — для вас это какие?

— Мне сложно ответить на этот вопрос, у меня нет четкой шкалы ценности и значимости жизненных событий — мол, вот это важнее, а вот это менее важно. Тем более что с годами и отношение к ним меняется — то, что казалось существенным, теряет свою ценность, и наоборот...

— «И чтоб родиться, нужен звук...» Именно он «точка отсчета» всех ваших стихов?

— Не скажу, что это точка отсчета для всех стихов. Хотя порой они рождаются из «сора» обыденных, родных, домашних звуков.

— Что вам помогало или, напротив, мешало обрести свой голос, «извлечь / свою неизбывную ноту»?

— Ничто не помогало и не мешало. Я просто не думал об этом, просто старался «тянуть свою ноту»... А потом прочитал, что Бродский, написав новое стихотворение, говорил себе: «Бери нотой выше, Иосиф, бери нотой выше...» Думаю, что именно это правильно, так и должно быть — «бери нотой выше». Недавно в очередной раз посмотрел «Андрея Рублёва» Тарковского. Ведь почему мальчик, отлив такой великолепный колокол, который зазвучал, плачет и сокрушается? Вот не раскрыл ему отец секрета! Видимо, он ожидал услышать совершенно другой звон, более прекрасный, «нотой выше». Это вечная неудовлетворенность творца, его бесконечное стремление к совершенству.

Хотя справедливости ради следует сказать, что и я неудовлетворен «нотой», которую тяну. Умом понимаю, что нужно меняться, чтобы избежать однообразия, монотонности. Нельзя так долго «эксплуатировать», пусть даже найденную, свою, неизбывную ноту. Только процесс «смены шкуры» должен происходить естественно, что-то должно измениться в душе, в жизни. Мне трудно себе представить, как человек говорит себе: «Всё! С сегодняшнего дня я пишу по-другому!» Только лишь волевого усилия недостаточно.

— Одна из ваших книг названа точно так же, как самая первая у Арсения Тарковского, изданная в 1962 году, — «Перед снегом». Это совпадение случайно?

— Всё очень просто. У меня так называется ключевое стихотворение из этой книги. Оно и дало ей название. А стихи Тарковского, конечно же, очень люблю. Эта такая мощь, такой размах и такая глубина! А еще у Тарковского мне очень близка все та же тема вещей. Помните его знаменитое стихотворение:

Всё меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остаётся.
Где лампы-«молнии»? Где чёрный порох?
Где чёрная вода со дна колодца?

Где «Остров мёртвых» в декадентской раме?
Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?..

— Чем объяснить вашу склонность к ностальгии, возвращению в прошлое?

— У меня нет тоски по прошлому. Оно никуда не ушло и никуда не уходило, оно живет во мне, поэтому и возвращаться не приходится. Тем более что и поэзия дает возможность прикоснуться к нему, его ощутить.

Единственное, возникает порой чувство сожаления о том, что мог что-то сделать, но не сделал, упустил какую-то возможность.

— Воспоминания не мешают жить сегодня?

— Не то что мешают... Просто порой бывает стыдно за допущенные когда-то малодушие, слабость, страх. Хотя, наверное, это чувство человеку необходимо, чтобы всё это не повторилось в будущем.

— Ваше отношение ко времени довольно жесткое: «время — мытарь и лабазник», «время-Кощей»...

— На самом деле отношение ко времени у меня разное. Недавно прочитал статью о том, что физики сделали шокирующее открытие — объективного времени не существует. И стало быть, приходится говорить лишь о субъективном времени. А тут уже речь идет о формах нашего восприятия реальности. Естественно, формы восприятия меняются, поскольку меняются и сам человек, и реальность, его окружающая. В моих стихах ведь время — не только «мытарь», «лабазник», «Кощей», но и «мой дом,/ мой очаг,/ моя земля».

— Очаг, увы, почти забытое слово. С чем оно у вас ассоциируется?

— Помнится, у бабушки в селе во дворе под навесом стояла маленькая глиняная печка, на которой она готовила. Мы с братом любили сидеть возле этой печки. Особенно осенью, когда становилось прохладно. Именно та бабушкина печка и ассоциируется у меня с таким понятием, как очаг.

Бабушки давно нет, да и печки глиняной тоже. А ощущение очага осталось.

— Обо многих ваших стихотворениях можно сказать, что они родом из детства, которое «спит» «на синичьем пухе» «в скворечне старой прозрачным сном»:

Не припомню толком иконы той:
Иисус... и голубь... реки волна...
Пахла старость кукурузной крупой,
за окном в саду стояла зима.
Снегопад качался, и кот мурчал,
дверцу в сон открыв золотым ключом,
и с иконы голубь слетал... слетал
на больное бабушкино плечо.

Или вот это — из цикла «Обретения»:

Мальчишка с воздушным змеем.
Восторг.
Азарт рыболова.

Как будто «подсёк» и тянешь
не карпа —
целое небо.

Или еще одно — с откровенной «проговоркой»:

<...> под облаками,
тёплыми, как бабушкино молоко.

— У меня было замечательное детство, как и положено — с воздушными змеями, удочками, рогатками, духовыми ружьями и прочими «драгоценными» вещами. Ну и еще с любимыми книжками Драгунского, Крапивина, Киплинга и Джека Лондона.

— *Расскажите, пожалуйста, поподробнее, кто ваши бабушки и дедушки, родители?*

— Бабушку и дедушку по отцу я не знал. В 1941 году, незадолго до войны, семью отца раскулачили, дед умер в лагере где-то в Свердловской области, а бабушку с четырьмя малолетними детьми отправили в Сибирь на лесозаготовки, где она и умерла. Так отец с братьями оказался в детском доме. Потом учился в ремесленном училище в Новосибирске, работал на авиационном заводе. После армии вернулся в Молдавию, в родное село, где и познакомился с мамой. Папа увлекался музыкой и живописью, любил что-то конструировать, сам спроектировал и собрал деревообрабатывающий станок с двигателем внутреннего сгорания, кажется, от рефрижератора. Увлекался столярным делом, чеканкой, резьбой по дереву. А мама очень любила читать, наверное, эта любовь к книгам передалась и мне.

Бабушку по маминой линии часто вспоминаю с благодарностью и любовью. Мы каждую неделю ездили к ней в село. Я не склонен к самоцитированию, но поскольку речь зашла о бабушке, эти стихи довольно точно передают впечатления от пребывания у неё в гостях:

1

За кукурузным полем — межа;
полоска непримятой травы
да четыре сливовых дерева.

Что ребёнком я знал о Рае?
Что это сад,
в котором большой добрый Бог
привечает пришедших.

Я ложился в густую траву,
смотрел на ветки деревьев
с золотыми сливами.
Где-то блеяли овцы,
кто-то звал кого-то обедать.

На плече зудела царапина
От острого листа кукурузы.

И мне казалось,
что это и есть Рай.

2

Сумерки.
Бабушка у огромного чана
Варит повидло.

Я строю домик из ящиков,
сладко пахнущих сливой.

В ласковой глубине вечера
в ящичном домике
при свете поминальной свечи,
вынутой из калачика,
что лежал на оконце кухни,
мне было так спокойно,
как, пожалуй, не было,
никогда после...

— Многие ваши стихи («Жившей в пустынном и знойном краю...», «— Всё хорошо, мой Лазарь, всё хорошо...», «У бабушки», «...И всё-таки воде необходимо...», «Тайная вечеря», «Зачарованный волхв», «Была ль снята седьмая та печать?..»), насыщены библейскими сюжетами, а стихотворению «Зачем я вернулся? В пределе родном...» предпослан и прямой эпиграф: «Навеяно притчей о блудном сыне»...

— Ну куда ж стихотворцу без библейских сюжетов?! Это универсальная вневременная форма, которую можно наполнить уникальным личностным содержанием. В результате может получиться — а может и не получиться — приличное стихотворение.

— Но одновременно с доверием к Творцу:

Пусть моя домотканая нежность груба,
пусть и дело моё — не табак, так труба,
слово — пеплом над глинистой твердью...
Пусть и жизни, и веры — на птичий глоток,
на щенячий на светлый один коготок —
мягко небо Его милосердья, —

сквозь строки проступают отчаяние, страх и тревога за будущее:

Мне ли, рябь сотрясая, нести
всхлип огня в поднесённой горсти,
если даже не в силах найти
я приметы Твои и насечки

на вещах, что стоят по углам
бытия, где раздрай и бедлам,
где зима подступила к домам
и угрюмое что-то бормочет.
И последнее гонит тепло,
что в домовых щелях залегло,
рвётся в душу мою, как в дупло,
и никак отвязаться не хочет.

Но пытаюсь расслышать я Твой
глас призывный, ночной, горловой
не дорогой в Дамаск, а стернёй,
а травой проходя придорожной.
И хрустит под ногами ледок,
дует ветер осипший в рожок,
и Твой зов так безмерно далёк,
что услышать его невозможно.

— В человеке много чего уживается... И вера, и пропасти безверия, и многое другое. Поскольку он живой и меняется. И его стихи — соответственно.

Мне кажется, читатель порой ждет от автора определенной последовательности в плане мировоззрения, убеждений. Но раз речь идет о литературе, в частности о поэзии, то есть о жизни души человека, чудесной и непредсказуемой, то подобные ожидания не оправдываются.

— Вернемся к последнему стихотворению. Уже его первая строка: «Никого я не вправе спасать...» — звучит как отповедь тому, кто будто бы убеждает вас в обратном...

— Оно навеяно «Ностальгией» Андрея Тарковского. Помните, этот эпизод в конце фильма, когда главный герой идет с зажженной свечой в воде бассейна? Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, это акт спасения мира, его прошлого и настоящего, и будущего. И один из персонажей фильма совершает самосожжение тоже во спасение мира. Эта тема развивается и в «Жертвоприношении». Мне всё это очень близко. Конечно, я не пытаюсь о чем-либо спорить с Тарковским. Это отповедь

себе самому. Прежде чем спасать мир, нужно спасти самого себя от безверия, от ощущения заброшенности, потерянности.

— Ваши метафоры и эпитеты — тема отдельного разговора. Из запомнившихся: «сухой шиповник,/ растущий в заводи окна,/ натёрший ветвь о подоконник»; «беглый почерк над деревьями дыма»; «дрожь» веток ореховых; белеющая «в сердечной золе» «холщовая ласка» отцовской рубахи; несущийся «седым жнивьём» ветер; «жёсткое небо», плывущее «хозяйской дерюгой потёртой»; «горит» «на губах благодарных» «сумрачный мёд поэзии». А среди ваших любимых «опорных» слов — снег, дорога. И — игла: «Скользить/ за злой иглой чертополоха/ начнёт растрёпанная нить/ моей души...»; «золотой иглой» поэт пишет «знаки в тишине ночной»:

на рисовой бумаге пустоты,
на глади расколдованной воды,
на шёлке неба, на холсте снегов,
на тонкой кальке предрассветных снов...

И ценны для вас, если не ошибаюсь, именно «стихи с иголочкой внутри»...

— Основная задача — оставаться самим собой. Других задач у поэта нет, даже по отношению к читателю. Что же до «иголочки» — в настоящих стихах она есть. Будь то иголка инея, чертополоха, света, смерти. И тогда стихи могут кольнуть, царапнуть.

— Зачастую в вашей «палитре» узнаются брейгелевские краски. И чуть ли не те же, несмотря на разницу во времени и географию, сельские «сценки». А одно из стихотворений, что вы и не скрываете, написано по картине «Пасмурный день» великого фламандца:

Слышу скулёж собачий, петуший крик,
где-то скрипит телега неторопливо.
Тёмен осенний полдень, как сей мужик,
что обрезает ветки корявой ивы.

Лишь белеют: рубаха его жены,
собирающей рядом сырые прутья,
да гуляки подвыпившего штаны,
да стена, выступающая из мути.

Задремала душа и устала плоть.
На ночлег мне проситься покуда рано,
чтобы слышать потом хозяйское: «Борова заколоть
надо бы к Покровам, вставить вторые рамы...».

Словно воловья шея, воздух складчат, тяжёл...
Спит пространство — в утробе его, мерцая,
лишь листва ворочается, усыпая дол,
и вода дрожит дождевая.

Весьма схоже, с позиции горожанина, и восприятие грубоватого деревенского уклада. Дело, понятно, не в насмешке над «бескультурьем» и тем более не в снобизме, не так ли?

— Во-первых, хотя стихотворение и навеяно «Пасмурным днём», у Брейгеля эта картина из весеннего цикла. На ней изображена ранняя весна. У меня же — осень. Вот такая уж совсем вольная интерпретация.

Во-вторых, я не считаю себя горожанином, а просто описываю тот мир, в котором живу, который меня окружает. Наш город очень маленький, и его жители, за исключением жильцов квартирных домов, ведут вполне сельский образ жизни: у них есть огороды, участки земли за городом, где они выращивают овощи, есть небольшие сады. У меня, например, возле дома растет виноград, в этом году получилось сделать около шестидесяти литров вина. То есть всё это мне очень близко, и здесь нет никакого взгляда со стороны, тем более снобизма или чего-то ему подобного.

— Конечно же, вы помните рисунок того же Брейгеля Старшего, где изображены двое — «Художник и знаток». Последний, сжавший кошелек и с ухмылкой наблюдающий за работой живописца, охарактеризован так, кажется, не без иронии. Тема достоинства художника вам близка?

— Я живу в основном среди людей, которые не пишут стихов и мало интересуются поэзией. Для меня это не трагедия. Просто так сложилось. У них тяжелая жизнь, куча своих проблем, свои радости и горести, которые являются и моими. И я не лезу к ним со своими стихами, и вообще стараюсь не афишировать свою «страсть к сочинительству». Более всего далек от меня культ творца, поэта и тому подобная дребедень. И мне не совсем ясно, чем отличается достоинство художника от обычного человеческого достоинства.

— Однако для окружающих вы как человек творческий все-таки чужак? Не о том ли в вашем стихотворении «А ты живи в согласии с зимой...»? И в уже упомянутом:

Зачем я вернулся? В пределе родном —
сутулые люди, накрыты рядном
тяжёлой и серой печали.
Как будто бежали все ночи и дни
за пёрышком Божьего света они —
и вдруг бесконечно устали...

— Но ведь лирический герой не слишком отделяет себя от них. Там есть продолжение:

Зачем я читаю по блёклым глазам
их снулые мысли, когда я и сам
истлел, как сырая шерстинка?
И если и был свет за костью грудной —
в труху он источен вином и виной,
наждачной бумагой суглинка.

У меня — повторюсь — нет ощущения, что я чужак и непонятен окружающим. Напротив — есть чувство причастности к миру, в котором живу.

— Приоритет творчеству или семье, детям, «включение» которых в стиховую ткань для вас — само собой разумеющееся: «Дети в траве — Елена и Александр...», «— Папа, может, хватит, пойдём домой...», «Замиранье. Тайна...», «Дочь оживляет глиняных полых птиц...»? Похоже, вы и сами спрашивали себя об этом, и не однажды?

Может, не бить тревогу, а тихо жить —
Просто растить детей, поливать капусту,
Слушать прогноз погоды и говорить,
Что абрикосов в этом году негусто...

Утром полоть бурьян, ожидать дождя,
Ночью писать стихи о небесном свете...

— Нет, не спрашивал... Как-то всё сложилось естественным образом, стихи стали частью моего домашнего быта. Заметьте, в этом стихотворении написание стихов поставлено в один ряд с простыми домашними делами. Поэтому о каком-либо выборе и речи нет.

Тут о другом... О хрупкости человеческой жизни, которую я всегда ощущаю, о тревоге и страхе перед неизбежным. По-моему, у Камю есть мысль о том, что каждый из нас однажды переживает свою ночь в Гефсиманском саду. Так вот здесь об этом...

— Вы по натуре путешественник или домосед?

— Домосед, однозначно. Путешествуя, я почему-то чувствую себя неуютно, и поэтому пропускаю многое из того, чем можно и должно восхищаться.

— В чем смысл в наши дни странствовать с чемоданом в руках? Виртуально, не сходя с места, вмиг можно оказаться в любой точке мира.

— Наверное, люди ищут новых впечатлений, которых они не находят в обыденной жизни, кто-то «коллекционирует» фотографии разных стран, кто-то делает селфи, а кто-то ищет Встречи с «гением» того или иного места, а в результате встречается с самим собой или с другим человеком, но тоже в конце концов — с самим собой. Именно последняя категория «путешественников» мне ближе всего, во всяком случае мне понятны их мотивы. А виртуально я готов пространствовать, и странствую ежедневно, открывая для себя что-то новое в поэзии, живописи, музыке.

— Что, на ваш взгляд, сегодня интересного на литературной карте Молдовы?

— Есть много талантливых, ярких авторов. Это Михаил Поторак, Леонид Поторак, Олег Краснов, Олег Панфил, Юрий Гудумак, Олеся Рудягина, Татьяна Некрасова, Александра Юнко, Вика Чембарцева, Ирина Ремизова, Наталья Новохатняя и другие замечательные прозаики и поэты. У меня нет возможности перечислить всех, поэтому да простят меня мной не упомянутые. Многие их них публикуются в серьезных литературных изданиях в России и в других странах ближнего и дальнего зарубежья. Являются победителями многих престижных литературных конкурсов. Издают книги. Вот совсем недавно с помощью Министерства культуры Республики Молдова изданы книги Татьяны Некрасовой и Леонида Поторака, а также книга «Белое пятно» — сборник малой прозы молдавских русских авторов периода 1989—2005 годов.

— В книжных магазинах Молдовы книги российских писателей — редкость?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Дело в том, что в маленьком городке, в котором я живу, сейчас, к сожалению, нет вообще книжного магазина.

— Никогда не было или закрыли, как это сплошь и рядом происходит и в российской провинции?

— Был один, но несколько лет назад его закрыли. Печально, но это так...

А в Кишинёв я выбираюсь довольно редко, да и то только для того, чтобы встретиться со своими друзьями — творческими людьми, общение с которыми мне необходимо.

— Вы достаточно регулярно публикуетесь в российских толстых литературных журналах: «Дружба народов», «Знамя», «День и ночь», «Москва», «Дети Ра». И все же не чувствуете ли себя оторванным от русской культуры, русского языка?

— У меня нет такого чувства, да и не было никогда. Существуют книги, журналы на русском языке, Интернет. Всё это создает единое русское литературное пространство, частицей которого я себя ощущаю. И самое главное — люди, живущие русской культурой. Пока, слава богу, их достаточно в Молдове, хотя с каждым годом становится меньше и меньше.

К примеру, мы с моими друзьями — замечательным музыкантом, композитором Борисом Амамбаевым и удивительным писателем Михаилом Потораком — время от времени организовываем литературно-музыкальные вечера в Кишинёве. На них приходят люди самых разных национальностей, но их объединяет одно — любовь к русской литературе, к русскому слову, уж простите за пафос.

— Каково быть русскоязычным поэтом в бывшей советской республике, а теперь отдельной независимой стране?

— Не знаю... Можно жить полноценной творческой жизнью где угодно. Честно говоря, я не зацикливаюсь на этом. Просто не так уж и давно все мы жили в одной великой стране. Она прекратила свое существование, но ведь люди-то остались — люди, близкие друг другу по духу, по культуре, по мировосприятию. Мы продолжаем общаться друг с другом.

— Выходит, Ассоциация русских писателей Республики Молдова, в которую вы

входите, — это своеобразная резервация тех, кто продолжает писать по-русски и внутренне связан с Россией?

— Я категорически не согласен со словом «резервация». Ассоциация русских писателей Республики Молдова, которую сейчас возглавляет поэт Олеся Рудягина (кстати, лауреат «Русской премии» в 2010 году «За вклад в сбережение и развитие традиций русской культуры за пределами Российской Федерации»), абсолютно открытая организация. В нее может вступить любой талантливый человек, пишущий на русском языке. Ассоциация тесно связана с Россией, с Российским центром науки и культуры в Республике Молдова, с различными российскими литературными организациями. Осуществляются совместные проекты, проводятся поэтические фестивали, творческие встречи, мастер-классы с участием известных российских писателей и поэтов, редакторов и издателей.

В июне прошлого года, к примеру, под эгидой Ассоциации состоялся очередной международный фестиваль «Пушкинская горка», приуроченный ко Дню русского языка. В Кишиневе и в селе Долна, известном тем, что в нем, в усадьбе семьи Ралли, около двух месяцев во время своего пребывания в Бессарабии жил Александр Сергеевич Пушкин, состоялись пушкинские чтения, турнир поэтов и чтецов и другие мероприятия.

Кстати говоря, Ассоциация русских писателей республики издает толстый литературный журнал «Русское поле». В нем публикуются произведения как молдавских авторов, так и писателей и поэтов ближнего и дальнего зарубежья.

— Подойдем к тому же вопросу с другого бока. Почему, окончив в 1991 году филологический факультет Бельцкого педагогического института, вы вместо школы пришли в районную газету?

— После окончания института я получил направление в одну из школ города Бендеры. Пока размышлял над тем, ехать ли в Бендеры или устроиться учителем где-нибудь поближе к дому, в Приднестровье началась война. Ну а потом мне предложили работу в районной газете в качестве корректора и журналиста. Так я и оказался в журналистике.

— Возглавляя с 2000 года «Норд-инфо» — газету северного региона Молдовы, вы вряд ли в стороне от общественно-политических проблем, обсуждение которых выходит за границы этой страны. Насколько, на ваш взгляд, состоятельны опасения по поводу того, что прозападный курс Молдовы не исключает ее поглощения Румынией?

— В этом лучшем из всех возможных миров может произойти всё что угодно. Хотя, по моему мнению, сценарий объединения Молдовы и Румынии маловероятен. Подавляющее большинство молдаван против его реализации. У Молдовы своя история, которая гораздо древнее истории Румынии, свои ценности и традиции, своя культура. И люди это осознают. И потом, молдаване в силу исторических причин всегда тянулись к России, и пророссийские настроения здесь всегда были очень сильны. Достаточно сказать, что не так давно у нас в республике неправительственная организация «Барометр общественного мнения» проводила социологический опрос по поводу президентских выборов. Так вот, если бы Путин стал кандидатом в президенты республики (понятно, чисто гипотетически), за него проголосовали бы более шестидесяти процентов жителей Молдовы. То есть вашему лидеру молдаване выражают максимальное доверие. Наверное, это о чем-то говорит?

— Предположим, что молдавский или румынский язык — впрочем, лингвисты считают, что эти языки фактически идентичны, — вытеснят русский. Что тогда?

— У нас о языке спорят все кому не лень — и лингвисты, и историки, и политики, и соседи по подъезду. Думаю, что этот вопрос нарочно раздувается, чтобы отвлечь население от более насущных проблем, разрешая которые, люди начинают задавать власти очень неприятные и неудобные вопросы.

Если Молдова не станет частью «великой Румынии», то у русского языка у нас

есть еще какое-то, пусть и весьма неопределенное, будущее. Хотя стоит отметить, что он уже полностью вытеснен из официальной сферы республики и выполняет функцию языка межнационального общения. Дело в другом — носителей русского языка, независимо от их национальной принадлежности, у нас становится все меньше. Да и вообще, чуть ли не половина населения навсегда покинула республику в поисках лучшей доли. И этот процесс продолжается. У нас закрываются школы и детские сады, села практически вымирают. Это настоящая катастрофа! Если так будет продолжаться и далее, то лет через пятьдесят в Молдове не только будет некому говорить по-русски, здесь некому будет жить.

Если говорить обо мне, то прекрасно сознаю, что в России со своим филологическим образованием и без гражданства я никому не нужен, никто меня там не ждет. Остается только надеяться, что в будущем что-то изменится в лучшую сторону. Куда без нее, без надежды?! Надо жить дальше.

— *Что подразумевает, опять же по вашим словам, «каждодневное мужество»:*

Каждодневное мужество жить —
сигарету искать по сусекам,
дымоход почерневший чинить,
пить вино с овдовевшим соседом,

видеть гулкие горькие сны,
плакать в них, ощущая потерю,
утеплять в ожиданье зимы
пересохшие окна и двери,

всё латать прохудившийся быт,
где, дымя ввысь трубой обветшалой,
трёхоконное время стоит
над провалом...

— Ну да, это мужество, которое мы не всегда осознаем. Но оно нам необходимо — жить, несмотря ни на что, над бездной, над провалом, на грани.

Олег Хлебников

Три отца и много дядек

Фрагменты документальной повести

Это мне сказал старый, но не очень частый друг. Он пришел после смерти близкого мне человека, последовавшей через две недели после смерти (уж простите тавтологию) моего отца. Я был никакой, что выразилось в бурном потоке сознания, который я выливал на друга. И в этом потоке все время мелькал третий, знаменитый поэт, полюбивший моего отца и друживший с тем близким мне человеком.

— Так у тебя было три отца! — воскликнул мой любящий гиперболы друг.

Конечно, это преувеличение, но...,

Первый и второй

Знакомство моего кровного «первого» отца (а еще я буду называть его Парень, как всегда и никак иначе называл его мой дед) произошло со «вторым» в Москве, куда я к тому времени переехал, в пятикомнатной писательской квартире «второго» (не буду играть в катаевский «Алмазный венец», сразу скажу, что речь идет о Давиде Самойлове). Я там проживал. Парень приехал навестить сына.

Самойлов в то время жил в основном в Прибалтике, но часто наезжал в Москву, и — начинался праздник.

Гости приходили почти каждый вечер.

Сухая строгая старуха Лидия Корнеевна Чуковская, которую ДС, кажется, немного побаивался. Мрачновато-остроумный и тоже строгий в отношении вредных привычек хозяина Зяма Гердт (почти все его так называли, а он не возражал). Узнаваемо-красивый и внимательный к каждому слову мэтра Михал Михалыч Козаков. Веселый и находчивый Юлий Ким. Знаменитый редактор поэзии и родственник Самойлова по первой жене, высокий и породисто-красивый Виктор Фогельсон. Обаятельный и умный Алик Городницкий с милой и яркой женой Аней Наль, признанной ученицей хозяина дома. Еще парочка его так называемых учеников (ДС нравилось чувствовать себя окруженным учениками, мне же он говорил, что я не его ученик, а Слуцкого). Потрясающий переводчик и глубокий человек Анатолий Гелескул. Тогда еще широко известный только в узких кругах пристальный и веселый филин Игорь Губерман, которого Второй в свое время у себя прописал, чтобы тот не

Хлебников Олег Никитович родился в 1956 году в Ижевске. Окончил Ижевский механический институт (1978) и Высшие литературные курсы (1985). Печатается как поэт с 1973 года. Автор 11 книг стихов. Заместитель главного редактора «Новой газеты». Лауреат Новой Пушкинской премии (2013). Живет в Переделкино.

был уж совсем безродным космополитом, да еще и бомжем. Его, Губермана, теща — невозмутимая и мудрая Лидия Борисовна Либединская — почти всегда с сигареткой, не смотри что графиня по линии Льва Толстого. Молодой тогда критик Сергей Чупринин, на которого ДС возлагал большие надежды (ну, надо же, чтобы стихи кто-то понимал!). Удивительный полковник (настоящий!) Петр Горелик, ближайший друг Самойлова и Слуцкого (Бориса Абрамовича — еще с Харькова). Конечно, Юрий Левитанский, друг-стихотворец и сосед по дому, угнетенный в те годы бытовыми заботами по воспитанию и кормлению трех маленьких дочерей. Еще три-четыре академика, некоторые из которых не производили впечатления умных людей... Всех не перечислить.

Когда Самойлов приезжал в Москву, Москва сама к нему приходила.

Обилие знаменитых друзей Давида Самойлова не мешало мне приводить в дом и моих товарищей (это слово, замаранное советской властью, на моих глазах успешно возрождал Юра Щекочихин — один из самых близких моих друзей-товарищей, хотя и немного дядька). К ним Самойлыч относился внимательно и радушно, как подобает относиться к друзьям сына. Тем более внимательно и радушно он отнесся к моему кровному отцу.

Тот приехал в столицу как настоящий провинциал: с банками своего меда и маминого варенья, но без провинциальной гордыни.

В первый же вечер состоялось обильное застолье, на котором хорошо помню Левитанского. По тому факту, что в какой-то момент Юрий Давыдович запел свою песенку про лотерейный билет, который «за 30 копеек всего», а потом и любимую русскую народную «Когда станешь большая, отдадут тебя замуж...», можно судить, как долго длилось застолье. Очень долго.

Одной из главных тем разговора был сталинизм.

Отец Парень рассказал про свою старшую сестру Евдокию (для меня Тетьдусю).

Она ушла на фронт добровольно. Поскольку хорошо знала немецкий, служила переводчицей при штабе полка. Попала в плен из окружения, была отправлена в Германию. Там работала на какого-то «бауэра». Бежала с еще двумя русскими. Их поймали (подвела выпечка на подоконнике открытого окна дома в немецкой деревне — голодные были, не удержались). Попала в Дахау. Освободили американцы, предлагали поехать в Штаты — отказалась. В результате — и это уникальный случай! — довоевала в той же части, из которой попала в плен (его обстоятельства были абсолютно прозрачны). Вернулась уже из Болгарии победительницей. По дороге домой познакомилась с раскрасавцем-гармонистом. Влюбилась. Но его «выявили» как «власовца» (за то, что состоял в армии этого генерала, но не в РОА, а еще в той — Красной, Власов же был даже любимцем Сталина). Красавец-гармонист бесследно исчез. А вскоре взяли и ее. Отправили на Колыму. Говорила, что в Дахау было лучше.

— Но после лагерей она вышла замуж, — закончил рассказ отец Парень, — и сумела родить двоих детей — вот настоящий подвиг!

Самойлов внимательно слушал, влажнел глазами, сказал, что это целый роман, и заговорил о том, как они, молодые поэты, попавшие на фронт со студенческой скамьи (ИФЛИ и Литинститута), относились к Сталину:

— Почти никто ничего не понимал, кроме, разве что, Бори Слуцкого.

А когда вождь народов умер, собрались своим уникальным кругом, где не оказалось ни одного стукача, и сидели в растерянности.

— Вдруг прибежал Женька Винокуров. Он прыгал, как мячик, и радостно кричал «Подох! Подох!» И как-то сразу все стало ясно.

Тут Парень, конечно, вспомнил своего отца, который всегда ненавидел Сталина и воровскую власть, а не попал в лагеря только потому, что никогда не хотел быть даже мелким начальником.

...Кажется, именно тогда Самойлыч рассказал эту историю.

Однажды по протекции своего друга он попал на семейное торжество в дом Микояна. В тот самый Дом на набережной. Его соседкой по столу оказалась симпатичная рыжеволосая незнакомка. За которой он, натурально, весь вечер ухаживал. Потом, естественно, вызвался проводить. Оказалось — совсем не далеко. Она жила в том же доме.

Проснувшись утром, ДС увидел чуть ли не над кроватью портрет Сталина.

— А зачем ты этого усатого тут повесила? — возмущенно спросил он.

— Это мой папа... — смущенно ответила Светлана, как выяснилось, Аллилуева.

И молодой поэт испугался стать отцом внуков Сталина...

— Но мы с ней до сих пор переписываемся, — закончил Самойлов.

(Потом я узнал от его литсекретаря, что своему другу, который привел его к Микояну, он позвонил на следующий день с восторженным заявлением: «Мы его трахнули!» — «Но почему «мы», при чем тут я?» — спросил друг. «Я в это время постоянно о тебе думал», — ответил поэт.)

После такой истории Парень не мог удержаться и не рассказать семейную легенду о том, как его мать колола дрова со Сталиным.

— Вот бы топориком-то промахнулась! — мечтательно и в то же время мрачно сказал добрейший Левитанский.

Бурно обсуждали, когда Джугашвили бежал с каторги и мог постучаться в дом моих староверских предков, стоявший на отшибе деревни как раз на Владимирке, — вроде сходилось.

А ДС неожиданно добавил:

— Но нельзя забывать и о вине евреев-комиссаров перед русским народом.

Словом, на следующее утро заботливый Левитанский принес нам из своей квартиры наверху кастрюльку супчика: «Оттягивает!» Супчик все оценили. Левитанский вскоре убежал к себе дальше заботиться о дочках, а Самойлыч и Парень долго о чем-то говорили. В результате отец Парень сильно зауважал Самойлова, а тот как-то очень значительно мне сказал: «У вас замечательный папка!» Я радовался за себя и гордился обоими.

Кстати, если Левитанский был специалистом по супчикам, то Самойлов — по каше.

Маленький, седенький, полуслепой большой поэт стоял и варил ранним утром эту самую кашу. Говорил: фронтовая привычка.

Я и первая моя жена Алла-Розалия вставали позже. Видел я ДС, варящим кашу, раза три-четыре, не больше — когда не спалось. В другие дни — только пытался употребить продукт его деятельности. Он был вполне качественным, этот продукт, но я с утра могу один кофе. В общем, мало каши ел, дурак!

Семья Самойлова была непростая. Трое детей. Единственная из них дочка выросла фанаткой Пугачевой (Аллу Борисовну даже приводили в квартиру ДС — «размагнитить» дочку, не получилось). Отказалась переезжать с семьей в Прибалтику. Вот с ней мы и делили кров московской квартиры Самойлова.

Дом, где на втором этаже располагалась его квартира, был интересным. Например, в каждой квартире существовала маленькая темная комнатка, предусмотренная под библиотеку. Но как библиотеку ее использовали отнюдь не все. Например, Николай Николаевич Озеров, воистину народный артист и знаменитый спортивный комментатор, прославившийся фразой «Такой хоккей нам не нужен!», мудро сделал там бар.

К услугам этого бара прибегали, зная доброту Николая Николаевича, почти все многочисленные писатели-соседи, особенно после вступления в силу антиалкогольного закона 1985 года. А лично я испытывал на себе его (не закона) доброту несколько раз в лифте, куда пропускал Николая Николаевича, уже грузного, одышливо говорящего, с палочкой, а он всегда успевал первым поздороваться — знал, что его все знают. И непременно спрашивал: «Как ваши детки?» «Прекрасно!» — отвечал я, хотя никаких деток у меня тогда и близко не намечалось. Потому, наверно, им и было прекрасно.

Я и сам тогда по инерции все еще ходил в детках.

Дядька Слуцкий и белый негр

В «Комсомольской правде» прежних времен, в «Алом парусе», страничке для подростков, кроме всего прочего публиковались стихи. Письма с рифмованными опытами начинающих приходили сюда мешками. Тогдашний капитан «Алого паруса» Юрий Щекочихин рассказывал, что Борис Абрамович Слуцкий ходил к ним в комнатку на знаменитом 6-м этаже, как на работу, — интересовался, что пишут «маленькие» (еще про «маленьких» регулярно спрашивал Вознесенский).

Когда шестнадцатилетним посылал свои стихи в «Алый парус» (даже не я сам, но это другая история), я, конечно, этого не знал. И очень удивился бы, если б узнал, что мои стихи заинтересовали поэта фронтового поколения, автора знаменитых «Лошадей в океане», «Физиков и лириков». Именно на таком обывательском уровне я знал тогда поэзию Слуцкого. Это позже, года через три Александр Петрович Межиров дал мне почитать «тамиздатскую» антологию современной русской поэзии, изданную в Мюнхене. Там под именем Аноним было опубликовано огромное количество стихотворений Слуцкого, не прошедших советскую цензуру. Лучших его стихотворений.

А тогда, приехав из своего родного Ижевска в Москву, я удивился, что Юра отправляет меня именно к Слуцкому, в литературную студию, которую он вел. (Надо сказать, что студия эта существовала при МГК ВЛКСМ на общественных началах и посещали ее многие известные сейчас литераторы.)

...Скалообразно возвышавшийся над столом Борис Абрамович спросил участников литстудии, прочитали ли они за последнее время что-то интересное. Казалось, все занятие пройдет в подробных ответах на этот вопрос, но вдруг Слуцкий, прервав устное рецензирование, сказал: «Кто тут Хлебников? Выходите!»

Я почувствовал тошноту под коленками, но как-то все-таки сумел выйти. «Читайте! Только громко и членораздельно», — услышал я приказ майора Слуцкого, который в поэзии (это-то я уже тогда понимал) тянул на генерала.

Я начал. «Еще!» Я не понимал, что значит это «еще» — то ли Слуцкий хочет убедиться, что я полная бездарность, то ли оставляет мне последний шанс. «Еще».

Наконец я отчитался, но оказалось, что мой отчет еще не кончен: Слуцкий стал задавать вопросы — и о родителях, и о цели приезда в Москву, и о родстве или «однофамильстве» с Велимиром Хлебниковым... Я отвечал так подробно, как хотел бы иметь возможность отвечать на Страшном суде. Но вот допрос окончился, и Борис Абрамович обратился к своему семинару — чтобы высказывали мнения об услышанном. На счастье семинар одобрил мое существование в качестве стихотворца. Сам Слуцкий, выслушав всех, не сказал ни слова и предложил задавать ему вопросы — «только связанные с литературой».

Когда все завершилось, Борис Абрамович спросил, как мне понравилось занятие, и велел звонить по его домашнему телефону со странным дополнительным номером. А на следующее утро от ребят из «Комсомолки» я узнал, что Слуцкий продиктовал им вступительную статью к моим стихам. Боюсь, что долгое время потом никто не говорил о них ничего более существенного (только позднее — Станислав Борисович Рассадин)...

А потом я стал получать от Слуцкого приказы: прочитать то-то, отправить стихи туда-то. Оказывается, он ходил по журналам и «пропагандировал» меня, в сущности, нахального мальчишку из провинциального города.

Такая армейская детерминированность в литературе мне столь понравилась, что со звонками Борису Абрамовичу я начал явно перебирать. Однажды почувствовал некоторую отрывистость в его ответах и только спустя время узнал, что в те месяцы у него умирала горячо любимая жена Таня, которую он всеми силами пытался спасти.

До сих пор стыдно за те неуместные звонки.

А последний мой телефонный разговор со Слуцким был предельно лаконичен. Я знал, что он болеет и живет в Туле у брата, инженера-оружейника, но все-таки решил поздравить его с днем рождения. Слуцкий поблагодарил и, извинившись, сказал, что болен и ни с кем не общается.

Так закончилось и мое общение с одним из самых замечательных людей из тех, с кем посчастливилось встретиться, и, быть может, самым крупным поэтом, с которым меня свела благосклонная судьба.

Для молодых поэтов он был настоящим дядькой — в том понимании этого слова, которое существовало в девятнадцатом веке. Наверно, и поэтому Давид Самойлов говорил мне, что я не его ученик, а ученик Слуцкого. Впрочем, говорил и о моей к нему эстетической близости.

Но первым настоящим поэтом, которого я увидел воочию, был все же не Слуцкий, а Аронов.

...Мы умеем не замечать. Даже замечательного не замечаем.

Рядом с нами жил, и не тихо, а в последние годы издавался, больше того — печатал свои стихи в своих же колонках одной из самых тиражных газет страны — «МК» — большой русский поэт, ни на кого не похожий, пронзительный, добрый и мудрый (да-да!), а мы...

Вроде бы и цензуры нет. Политической (в литературе). Зато никуда не деться от корпоративной, работающей по простенькому принципу военных самолетов: свой — не свой.

И вот результат: про него всерьез не писали критики, его имя ни разу не фигурировало ни в каких long-short-листах ни одной премии, его авторские вечера не проходили в Политехе. Хотя начинал он вместе с Беллой Ахмадулиной и Андреем Вознесенским. Он сам написал:

Отсвет имени на строчке
В сотни раз прекрасней слова.
Я ничем вам не помог, мои слова.
Чтобы вам не сгинуть снова,
Не пропасть поодиночке,
Друг за друга вы держитесь, как трава.

Не помог Александр Аронов «своим словам» — следовал завету блистательного Саади: имеющий в кармане мускус не кричит об этом на улицах — запах мускуса сам говорит о себе. То есть не делал из фактов своей судьбы и своего таланта скандалов (вполне возможных), общественных истерик (вполне мотивированных).

Когда-то, в 60-е, он по просьбе своего товарища, будущего диссидента Алика Гинзбурга, отдал стихи в его самиздатский журнал. И они там вышли. В частности, такие:

Среди бела дня
Мне могилу выроют.
А потом меня
Реабилитируют.

Спляшут на костях,
Бабу изнасилуют,
А потом — простят,
А потом — помилуют.

Скажут: срок ваш весь,
Что-нибудь подарят...
Может быть, и здесь
Кто-нибудь ударит.

Будет плакать следователь
На моем плече.
Я забыл последовательность:
Что у нас за чем.

И после этого Саша Аронов стал неиздаваемым, опальным. Но — никогда «не кричал об этом на улицах». И не стал одной из знаменитых жертв режима. Которых впоследствии все-таки благодетельствовали.

А повезло ему, наверное, — два раза.

Песня на его стихи, которую давно пели на московских кухнях — с другой мелодией, — стала известна и любима всеми, уже с музыкой Таривердиева, после триумфального выхода на экраны «Иронии судьбы». «Если у вас нет собаки...» — пел Мягков, «Когда у вас нет собаки...» — обожая эту стилистическую неправильность, пели мы как гимн московской андеграундной интеллигенции.

Потом Саше, отнюдь не с первого раза, повезло с женой. Сначала у него были две жены, но как бы и четыре: первая-третья и вторая-четвертая. Вот так он женился, разводился и снова женился. Но потом...

Когда-то он учил ее литературе в школе. Прошли годы. Она, ярко-красивая брюнетка, художница, встретилась ему снова (после второй-четвертой), и оказалось, что ее детская любовь по-прежнему жива. А то, что у нее рос сын, стало огромной радостью. У Саши (как и у Слуцкого) не было своих детей. Он любил и воспитывал Таниного сына. Тот сейчас куда более известен, чем Саша. Это прекрасный актер Максим Суханов.

Я не знаю, какую роль в становлении Максима как актера сыграл Александр Аронов. Но убежден: что-то он ему про жизнь объяснил. Иначе откуда такая зрелость проявилась в артисте уже с младых ногтей, такое знание того, что он вроде бы не может знать? Талант? Ну, конечно, но талантам, как известно, надо помогать...

Саша помогал многим. Ему — почти никто. Не имея ни одной своей собственной книги почти до 50 лет, он любил чужие удачи и щедро напутствовал и печатал в «Московском комсомольце», где проработал полжизни, тогда еще молодых поэтов: Александра Еременко, Ивана Жданова, Андрея Чернова, Евгения Бунимовича, меня...

Мы не успели его отблагодарить. Хотя любили и любим Сашу, Александра Аронова, и его стихи.

...И, да, он был первым настоящим, «взрослым» поэтом, которого я увидел в свои семнадцать лет.

Тогда «Московский комсомолец» располагался на Чистых прудах. Про Аронова я уже знал: несколько его стихотворений и песен на его стихи, самозабвенно перевираемых исполнителями-журналистами на московских кухнях. Причем, если Окуджаву, Галича, Высоцкого и Кима пели практически на всех этих населенных тараканами островках свободомыслия, то Аронов был только нашим, паролем и гордостью нашего островка (впрочем, разраставшегося в пространстве, благодаря в том числе и многочисленным журналистским командировкам).

Это потом уже, позже, его «собаку», которую «не отравит сосед», принялась каждый Новый год петь в дуэте с Мягковым вся страна.

В общем, шел я в ароновский кабинет с благоговением. А увидев Александра Яковлевича (который очень вскоре стал и для меня просто Сашей), был потрясен.

Передо мной сидел белый негр. Кучерявый, широконосый, губастый. И тогда — между прочим — даже грациозный, как-то опять же по-эфиопски.

Сидел он в комнате со своим другом, интеллигентным и суховатым Вадимом Черняком, похожим на актера Тихонова в фильме «Доживем до понедельника». «Они сошлись — волна и камень...» Волной, конечно, был Аронов.

Вот вдвоем они и стали разбирать мои полудетские стихи. Черняк говорил преимущественно о неточностях, а Аронов... В общем, он объяснил мне меня — к тому же в какой-то потрясающей и до сих пор, конечно, не достигнутой перспективе.

Уходил я только из их кабинета, а дальше — летел. И мокрый снег на Чистых прудах казался сказочно-новогодним, как — ну та же «Ирония судьбы...», еще не снятая тогда. И в голове крутился волшебный ароновский «Чистопрудный вальс»:

Развернется трамвай или, можно считать,
Все вокруг развернет.
И отпрянет от стекол примет нищета —
Этот снег, этот лед,
Промелькнут апельсины в усталой руке,
А на том вираже
Тонкий девочкин шарф на наклонном катке,
Улетевший уже...

И тут же, буквально за пятнадцать минут «в голове» написались собственные, но в каком-то смысле «ароновские» стихи:

Подтолкну его беспричинно
и запомню, что
где-то рядом идет мужчина
в длинном, выгоревшем пальто.
Он снимает пальто в столовых.
Здесь, общительным становясь,
сообщает для посторонних,
что, мол, вешалка порвалась.
И с улыбкой — ее не принял
гардеробщик, взявший пальто,
входит в зал...
Эй, конторский Винер,
писарь, клоун из шапито!..
Кто бы ни был, на жизнь не ропщет —
не косился бы гардеробщик.

А Черняк с Ароновым остались в кабинете и, очень возможно, продолжили пополнять собрание сочинений своего Козьмы Пруткова — Ивана Макаровича Гныпы, бывшего гэбиста, начавшего писать стихи (дабы скрасить их редакционные будни) только после выхода на пенсию и устройства на работу швейцаром в ЦДЛе. Что они тогда сочинили? Может быть, это:

Как говорил еврей из Армавира,
Однофамилец Байрона — Гордон,
Пардон, но будешь ты царицей мира,
А если нет, то все равно — пардон.

Или другое, «Философское»:

Вот гражданин, в трамвае едущий.
Наверно, он сойдет на следующей.
А тот, по улице идущий,
Уже сошел. На предыдущей.

...Саша Аронов сошел на предыдущей остановке, а мы продолжаем куда-то ехать. Нам без него хуже, скучнее, холоднее.

Смерть Аронова задела не только его родных, друзей и поклонников стихов. Милиционер у бразильского посольства, стоящего напротив Дома литераторов, где проходила панихида, спросил меня, кого хоронят. И когда я пробормотал дорогое мне имя и уже приготовился ссылаться на «Иронию судьбы...», чтобы служитель порядка хоть что-то понял и не придирался к не совсем правильно припаркованной машине, неожиданно заговорил сам. Сказал, что такого искреннего и доброго журналиста больше не знает, что всегда читал его колонки в «МК»... И разрешил оставить машину в неположенном месте.

Милиционеру повезло меньше, чем мне, — он знал Аронова только по газете.

Ну, собственно, о том, как мне повезло, — все, что я здесь пишу...

Крутой маршрут:
Пермь — Таджикистан — Болгария

Аронов, у которого в его сорок с лишним не было книги, несказанно обрадовался моей, вышедшей ровно к моему двадцать первому дню рождения.

Как получилось, что в самые застойные годы меня так рано издали?

В начале 1976-го вышло постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью», ну, что надо ее выращивать и воспитывать в духе. А тут как раз зональный семинар молодых писателей Урала и Западной Сибири в Перми. И меня на него от Ижевска послали. Но в Перми тоже легко могли послать — в более вульгарном смысле этого слова.

Дело в том, что после громкой публикации моих стихов с предисловием Слуцкого в «Комсомолке» ижевские писатели меня невзлюбили. Да еще в его статье содержалась такая фраза: «В Ижевске, в российской поэзии до сих пор мало отмеченном, появился...» Ну и т. д. Местные писатели обиделись и сочинили в «Комсомолку» телегу. Знаю о ней, потому что она попала в руки Щекочу и он мне ее зачитал.

Была и другая акция. Зональным совещаниям молодых тогда предшествовали областные, краевые и республиканские (как бы отборочные перед зональными). В Ижевск на такое совещание пригласили завотделом поэзии журнала «Урал» по фамилии... Впрочем, она легко, путем замены двух букв на одну, переделывалась в Шкуро. Так его все за глаза и звали. Очевидно, кто-то из местных писателей попросил Шкуро поставить на место зарвавшегося мальчишку, и он это с удовольствием сделал.

Было у меня такое вполне юношеское стихотворение:

Когда над городом встает
час благодушия людского
и месяц кажется подковой,
повешенной на небосвод,
тогда иду я по пустым
туманным улицам и паркам,
кажусь полуночным гулякам
и триединым, и хромым.
Со мной живое существо —
худая деловая кошка.
Кто в жизни смыслит хоть немножко,
поймет: и это ничего.
Нелегкий звук моих шагов
сквозь дрему слышат горожане,
неплотным тюлем ограждая
права на отдых и любовь.
Никто из них меня не ждет,
я с ними лишь заочно дружен.
А кошке вот зачем-то нужен —
не зря бежит не отстает.
За это дам ей молока,
поглажу, постелю в прихожей.
И постараюсь быть похожим
на старого холостяка...
А утром улицы займут
встревоженные горожане,
всегдашней спешкой выражая
права на замкнутость и труд.

Вот на этот-то стишок Шкуро и обрушился. Причем на итоговом заседании. Он обвинил меня в упаднических настроениях. И сказал буквально следующее (на всю

жизнь запомнил): «Советской поэзии свойственно писать о собаках — вот, например, Есенин, а не о каких-то там сомнительных кошках! И неизвестно еще, куда эта кошка заведет начинающего автора...» (С этим высказыванием по поводу меня сравнима, по-моему, только более поздняя резолюция цензора на моем снятом из литературного приложения к молодежной газете «Кубике Рубика»: «Аллегория какая-то, пародия на советский образ жизни».)

В общем, как это называлось тогда, меня разгромили. Даже указали местным идеологам и надзирающим органам, на кого надо обратить особо пристальное внимание. Какое уж тут зональное совещание молодых!

Но республиканским отделением Союза писателей тогда руководил удмуртский поэт Флор Васильев, птица куда более высокого полета, чем остальные местные труженики пера и идеологи, настоящий интеллигент (между прочим, хорошо играл на скрипке). Вот он-то исключительно своей волей и направил меня в Пермь.

Но сначала — сейчас это звучит дико — надо было получить напутствие в идеологическом отделе обкома комсомола. Напутствие оказалось странным. Светловолосая комсомольская богиня (вот неблагодарный — не помню ее имени) велела мне обязательно захватить с собой свою рукопись. «Зачем? — удивился я. — Ведь Союз писателей отправил в Пермь два экземпляра, которые я им принес...»

«Обязательно возьми», — настойчиво повторила благосклонная ко мне комсомольская богиня.

Если б я ее не послушался, никакого обсуждения моих стихов на семинаре просто бы не состоялось. Потому что посланные Союзом писателей экземпляры были потеряны. Или вообще секретарь, которому это было поручено, никуда ничего не отсылал? И значит, не было бы ни рекомендации зонального совещания уже на всесоюзный фестиваль молодых, ни первой книжки.

Откуда про возможность такого варианта знала комсомольская богиня? Ну, на то она и богиня...

В Перми я попал в семинар к Марку Соболю и Алексею Смольникову. Про Соболя я знал, что он бывший политзэк, фронтовик, автор текста песни из «Последнего дюйма» со строчками «Какое мне дело до вас до всех?/ А вам — до меня?», некогда популярной пьесы «Товарищи романтики», близкий друг Михаила Светлова и сын своего отца, выдающегося писателя с трагической судьбой Андрея Соболя. Про Смольникова не знал ничего, как, впрочем, и до сих пор не знаю.

Первые два дня семинара Соболь не появлялся — приходил в себя после бурной встречи с пермскими друзьями. Но когда на третий день все же пришел (и да — Светлов совершенно точен: сначала вошли его зубы — ну, разумеется, вместе с улыбкой!), выяснилось, что зря времени в гостиничном номере Марк Андреич не терял.

Он сразу же предложил начать с обсуждения моей рукописи (той самой, которую я все же захватил с собой). Выяснилось, что он ее уже прочитал и назвал открытием семинара. (Вообще же за Соболем числится немало таких открытий, в том числе на сибирских совещаниях молодых писателей — драматургии Александра Вампилова, прозы Валентина Распутина и поэзии Толи Кобенкова).

В общем, по итогам Перми мою рукопись рекомендовали издать отдельной книжкой, а меня послали еще дальше — в Душанбе на Всесоюзный фестиваль молодой поэзии.

А с Марком Андреичем мы стали с тех пор дружить, и после рождения сына я даже жил года два в его квартире на Арбате — напротив Спасо-Хауса. (Сам Соболь обитал в квартире своей третьей жены Тани, в Кунцево, и не хотел переезжать в центр).

Но — пора лететь в Душанбе...

Только я сошел с трапа, в нос ударили пряные среднеазиатские запахи: плова, лепешек, дынь, арыков и урюков... А к самолету ринулась толпа в халатах, тюбетейках и чалмах с громкими криками на чужом и даже в крике красивом языке. Впору было

испугаться, если бы не завораживающая яркость первого впечатления. И пугаться не стоило — это таджики встречали своих дембелей.

Нас поселили в гостинице в центре Душанбе. Я тут же позвонил домой сказать, что долетел благополучно, все замечательно и экзотично, только почему-то гор поблизости нет. Это я снежные горные вершины из-за дымки, закрывшей подножья, принял за облака.

А на следующий день начались занятия в семинарах. Я попал в тот, который вел молодогвардейский редактор и стихотворец с тяжелым взглядом и русопятскими взглядами. Я понял, что делать мне на этом семинаре нечего, и стал проводить дни в туристической праздности.

Стояла мягкая осень, и было чудесно бродить по душанбинским улочкам или сидеть в чайхане с пиалой чая, слушая пение перепелок в клетках и разглядывая красивых стариков в чалмах: «Все — Омары Хайямы», — заключил я тогда.

А базар... О базар! Если вы не были на восточном базаре, вы упустили возможность побывать на другой планете без всякой изнурительной подготовки и технических сложностей. Устав есть глазами эту пестроту, яркость и изобилие, я садился у фонтанчика, мыл в нем крупный розовый виноград, покрытый патиной, и уплетал его вместе с горячей пряной лепешкой только что из тандыра. Может ли быть что-то вкуснее!

Так я проводил поэтические семинары в Душанбе. А потом было итоговое пленарное заседание, на которое я все же пошел.

Главный доклад делал руководивший всем фестивалем секретарь СП СССР по работе с молодыми, бывший блокадник Олег Николаевич Шестинский. Я слушал рассеянно, пока вдруг не услышал свою фамилию. И что же? Оказывается, я, злостный прогульщик, стал чуть ли не главным открытием фестиваля и мою рукопись высокое собрание рекомендует для скорейшего издания в серии «Молодые голоса» издательства «Молодая гвардия». Я, конечно, ошалел. А по окончании заседания ко мне подбежал фотокор «Литературки» и куда-то меня повлек за собой. Оказалось — к Шестинскому, которого поймал на какой-то лестнице. Фотокор велел нам пожать друг другу руки, и так под его вспышку мы и познакомились.

Тут надо сделать небольшое отступление. За несколько месяцев до этого события у себя дома в Ижевске и как раз после отповеди, полученной от Шкуро, я открыл «Литературку» и прочитал новый список секретарей СП СССР. Почему-то задержался на фамилии Шестинского, которого как поэта совсем не знал, а в голове мелькнуло: «Хорошо бы он прочитал мои стихи» и даже корыстное — «Вот он мне поможет». Откуда приходят такие прозрения? Все-таки время действительно не линейно и иногда (сейчас представил петлю Мёбиуса) можно заглянуть в будущее?

А потом весь фестиваль в сопровождении легендарного душанбинского гаишника, чьи черные подкрученные вверх усы были прекрасно видны даже со спины, поехал кататься по Таджикистану. Лепешки и фрукты в качестве хлеба-соли, а также бубны и танцы на каждой бензоколонке...

Ленинабад с гигантским Лениным на горе, бросающим вечернюю тень на полгорода... Исфара с разноцветными горами и замшевыми осликами в саду... Исполинская плотина на Вахше...

А на обратном пути к Душанбе мы посетили колхоз-миллионер имени товарища Хаджаева, первого председателя. Сначала нас повели на могилу товарища Хаджаева. На камне были начертаны строки из Хайяма: «Когда я пришел, все смеялись, я — плакал, когда уходил, все плакали, я — смеялся». Я зауважал товарища Хаджаева. И тут, весьма кстати, нас повели в музей его имени.

В первом зале экспонировались халат и тюбетейка товарища Хаджаева и висел его портрет. Юркий экскурсовод подвел нас к нему и пропел: «Здесь товарищу Хаджаеву 40 ле-е-ет, он весит 95 килогра-а-ам». Я подумал, что ослышался. Но во втором зале,

где экспонировались сапоги и портки товарища Хаджаева и висел его второй портрет, все повторилось, только цифры выросли: «Здесь товарищу Хаджаеву 50 ле-е-ет, он весит 107 килогра-а-ам». В третьем зале товарищу Хаджаеву было уже 55 и весил он за 120 килогра-а-ам.

Во время щедрого банкета, который в нашу честь устроил нынешний председатель колхоза, выпускник Тимирязевской академии, я решился у него спросить, почему нам упорно говорили не только об общественном, но и, так сказать, об убойном весе товарища Хаджаева. Молодой председатель холодно ответил мне: «Товарищ Хаджаев был очень солидным человеком». И тут я понял, почему хлебосольная лепешка всегда доходила до меня в последнюю очередь, а начальственные таджики меня вообще в упор не видели. Не только из-за молодости (было мне тогда 20), но и из-за тогдашней субтильности. Все это, увы, в прошлом, и молодость, и субтильность, может быть, так и остались в Таджикистане...

Во время путешествий по этой республике мы с Шестинским постоянно беседовали, и я понял, что он очень простодушный и открытый человек, которого на начальственные писательские вершины вынесла исключительно расслабленность брежневского правления, когда уже за взаимной замазанностью в подлостях устали следить. А про себя не обольщался: мои неожиданные успехи были связаны не столько с божьим даром, сколько с анкетой: действительно молодой, русский, из провинции.

Приезжая из этой своей провинции в Москву, я заходил к Олегу Николаевичу в Большой союз и рассказывал, как живу. С какого-то момента он стал предупреждать меня, чтобы я был осторожней на язык. Потом однажды сказал, что на меня пришел донос в секретариат СП: мол, говорю на выступлениях антисоветские вещи. Но тем не менее в 1981 году в Ижевске вышла моя вторая книжка «Город. Повесть в стихотворениях». Эта во многом экспериментальная книжка (о чем говорит уже ее жанр) получила большую прессу в Москве, а в Ижевске по поводу моего скромного произведения собралось бюро обкома КПСС, где выяснялся вопрос, как такой очернительский опус мог выйти в местном издательстве. Редакторша «Города» получила выговор. Кстати, выговор получила и другая моя редакторша — уже третьей книжки «Письма прохожим», вышедшей в московском издательстве «Современник» в 1982 году (из нее цензура сняла 28 стихотворений).

В общем, на все это посмотрев, Шестинский, очевидно, и решил отправить меня в Болгарию — от греха подальше.

Ненастоящая страна

Собственно, в Болгарию меня обменяли. В СССР на три месяца изучать русский язык и начинать переводить современную советскую поэзию молодых отправили молодого болгарского поэта Димитра Христова. А в Болгарию изучать болгарский и переводить — меня. Я мог себе это позволить, потому что как раз закончил диссертацию по прикладной математике (задача принятия решений, та самая, которая в жизни мне дается труднее всего) и ждал защиты.

В Софии мне назначили какую-то стипендию и поселили в общагу на краю города, где обитали в основном студенты из Нигерии.

Света в коридорах общаги не было. И своих соседей я различал, только если они улыбались. Если нет, во тьме двигалась другая тьма, на которую я иногда наталкивался. В моей комнате было разбито все: оконные стекла, зеркало, люстра. Зато почему-то стояло пианино «Август Ферстер» в прекрасном состоянии. Я сыграл на нем «Сердце красавицы» до того места, где выясняется, что оно склонно к измене, расстроился и навсегда закрыл крышку.

Болгария показалась мне страной ненастоящей. Вместо наших монументальных

граненых стаканов в забегаловках и автоматах с газированной водой здесь всюду и пиво, и кофе наливали в пластмассовые сосуды разной формы, которых в СССР тогда просто не производили. В их писательский клуб можно было пройти безо всякого писательского билета. А главное — когда я вечерами проходил мимо мавзолея Димитрова, часовые, прислонив винтовку к стенке, подходили ко мне за сигаретами! Если бы наш стоялец у мавзолея Ленина сделал что-то подобное, как вы думаете, к чему бы его присудил трибунал?

В общем, получив первые впечатления от Софии, где больше всего меня привлекли русские книжарницы, я затосковал по родине. И как-то уже не очень понимал, для чего я здесь так надолго. Но тут в Софии случилось событие, громко названное Всемирным слетом писателей, хотя участвовали в нем исключительно представители соцстран и леваки с Запада и из третьего мира. Я узнал, что в нашей делегации будет Вознесенский, и обрадовался. Но сразу в суете помпезного открытия Слета встретиться мне с ним не удалось. Его разрывали на интервью. И уже на следующий день в болгарской литературной газете появилась большая беседа с Андреем Андреичем, где, отвечая на вопрос о молодых талантливых в России, он назвал в их числе и меня. Причем о том, что я в Болгарии, Вознесенский не знал. Но помог! Сразу после публикации этого интервью меня переселили из нигерийской общаги в комнату с шелковыми обоями в центре Софии, где средних лет энергичная хозяйка квартиры считала своей обязанностью готовить мне по утрам душистый кофе по-турецки. Когда я рассказал об этой метаморфозе Вознесенскому, он долго смеялся.

А потом меня стали возить по Болгарии. Это очень красивая страна. Город-остров Несебр, действительно, по Паустовскому, похожий на амфору. Древняя столица Великотырново, где на твоих глазах кустари спасают от смерти старые ремесла, а река, на которой стоит город, бежит в противоположные стороны, потому что именно здесь делает петлю. Полосатый Рильский монастырь в горах, где бьют родники с вкуснейшей минеральной водой. Прекрасный Пловдив, в подземных переходах которого, за стеклом — сохранившиеся колонны, фрески и чуть ли не улочки древнего фракийского города.

И наконец — старый Мельник, самый маленький город, который я когда-либо видел, зажатый в ущелье между меловыми горами и производящий только знаменитое одноименное вино. Зато в каждом его доме подвалы с запыленными бутылками этого самого «Мелника» и домашние бары, где его можно попробовать и увлечься столь достойным занятием.

Мельник, Мельник, самый маленький
болгарский городок —
словно крынки кто-то вынес
и поставил на порог.

Словно крынки у неровных
побелённых мелом стен,
среди скал отвесных Мельник —
меньше, чем от крыльев тень.

Что там ваши мегатонны! —
хватит шашки дымовой,
чтобы стал весёлый Мельник
мелкой-мелкою мукой...

А его с лихвой хватило бы,
чтоб жила здесь вся родня.
Все друзья мои, подруги...
И забывшие меня.

Нет, я не только путешествовал и писал свои стихи. В Софии я все-таки время от времени посещал курсы болгарского и начал почти все понимать, немного читать и немного говорить по-болгарски. И стал уже переводить молодых болгарских поэтов, а они — меня.

Но вот время моей чудесной болгарской ссылки подошло к концу. Вечер перед отъездом я провел в одном софийском диссидентском доме. А было это 8 ноября 1982 года. Меня повело на анекдоты — в основном про Брежнева. Я еще не знал, как и весь советский народ, что в Москве лежит его бездыханное тело. О смерти Дорогоголеонидаильича объявили только 10-го, когда я уже был в Москве.

А спустя несколько дней пошел в Большой союз отчитываться о поездке. Шестинский, тепло со мной поздоровавшись, как-то странно на меня посмотрел и велел пойти к Юрию Петровичу Воронову, секретарю по работе с соцстранами. Воронов, как и Шестинский, был из блокадных мальчиков, писал блокадные стихи, а прославился как редактор «Комсомолки», при котором газета была очень живой и смелой. Его любили все сотрудники редакции — в отличие от мрачного кремлевского старца, серого кардинала и идеолога партии Суслова. Вот Суслов и отправил Юрия Петровича в долгую ссылку в ГДР на какую-то посольскую должность. Воронов рвался на родину, но вернуться смог только после смерти своего могущественного врага. То есть совсем незадолго до моего визита к нему.

Седой, с правильными чертами лица и подтянутый Воронов встретил меня с улыбкой и прищуром. «Ну, как Болгария?» — спросил Юрий Петрович. Я ответил в самых восторженных тонах. «А вот ты там не всем понравился, — сказал Воронов и, переждав мое удивление, пояснил, — на тебя из Софии пришел донос, что антисоветские анекдоты травишь».

И тут я вспомнил последний вечер в Болгарии и диссидентский дом. «Они решили, что я знал о смерти Брежнева и провоцировал их!» — пронеслось в голове. «Ну как, хочешь еще в Болгарию?» — улыбнулся Юрий Петрович. «Пожалуй, нет, — нашелся я, — хотелось бы и другие страны посмотреть». Воронов рассмеялся и на моих глазах порвал опасную для моей дальнейшей выездной истории бумажку. Надо ли говорить, как я был ему благодарен?

А потом в тот же день пошел я в гости к Соболю с каким-то болгарским сувениром и рассказом о поездке, который только что обрел концовку.

Именно в тот вечер — в ответ на мою историю с доносом — Марк Андреич рассказал свою.

В 16 лет — вундеркинд! — он поступил в Школу-студию МХАТа. Его друзьями-соперниками за лидерство на курсе были Саша Гинзбург (прославившийся под псевдонимом Галич) и некий Щ.

Однажды, когда родители Галича куда-то уехали и в его распоряжении оказалась большая родительская квартира с запасом дорогих вин, он позвал Соболя и Щ. на дегустацию. Посреди пира, попивая чуть ли не «Шабли», Галич вздохнул: «Все-таки хочется прославиться!» «Так в чем дело? — среагировал по-юношески скептичный Марк. — Брось бомбу в Кремль — и прославишься».

Прошло несколько дней, и к Марку прибежал взволнованный Галич (понятно, что после вызова на Лубянку). Он смог выдавить только эти слова, которые Соболь запомнил на всю жизнь: «У тебя плохие товарищи, немедленно уезжай из Москвы». Легкомысленный Марк не придал им значения, и вскоре за ним пришли. Везли ночью в «воронке» по центру Москвы, а его попутчиком был поэт Ярослав Смеляков. Стоял декабрь 1934 года. Только что убили Кирова. 16-летнему Соболю светила «террористическая» статья.

Но Марку повезло. В 1937 году (!) по ГУЛАГу с проверкой ездил некий Сольц, которого называли «совестью партии». Он заинтересовался «делом» слишком юного сидельца, и вскоре Соболя выпустили, не реабилитировав. Поэтому, когда началась

война, он отправился в штрафбат. Там искупил «вину перед Родиной» кровью и довоевал сапером.

А вскоре после войны встретил своего однокурсника Всеволода Санаева. Будущий известный актер и тесть Ролана Быкова спросил Марка, где тот был все это время. Соболь рассказал — где. «Как и тебя он тоже!» — воскликнул Санаев и рассказал, что Щ. донес на полкурса, а потом его самого выгнали из Школы-студии МХАТа «за связь с врагами народа» — ведь все, на кого Щ. доносил, были его товарищами.

Уже в шестидесятые Марк встретил Щ. в ресторане ЦДЛа и, увидев его бегающие глаза, сказал, что прощает. Ведь это были шестидесятые — казалось, что ГУЛАГовско-стукаческий режим окончательно побежден...

На меня рассказ Марка Андреича произвел настолько сильное впечатление, что когда я привел к нему знакомиться своего друга, поэта и литературного исследователя Андрея Чернова, попросил Соболя повторить эту историю.

По ходу рассказа Андрей все заметнее бледнел. А потом сказал: «Марк Андреевич! Щ. это мой тесть». Соболь тоже изменился в лице, а потом буквально закудахтал над Андреем, как будто чем-то его несправедливо обидел. Я попытался пошутить: мол, не только сын за отца, но и зять за тестя не отвечает. А Чернов рассказал, что нынче Щ. преподает во ВГИКе и его любят студенты.

Довольно вскоре — вряд ли из-за того, что узнал про тестя, — Андрей развелся с дочерью Щ. С Соболем же они стали общаться и регулярно передавать через меня друг другу приветы. И я был рад, что их познакомил, как бы немного отблагодарив Чернова, который значительно раньше познакомил меня с другим поэтом фронтового поколения — Самойловым.

Послал мне Господь второго и о его мягкой эмиграции

Я застал последний период его жизни, и период этот оказался эмигрантским...

Прибалтика в советские времена была единственной Европой, доступной для «новой исторической общности» затюканных людей. Неважно, что провинциальной Европой. Зато — другой уровень ухоженности всего окружающего, бытовой культуры, сохранения «памятников истории и (опять же) культуры», как это тогда называлось... В общем, в Прибалтику, хотя бы в отпуск, тянуло всех, кто не отделял Россию от Европы или хотел ее таковой, неотделимой, видеть.

Давид Самойлов с семьей поселился в Эстонии, в Пярну (на уютной улочке Тооминга, недалеко от моря) по многим причинам. И детей, один из которых — Петруша — был нездоров, второй — Пашка — ввиду своего неуемного озорства казался ДС прямым продолжателем дела отца, правильней было пасти на свежем воздухе и купать в море. И самому надо было отвлекаться от московской суеты. И некоторую дополнительную степень свободы обрести.

Вот по поводу этой степени свободы... К Самойловым в Пярну постоянно приезжали друзья и поклонники (и я в их числе). Среди приезжавших были и знаменитости. И Давид Самойлыч устраивал им вечера. И чинным эстонцам, сильно разбавленным отдыхающими из Москвы и Питера, пел, что хотел, опальный тогда Юлий Ким, читал Бродского, тоже опального тогда, Михаил Козаков, травил небезопасные байки Зиновий Гердт... И сам ДС проводил свои вполне неподцензурные вечера и в Пярну, и в Таллине.

Конечно, постоянно приезжал к нему старший сын от первого брака Александр Давыдов, писатель и издатель, единственный из детей, кто пошел, что называется, по стопам отца (кстати, благодаря его усилиям была установлена мемориальная доска Самойлову в Москве, на доме, где тот жил со своей первой женой, матерью Саши).

Появлялся и друг Саши, литературный секретарь ДС, занимавшийся московскими литературными делами поэта...

К Самойлову в Эстонии относились уважительно, хотя вряд ли понимали его масштаб. Но это ДС не смущало. Зато понапрасну не приставали, да и манеры у этих эстонцев не такие, чтобы нахально вторгаться в частную жизнь — пусть даже знаменитого человека, тем более. И потому он свободно гулял по берегу Залива со своей палочкой, и строчки сами приходили к нему. Так написалась одна из его последних прижизненных книг — «Залив» («Я выбрал Залив...», это строчка из книги, простая, но многое объясняющая). Но, гуляя по берегу, ДС видел не только поэтические ориентиры: маршрут был проложен четко, логистика была безупречной. Он шел вдоль берега от одного «эйнелауда» до другого (это такие очень чистенькие эстонские забегаловки). В каждом выпивал рюмку коньяка, иногда молча, иногда общаясь с завсегдатаями. Кажется, именно во время этих прогулок он придумал героев своего эстонского эпоса: мясника Заада с его любвеобильной женой, философа Куурво Муудика, основателя течения «мытлемизм», главное положение которого: «Мытлю — следовательно, существую»... И некоторые другие перлы из составленной друзьями книжки ДС «В кругу себя», несомненно, появились под рюмку конька в «эйнелауде». Ну, например, такой:

Высоким движим чувством,
Сей князь в порыве дерзком
Разбил врага на Чудском,
За что был назван Невским.

Так Самойлов развлекался. И все-таки иногда остро чувствовал если не одиночество, то свою оторванность как от литературной среды, так и от начавшей в восьмидесятые годы быстро меняться московской жизни. Не зря писал много писем. А главным его собеседником была интеллектуальная жена Галина Ивановна...

Приезжая в Москву, Самойлыч сразу же начинал звонить Галине Ивановне в Эстонию. И очень долго с ней разговаривал.

Но, конечно, хотя реже, чем ДС сам по себе, — в Пярну оставались двое пубертатного возраста сыновей — приезжали они и вместе. Тогда Галина Ивановна тут же начинала заниматься обустройством России в одной отдельно взятой московской квартире. И еще — «интеллектуально обслуживать» (ее выражение) многочисленных гостей.

Однажды ДС и Галина Ивановна на моих глазах сильно поссорились. Ссора носила какой-то интеллектуально-принципиальный характер. В общем, ДС решил, как Толстой, уйти из дома. Он оделся, взял палочку и пошел в ночь.

Естественно, я его догнал. ДС направлялся к Трем вокзалам — благо, недалеко.

Мы шли и обсуждали идеи Сахарова и Солженицына (причем Самойлыч склонялся к тому, что Россия должна воспринять и совместить те и другие), говорили о некоторых незаслуженно, по мнению ДС, да и моему тоже, вознесенных современных пиитах, еще о чем-то...

Вдруг ДС остановился (а мы до Трех вокзалов уже дошли) и произнес с чувством и неожиданно в рифму: «Галку — жалко!» Это был лозунг, который мы, в отличие от других, столь же категоричных, имели полную возможность воплотить в жизнь. И мы, слава Творцу (и просто — творцу), пошли обратно.

На этой обратной дороге, помню, мы разговорились о Слуцком.

Они с ДС были самые близкие друзья-соперники. Как-то Слуцкий даже предложил ДС поделить сферы знания: «Так как нельзя знать всё, — примерно так сказал Борис Абрамович (в пересказе Давида Самойлыча), — давай я буду знать живопись, а ты музыку, если тебя что-то спросят о живописи, отсылай ко мне, если меня что-то спросят о музыке, я направлю к тебе».

В молодости поэт Давид Самойлов долгое время не мог выйти из-под влияния

поэта Бориса Слуцкого. Когда вышел, стал собой. Но — когда вышел, Слуцкий на него обиделся и обозвал «широко известным в узких кругах» (эта фраза стала крылатой).

А Самойлов, мало того, что написал «Сексуальный словарь для Бобы Слуцкого» (как известно, однолюба), так еще и постоянно подтрунивал над любовью Слуцкого к иерархии и разного рода обоймам. Например, на его вопрос: «Дэзик, как ты считаешь, мы с тобой в первой десятке или только в первой двадцатке лучших современных поэтов?» — ответил: «По-моему, только в первой двадцатке, но что-то предыдущих восемнадцати не видно».

Смерть Слуцкого Самойлов страшно переживал, укорял себя, что не приехал к нему в Тулу, где тот доживал свои последние годы в квартире брата. Единственным, кого хотел видеть Слуцкий незадолго до смерти, был Самойлов. ДС об этом узнал, но только-только выписался тогда из больницы, где лежал по поводу сердца (из-за этого повода и умер).

Помню, как мы с Самойлычем стояли у зала прощаний крематория в холодный февральский день (ЦДЛ покойному Слуцкому не предоставили — что-то там официозное тогда происходило) и ДС плакал.

А через четыре года умер он — в тот же день, что и Слуцкий — 23 февраля, это многим кажется символичным.

Могила Самойлова осталась в сопредельном государстве — Эстонии. И теперь очевидно, что ДС из России все же иммигрировал, хотя любил ее, что называется, до последнего вздоха.

Выступив на вечере памяти Пастернака в Таллине, он ушел со сцены и из жизни практически одновременно. Стук упавшей за сценой палочки услышал Зиновий Гердт. Последними словами ДС были: «Все хорошо...»

Но не хочется заканчивать про Самойлыча (которого все близкие до смерти называли Дэзиком) на грустной ноте. И потому — вот одна простая история.

Я решил познакомить с ДС свою вторую жену Анну. Он в это время лежал в больнице «с сердцем». Мы пришли его навестить.

Палата была многолюдной. ДС нашему приходу обрадовался и тут же позвал в «предбанник» мужского сортира покурить — наличие молодой сексапильной дамы его не смущало. Ее, к моему удивлению, не смутило тоже. Только мы затянулись, ДС сказал: «Я здесь написал, наверно, лучшее стихотворение в своей жизни — всем мужикам в палате понравилось!»

Я приготовился проникновенно слушать.

«Вот, — прокашлялся Самойлов, — слушайте: "Что же есть у соловья? / Голос, больше ни ...я. / Ну, а что у воробья? / Совершенно ни ...я!"»

Я, не будучи еще совсем доверительно-близко знакомым со своей женой, закашлялся. А Самойлыч веско повторил: «Мужикам понравилось».

Что же касается его стихов, не обремененных ненормативной лексикой, которые «мужики» вряд ли читали, надо сказать, что Самойлов в последние годы мог опубликовать все, что хотел. Да и в разгар застоя печатал стихи, посвященные Льву Копелеву, Андрею Синявскому и некоторым другим диссидентам. Правда, обозначал эти посвящения по-пушкински (все же «из поздней пушкинской плеяды...»!) — инициалами: Л.К., А.С. Цензура догадаться не могла, а адресаты понимали.

И все же помню случай, когда ДС очень расстроился по поводу своих книгоиздательских дел. Это был 1987-й или 1988-й год. Самойлов узнал, что его избранное в двух томах запланировано в «Худлите» на 1993 год. «Я не доживу», — как-то очень спокойно и твердо сказал он мне.

Я понял, что надо немедленно поговорить с кем-то из его влиятельных поклонников, чтобы тот посоветовал «Худлиту» изменить свои издательские планы. Обратился к Шестинскому, который высоко ценил Самойлова и вообще с особым пиететом относился к поэтам фронтового поколения. И выгорело! Двухтомник

передвинули на 1989-й. И ДС получил вполне приличный аванс, очень даже нелишний при такой большой семье, которую он содержал. Чтобы отметить это дело, Самойлов позвал нескольких своих друзей и учеников в ресторан ЦДЛа. Во время пребывания там он все время повторял: «Я богатенький старичок!»

Между тем ему не было и 70-ти. Эту круглую дату он собирался бурно отметить в 1990-м. Но до своего знаменательного дня рождения не дожил.

Кстати, в другой раз, когда он пришел в ЦДЛ, бдительные в те годы отставники-швейцары не хотели его впускать — в лицо не знали, слишком редкий гость, писательского билета он с собой, разумеется, не носил, ориентировок на него тоже не было. ДС не стал устраивать скандал, типа, я такой-то, а ты кто такой. Он огляделся и увидел у раздевалки поэта Александра Юдахина. «Я с Юдахиным!» — уверенно сказал Самойлов, и был милостиво впущен.

Здесь же в ЦДЛе, в Большом зале, в 1995-м состоялся грандиозный вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Самойлова. Выступали Окуджава, Искандер, Евтушенко, Левитанский, Козаков, Валентин Никулин, Рафик Клейнер, Гелескул, Рассадин, Татьяна Бек, Либединская, композитор Борис Чайковский, правозащитник Павел Литвинов... Всех не перечислить. Вечер вели мы с Юрой Ефремовым (вроде как два самойловских ученика). Зал был битком — стояли и сидели в проходах, в открытых дверях, хотя в Москве, в свою очередь, стоял очень жаркий день 1 июня...

В первой половине девяностых ЦДЛ и близко ничего подобного не видел.

...Сейчас, дописав все это, прилег на самойловский диван, на котором возлежал еще тридцать лет назад. Этот диван вместе с письменным столом, книжными шкафами, любимым самойловским полукреслом и т. д. — из московской квартиры ДС — купила у Галины Ивановны моя жена. Более новую мебель Галина Ивановна привезла из Пярну (дом там пришлось продать за бесценок ввиду геополитической ситуации) и поставила в единственном теперь самойловском доме. В котором живет вместе с сыном Петрушей.

А домовина — в Пярну. За могилой следят пока еще оставшиеся в Эстонии друзья ДС. Что же касается самих благочинных эстонцев... Видел я могилу Игоря Северянина в Таллине — если б был Геростратом, унес бы небольшую и скромную, в отличие от самого Северянина, могильную плиту в сумке: она была не закреплена и валялась около холмика...

Последнее письмо от ДС я получил в самом конце 1989 года. В нем содержался отзыв о моей только что вышедшей тогда книжке «Наземный переход» с очень важными для меня словами (например, про то, что в ней «нет усталости стиха») и было настойчивое приглашение приехать в Пярну на новогодние «каникулы».

В предновогодней суете я не ответил сразу. Да и после празднования рокового для ДС 1990-го тоже не поспешил, так же как и приехать, а ведь собирался!

Потом клял себя.

А ответил я на последнее письмо Самойлова только спустя восемнадцать лет — стихами:

Ответное письмо

Дорогой Давид Самойлыч!
Я, дурак, Вам не ответил
на последнее письмо.
Грех — не отрицаю — мой лишь,
хоть трепал листочки ветер
перемен и гнал дерьмо.

Кстати, эти перемены
всех оставшихся задели.

А командуют опять
кумы нашей ойкумены —
каждый вышел из шинели
Феликса и тоже — тать.

Хорошо, что Вы далёко —
нынче тут не чтут поэтов,
некому стишок прочесть.
Ни в Отечестве пророков,
ни у разных-прочих шведов...
Хорошо, хоть водка есть.

У меня же всё в порядке:
всё работаю в газетке —
значит, к водке есть жратва
и в излюбленной тетрадке
незаполненные клетки —
будет где держать слова.

Третьим будет...

Третьим моим «отцом» мой старый друг определил Станислава Борисовича Рассадина. Все-таки не потому, что на троих мы с ним часто соображали (то в компании с редактором «Новой» Муратовым, то с Михаилом Козаковым, то еще с кем-то). Особенно в последние годы его жизни, когда, лишившись ноги из-за диабета, он уже не вставал, зато охотно сидел за столом с посещавшими его друзьями. Но чаще — все же на двоих. И о многом, что здесь написано, говорено-переговорено с ним во время этих посиделок.

Едва подойдя к его подъезду в доме на Ленинском проспекте, где он жил в маленькой, переполненной книгами квартирке (казалось, он играл на этих книжных полках, как на органе), можно было услышать его крик: «Светла-а-ана!» Это он звал свою домоправительницу-сиделку.

Звал нетерпеливо, почти свирепо. Но на самом деле относился к ней и ее сыну очень тепло и доверчиво, возможно, слишком доверчиво. И получилось, что он просто уже не мог обходиться без их помощи. А может, и не хотел. Если б освоил костыли или инвалидное кресло, ему было бы не удержаться от посещения комнаты покойной любимой жены Али. А это было выше его сил. Та комната, где он лежал, была все же его кабинетом, сугубо личным пространством, защищенным от бренности мира любимыми вечными книгами...

Но не только о вечном отстукивал он свои тексты на пишущей машинке в этом кабинете.

С его легкой руки появился термин «шестидесятники», обозначивший сначала поколение поэтов, потом шире — писателей, потом еще шире — людей демократических, «последвадцатосъездовских» упований.

Он не был рад своему авторству. И все-таки... Ну, во-первых, человек, придумавший слово (разумеется, всерьез вошедшее в обиход), бессмертен. А во-вторых, он постоянно уточнял этот термин, демонстрировал расширительность понятий «шестидесятники» и даже «шестидесятые» — не просто такие-то годы века, а общественное явление: «...смерть Булата Окуджавы в 1997-м стала завершением шестидесятых годов... Шестидесятые, повторю, завершились в конце девяностых».

Интересно, а сам Станислав Борисович Рассадин — шестидесятник? Безусловно. Но обязательно с учетом того, что он написал в статье о самом шестидесятном из шестидесятников — Евгении Евтушенко: «Наши шестидесятые, ныне издалека, тем паче из насмешливого далека кажущиеся такими сплоченно-дружными в общем

братстве и общих иллюзиях, были просто временем осознанного — по крайней мере, осознаваемого — одиночества. Временем, когда оно, одиночество, начало не только страшить личность, ощутившую себя вне стада, но когда эта личность, мучаясь и пугаясь, ощутила и то, как человечески, творчески важно, необходимо — быть вне...»

Вне чего был Рассадин, очевидно: вне ангажированности-прикормленности властью (что советской, что постсоветской — в разных модификациях), вне какой бы то ни было литературной партии или группы, вне уютной (а значит, не имеющей прямого отношения к литературе) ниши нерефлексирующего критика-оценщика (так и хочется добавить, по Шварцу, — в городском ломбарде) и еще много вне. Значит, одинок?

Ну, «друга в поколенье» он нашел — и не одного: это и ушедшие Булат Окуджава, Александр Галич, Натан Эйдельман, Юрий Давыдов, Михаил Козаков, Юрий Черниченко, и ушедший значительно позднее Фазиль Искандер, и, слава Богу, здравствующие Наум Коржавин и Владимир Рецептер... И «читателя в потомстве» уже обрел — Станислава Борисовича читают не только те, кто годится ему в сыновья, но и — во внуки (сам знаю таких вундеркиндов). Но творческое одиночество Рассадина несомненно. Никто из его друзей-литераторов, тем более актеров, не занимается ничем жанрово родственным рассадинским текстам. Да и не из друзей сейчас тоже никто ничего подобного не пишет. Раньше писали — Иннокентий Анненский «Книги отражений» и Юрий Тынянов. Сам Рассадин в этом великолепном ряду третий. Надеюсь, не последний.

Однажды Станислав Борисович сказал, что ушел из критики в историю литературы. Это, мне кажется, не совсем верно. Да, он писал о Пушкине и Крылове, Языкове и Баратынском, Бенедиктове и Вяземском, Дельвиге и Денисе Давыдове, Фонвизине и Сухово-Кобылине, Чуковском и Галиче, Булгакове и Эрдмане... Впрочем, писателей, которых хотя бы условно можно назвать советскими, лучше не перечислять — это будет оглавление литературной энциклопедии. Недаром жанр одной из своих книг — «Советская литература. Побежденные победители» — Рассадин определил так: почти учебник. И все же из критики он ушел не в историю литературы, а собственно в литературу. В прозу. Причем — замечательную. Только проза эта не о вымышленных героях, а о самих писателях. (При этом придуманные ими персонажи у Рассадина порой равноправно сосуществуют со своими создателями.)

Таковы его книги «Русские, или Из дворян в интеллигенты», «Самоубийцы», «Книга прощаний», которые вместе мне представляются цельной трилогией, вместившей три русских века. А к ним еще примыкает книга «Голос из арьергарда», захватывающая («через» литературу) уже и век XXI-й.

А вообще по всем векам российской истории Рассадин легко путешествовал в своих злободневных новогазетных колонках «Стародум». Парадокс? Но как же от сопоставления времен становится понятнее настоящее! Кстати, в «Новую газету» Рассадина догадался пригласить не я, что было бы вполне логично после нашего сотрудничества в «Огоньке», а обладатель уникальной интуиции Юра Щекочихин.

Что прежде всего отличает рассадинские колонки, с которыми так повезло «Новой газете»? Как Мандельштам советовал читать Пастернака тем, кто хочет прочистить горло, можно посоветовать читать Рассадина тем, кто хочет проморгаться, резко улучшить зрение — внутреннее, конечно.

И еще. Своими книгами Рассадин создал трагический образ одной великой героини: Русской Литературы. И теперь они друг без друга непредставимы. Такая вот у них взаимная любовь (причем он-то однолюб).

«Нету их — и все разрешено», — писал горячо любимый Рассадиным Давид Самойлов, имея в виду поколение Ахматовой и Пастернака... Но все-таки не все было разрешено, пока еще существовало как раз самойловское фронтовое поколение писателей. Ушло и оно. За старших остались шестидесятники. И один из самых

значительных из них, при ком как раз было не все разрешено, — Станислав Рассадин. Человек, написавший более 40 книг, по которым можно и нужно изучать русскую литературу и историю.

Теперь надо писать книгу о самом Станиславе Борисовиче. Он человек, сам себя сделавший. Абсолютный интеллигент, вышедший из простой, бедной семьи. Самородок. Это про литературоведа как-то трудно представить. Совершенно не конъюнктурный. А это уже с критиком как-то не вяжется. И — Друг. Именно так, с большой буквы.

Благодаря тому, что Станислав Борисович умел дружить на полную катушку, он не был одиноким. А одиночество после смерти самого близкого ему человека — жены Али — казалось для него неизбежным. Детей у них не было. Аля осталась для Станислава Борисовича единственной. Все последние годы его спасала только дружба.

Станислав Борисович не вникал в проблемы друзей, а сопереживал их переживаниям. Я это очень хорошо знаю по себе. Не буду выдавать интимного. Скажу одно: он беспокоился за меня так подробно, как за сына, и всегда обнимал при встрече и расставании. Чуть ли не каждый день звонил на мобильник, интересуясь моим местоположением и настроением души и ума. А я иногда звонил ему и с прямой корыстью: как в справочное бюро Русской Литературы, ну и новый стишок прочитать.

Собеседником Станислав Борисович был блестящим, умел думать и додумывать при тебе. Вот, например, одна из его мыслей, при мне родившихся. Сравнивая наши последние времена с предыдущими, Рассадин сказал примерно так: «Все-таки цинизм хуже лицемерия, потому что лицемерие, нарушая норму, все-таки исходит из ее наличия, а цинизм норму вообще не знает и не хочет знать». Мне эта мысль с каждым годом кажется все более глубокой.

Людей, умеющих думать, вообще немного, а думать вслух — и вовсе единицы, и те в основном уже далече...

Мои собеседники

Ушли мои собеседники.
Слишком уже далеко.
Не докричусь до них, бедненький,
зато дозвонюсь легко.

— Здрасте... Андрей Андреича...
И — слабый шепот в ответ.
— Простите... Не слышу...
Неуча
простит он, но звука нет.

— Здравствуйте, Юрий Федорыч!..
В ответ: бу-бу-бу, му-му.
И перебьет нас очередь
из позвонивших ему.

А Станислав Борисыч сам,
знаю, вот-вот позвонит.
Но отвечаю другим голосам:
сплошь не ко мне — по делишкам-делам.
А он набирает, ворчит —
никак не прорвется к нам.

...Станислав Борисович позвонил мне и в тот день, когда умер мой отец. Он был потрясен этим известием, хотя лично моего отца не знал — только по моим рассказам. Были они почти ровесники. А через две недели не стало самого Станислава Борисовича.

От этого двойного удара я долго оправляюсь. И вроде бы глупое по отношению к уже старенькому мальчику слово «сиротство» кажется мне вполне уместным, даже не стыдным...

Вместо эпилога

Стихи об отце и сыне

* * *

На стол меня ставивший,
чтоб целовать мои пятки, —
в том времени стаявшем,
скрывшемся без оглядки,
на том конце ниточки
с блёстками памяти детской —
в тенистой теннисочке
тот еще юный отец мой...
Что ж это такое?! —
тебе я вернуть не умею
все то дорогое,
что ты отдавал не жалея.
И я не жалею. Пока.
Я потом пожалею.

* * *

Из шеи моей выдувал клеща,
никогда не давал леща.
Зато на мой крючок пескаря
насаживал, когда я
был еще слишком мал,
чтоб сам хоть что-то поймал.

С тех пор никогда уже не ловил
ни пескарей, ни клещей,
а на крючке многократно был
в силу порядка вещей.

И никого со мной рядом нет,
кто мог бы леща... но не дал.
И стал мне темней этот белый свет.
Темнее, чем ожидал.

* * *

Он просто уехал в командировку
и мне привезет оттуда
игрушку, сказку, на вырост обновку —
рад им, как празднику, буду.

И нынче, когда появится ночью
и даже меня не разбудит,
все ж под подушкой оставит звоночек —
про жизнь, что за смертью будет.

Александр Джумаев

Хворост для костра

О разрушительной силе невежества во взаимоотношениях цивилизаций и конфессий. Центральная Азия и Россия

Люди разным пророкам молитвы творят,
Люди зло совершают и благо дарят.
Все деяния их так похожи на хворост
Для костра, на котором они же сгорят.

Абдурахман Джами, XV в.

«На каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится, но он существует на всех. История полыхает, как громадный костер, и каждый из нас бросает в него свой хворост».

Юрий Трифонов. Отблеск костра. Документальная повесть

Знакомлюсь с путевыми записками и дневниками путешественников, служилых людей, военных и чиновников, пересекавших во второй половине XIX и начале XX века просторы Евразии из одного конца в другой, из столицы Российской империи в Туркестан и обратно, в надежде найти там новые факты о том, что происходило при столкновении двух «культурных миров», как складывались и распространялись стереотипы, частично сохраняющиеся и поныне. И главное — нет ли в настоящем дальних причин из прошлого, не коренятся ли в прошлом истоки нетерпимости и агрессивности, «философии насилия», которые так вздыбились в разных частях современного мира.

Существуют разные современные научные методы изучения этого явления, и ими пользуются политологи, социологи, востоковеды и культурологи. Каждый метод, даже самый совершенный, соответствует, в первую очередь, породившей его цивилизации и востребован ею же. Нам близки, понятны, а временами и вполне достаточны мысли и наблюдения великих мыслителей Востока. Во многих случаях они стали выражением народной восточной мудрости, напитавшей каждую из культур ныне существующих центральноазиатских и средневосточных народов — таджиков и узбеков, уйгуров, казахов, кыргызов, каракалпаков, туркмен, иранцев, бухарских евреев и других.

Джумаев Александр Бабаниязович родился и живет в Ташкенте. Культуролог и музыковед-востоковед, кандидат искусствоведения. Автор около 200 научных публикаций в разных странах мира по различным аспектам культуры Центральной Азии. Постоянный автор «ДН».

В Средней Азии огромной популярностью еще и в недалеком прошлом пользовался великий персидский поэт-философ XIII века Саади Ширази. Ссылки на его мысли часто встречаются — и в письменных текстах, и в эпиграфических надписях на разных архитектурных памятниках и артефактах. Саади — символ гуманизма исламской цивилизации. Его занимала проблема мирового зла, накапливаемого человечеством постепенно, от века к веку: «Оснований зла в мире было немного, но каждый, кто приходил, добавлял к нему что-нибудь своё, пока оно не достигло нынешних пределов». Эти слова мне уже доводилось приводить в одной из статей. Ответом на них можно считать другую приписываемую Саади сентенцию, в которой невежеству противополагается знание: «Человек, который не знает, и не знает о том, что не знает, — в своем двойном невежестве пребудет до скончания времен. А тот, кто не знает, но знает, что не знает, — тот кое-как к концу жизни приведет свои дела в порядок» (буквально: «кое-как дотащит своего полудохлого осла до стоянки»). Звучит актуально, хотя и сказано более семи веков назад. Эта мысль вновь и вновь напоминает о проблеме невежества и его претензии быть одной из «движущих сил» исторического процесса.

Вернемся к путевым запискам и дневникам. Чего тут только нет, какие подчас встречаются глубокие и меткие наблюдения, яркие зарисовки типов и картинок быта, нравов, обычаев, традиций разных народов — кочевых степняков и горожан. Здесь же и «автопортреты» самих составителей записок и дневников, нелицеприятные портреты современников, яркие зарисовки их нравов и образа жизни в условиях нового (исламского) культурного пространства. Ценнейший материал для историков, этнографов, географов, культурологов и многих других! Сколько черпали они из них, и сколько еще осталось невычерпанного, и сколько новых неизвестных и неоткрытых материалов таят в себе архивы и всякого рода рукописные и книжные собрания!

Немало встретишь в этих материалах и наивного, смешного. Наивность взглядов умиляла, в каком-то смысле снимала напряженность во взаимоотношениях, по-своему сближала культуры «больших» и «малых» народов. Но порой понимаешь, что она же, эта наивность, вместе с простотой и упрощением несет в себе зачаточный материал —«хворост для костра» — будущих, может быть, далеких конфликтов и противостояний, преступной халатности и безответственности правителей и высокомерия сильных мира сего. Такое осознается, конечно, постфактум, с позиций сегодняшнего дня, с учетом знания всей последующей случившейся истории.

Однако больше всего поражает сопутствующая наивности общая, почти повальная на начальном этапе (по словам русского дореволюционного публициста Д. Н. Логофета) «исторически сложившегося поступательного движения России в Среднюю Азию» неосведомленность о фундаментальном явлении далекого края — об исламе, основной религии и комплексе культурных явлений, с ним связанных. Можно говорить даже об апофеозе незнания и игнорирования, то есть фактически о вопиющем невежестве. Конечно, было много и другого, что оставалось неведомым и непонятым, но оно не могло идти ни в какое сравнение с незнанием самого главного, что составляло фундамент всех остальных «надстроек» — ислама и исламской цивилизации. Имевшиеся уже тогда исключения почти целиком относились к академическому научному знанию в нарождавшемся «среднеазиатском» направлении российского востоковедения.

Конечно, невежество было обоюдоострым. И со стороны мусульман Туркестана оно было не менее, а вероятно, даже более ошеломляющим. Однако это уже другой аспект, который не может быть поставлен «на одни весы» с невежеством ведущей исторической силы — представителей, как тогда считалось, самой прогрессивной и передовой европейской цивилизации и культуры. Но интересно другое: в обоих случаях — и у прибывающих в Туркестан на жительство христиан — православных и

католиков, и у мусульман — общество оказалось разноликим и «поделенным пополам». И там и тут мы встретим в избытке и примеры невежества и нетерпимости, и примеры толерантности и, главное, стремление к поиску путей для установления взаимопонимания и объединения.

Но откуда было бы знать об исламе и исламской цивилизации и культуре обычным людям, широкой читающей публике XIX века в России? Русское академическое востоковедение первоначально развивалось во многом параллельно реальной жизни, не соприкасаясь с ней, в своем замкнутом научном «цехе». Давайте посмотрим, что рекомендовалось широкому российскому читателю из научно-популярной литературы по Туркестану, культуре и религии населяющих его народов, и в особенности по исламу. Для этого обратимся к изданному в 1900 году по распоряжению Министерства народного просвещения «Каталогу книг и периодических изданий для бесплатных народных читален» (Издание 3-е, дополненное /по февраль 1900 г./. С.-Петербург: Типография М. И. Акинфиева и И. В. Леонтьева, 1900. — 243 стр.). Здесь, разумеется, есть литература и о Центральной Азии и Туркестане, о городах и народах, населяющих этот край, о путешествиях и путешественниках (Н. М. Пржевальском, Н. А. Северцове, А. П. Федченко), приводятся историко-географические сведения, описания природных условий и т.п. Но более всего материалов — об истории покорения Туркестана войсками царской России, о различных военных походах, боевых «делах» и их героях, например, о хивинском походе М. Д. Скобелева и т. п. «Военная литература» явно доминирует (около пятнадцати наименований) в общем небольшом объеме книг по среднеазиатской тематике. Но об исламе и исламской культуре опять же фактически ничего нет. Лишь одно-единственное исключение — упоминается известная книга американского писателя Вашингтона Ирвинга «Жизнь Магомета» в переводах на русский язык (перевод П.Киреевского, М., 1857 г. и перевод Л.Никифорова, М., 1898 г.). Примечательно, что эта же книга, переизданная репринтным способом огромными тиражами в начале 1990-х, сразу после распада СССР, в некоторых бывших советских восточных республиках, утоляла «первоначальный голод» бывших советских граждан по исламоведческой литературе. В одно время с ней таким же способом был издан долгожданный Коран в переводе И. Ю. Крачковского, но в целях экономии бумаги — без необходимых для его понимания комментариев ученого, что сводило возможности его изучения к нулю. Чему удивляться, если и мы сами, поколение второй половины XX века, многие годы спустя, вплоть до недавнего времени, имели об исламе и исламской цивилизации весьма неполные и поверхностные знания. В то же время в изданном «Каталоге» достаточно много литературы духовного содержания по христианству, преимущественно православному, а также протестантизму, католицизму и некоторым древним религиям, она очень разнообразна — есть и общеобразовательная, и каноническая — и выделена в специальный раздел: «Книги духовного содержания» (С. 1 — 26).

Такое положение со знанием об исламе сложилось по прошествии более чем тридцати лет после завоевания Средней Азии Российской империей. Разумеется, подробное освещение этого вопроса не входит в мою задачу, и я не владею исчерпывающей информацией по нему, а значит, могу что-то упустить. Известно, что положение стало постепенно меняться в результате трагических андижанских событий 1898 года — восстания под руководством суфийского шейха Дукчи Ишана. Только после этого напуганные размахом и «необъяснимостью» случившегося власти предержащие обеспокоились полным незнанием ситуации в области ислама и суфизма и инициировали подготовку специальных исследований (так называемые «Сборники материалов по мусульманству»). Но и в этих исследованиях ислам рассматривался по большей части с заведомо негативных позиций.

Конечно же, значительным количеством востоковедческой и краеведческой литературы по Средней Азии отличалась Публичная библиотека в столице Туркестанского генерал-губернаторства Ташкенте, в чем можно убедиться, обратившись к «Каталогу книг русского отделения Туркестанской публичной библиотеки» (издан в СПб в типографии Академии наук в 1893 г.), составленному замечательным ташкентским библиографом, первым директором этой библиотеки Н.В.Дмитровским (1841—1910). Но и здесь, теперь уже в специально выделенном разделе «Религии восточных народов», значится всего пять изданий, непосредственно относящихся к исламу. Из них три — это переводы Корана, причем один, безусловно, уникальный, изданный в Петербурге в 1790 году, имеет (для своей первой части) весьма характерное для того времени название, отражающее общие расхожие представления о религии ислама — «Житие лжепророка Магомета вкратце» (о чем будет сказано далее). Затем весьма древняя (1848 г.) книга А.Муравьева «Письма о магометанстве» и работа о хадже (1877 г.) студента Казанской духовной академии, а впоследствии известного православного миссионерского автора Михаила Миропиева. Вот, собственно, и все.

Но все же, в чем состояла причина такого большого отставания в изучении одной из самых фундаментальных проблем, отставания, последствия которого, без преувеличения, сказывались на протяжении последующих десятков лет и которые мы в какой-то степени наблюдаем и поныне? Возможно, главная причина заключалась в восприятии ислама и исламской цивилизации. Оно проходило почти исключительно через призму православного христианства, христианских ценностей и господствующих ценностей европейской цивилизации. Весьма распространенным, расхожим обывательским мнением в ту пору было понимание ислама как ошибочной или ложной религии, как «искаженной ветви» христианства. Сложилось и существовало априори неприятие ислама и исламской цивилизации, оно выражалась в таких устойчивых характеристиках, как: «чуждый прогрессу», «враждебный цивилизованному миру», «архаичный», «отсталый», «консервативный», «косный» и т. п. Возник, по-видимому, своеобразный психологический «эффект отторжения», выражавшийся в устойчивом нежелании изучать уже имеющиеся и доступные материалы об этом «предмете». Схожее явление современные психологи называют отсутствием мотивации. Но ее отсутствие может распространяться и на положительные или нейтральные явления. В нашем же случае речь может идти о явлении, изначально признанном негативным. Это психологическое состояние (неприятие нежелательного) будет проявлять себя и позже в сходных культурных ситуациях; существует оно и сейчас.

Такие взгляды в огромном диапазоне мнений — от грубых, невежественных и оскорбительных до высокопарных и внешне философско-гуманистических и снисходительных — тиражировались в высказываниях высокопоставленных лиц и чиновников разного ранга, в прессе и литературе. Ими сопровождались и многие прогрессивные начинания: внедрение различных европейских технических новшеств, открытие газет, школ и т.п. Вот, например, одно из благих дел — основание в Ташкенте в 1870 году газеты «Туркестанские ведомости». Объявляя об этом событии, редактор газеты штабс-капитан Н. А. Маев говорит о «водворении гражданского порядка, общей народной безопасности, цивилизации и общечеловеческих идей в стране, столь долго косневшей под гнетом мусульманства и азиатского деспотизма» (ЦГА Республики Узбекистан, Ф. И -1, оп. 20, д.1748, л.11 и 11об)[1].

[1] Известный ташкентский писатель А.И.Добросмыслов в своей тщательно документированной книге о Ташкенте называет главного редактора «Ташкентских ведомостей» Н.А.Маева «в числе любителей бачей» вместе с другими «видными деятелями» Ташкента. И «по этому поводу в окружном штабе и в мужской гимназии имеются особые дела за 1881 и 1882 годы» (см.: Добросмыслов А.И. Ташкент в прошлом и настоящем. Исторический очерк. Ташкент, 1912, с. 368).

Идея о превосходстве европейской культуры, мироустройства и гражданского общества и отсталости и невежестве мусульманских народов выступала главным методологическим принципом в конструировании общего исторического процесса, являлась смыслом мирового исторического прогресса и развития человечества. Она морально и этически оправдывала колониальную политику целого ряда стран в тот период истории, но и поддерживала формы культуртрегерства и культурного подвижничества, а также многих их проводников в пределах Средней Азии. Тот же штабс-капитан Маев, невольно прогнозируя далекое будущее, говорит, что «русские явились в Туркестанском крае не только завоевателями, каких уже много видела Средняя Азия, но и проводниками новых начал, которые уже легли в основу гражданского и государственного быта Европейских народов и рано или поздно получат всемирное господство». Это заявление, сделанное по поводу события местного (регионального) значения, в ту пору разделялось многими деятелями царской администрации и российскими интеллигентами-гуманитариями, было едва ли не общепринятым штампом.

Иное философское осмысление исторического процесса, исключавшее и отвергавшее идеи превосходства одной системы над другой, выражали в те годы в России две, казалось бы, противоположные интеллектуальные силы: ученые-марксисты и востоковеды академического направления. Известный русский марксист Г.В.Плеханов в своей работе «О материалистическом понимании истории», говоря о невежестве просветителей, претендовавших на роль «глашатаев абсолютной истины», заметил: «Мы знаем теперь, что абсолютной истины нет, что все относительно, все зависит от обстоятельств места и времени, но именно поэтому мы должны очень осторожно судить о «невежестве» различных исторических эпох. Их невежество, поскольку оно проявляется в свойственных им общественных движениях, стремлениях и идеалах, тоже относительно».

Однако все обстояло не так просто и не может быть сведено к упрощенной схеме. Напомним о хорошо известном: формы культуртрегерства, подпитываемые идеями европейского культурного превосходства, дали в Туркестане и свои положительные плоды. Здесь тот случай, когда нужно судить не столько по словам, сколько по конкретным делам и их дальним последствиям. Можно вспомнить имена выдающихся русских ученых-подвижников — Н.П.Остроумова, В.П.Наливкина, Н.Г.Маллицкого, Н.С.Лыкошина, М.С.Андреева, А.А.Семенова и многих других. Тех, кто совмещали административную деятельность с колоссальной научной и просветительской работой, оставив после себя множество трудов, которые теперь большей частью воспринимаются как первоисточники знаний о Средней Азии. Многие из них искренне любили этот край, сочувствовали здешним народам и критически относились к возникающим тут новым формам эксплуатации и невежеству заезжих «коммерсантов» и разного рода титулованных проходимцев. Сколько сделали они для преодоления негативных стереотипов и отчуждения, для налаживания взаимопонимания и сотрудничества между народами!

Иное дело, когда эти же европоцентристские идеи вели к полному отрицанию какого-либо положительного отношения к исламу и исламской цивилизации и становились «методологической основой» для призывов к дальнейшему разрушению уже имеющегося. Полным невежеством можно считать отсутствие знаний о культуре народов Средней Азии и их религии у властей предержащих, от представителей которых в анналах истории остались поразительные высказывания и действия на новых территориях Российской империи. Д.Н.Логофет (1865—1922), сильный критик существующего в Туркестане строя и состояния ханств, сторонник реформирования всей системы управления краем, рассказывает о невежестве генерал-губернатора

С.М.Духовского (в должности с 1898 по 1901 год), прибывшего в Туркестан из Приамурья, о его полном незнании края и приводит анекдот по поводу внесенной им путаницы между аксакалами и саксаулами. Выражение это (по-видимому, независимо от высказываний Духовского) вошло потом на долгие десятилетия в среднеазиатскую анекдотическую лексику, став чуть ли не самой расхожей поговоркой.

Патриарх среднеазиатской археологии М.Е.Массон вспоминает о примерах равнодушного и даже пагубного отношения к памятникам исламской истории и культуры: «Злым роком гибели шедевров среднеазиатского зодчества была в значительной степени господствовавшая в дореволюционном обществе атмосфера равнодушия в отношении исторических памятников Ислама, а в последние предвоенные годы и враждебного настроения к ним некоторых представителей высшей администрации Туркестанского края». В подтверждение он рассказывает об осмотре туркестанским генерал-губернатором Самсоновым в 1913 году памятников Самарканда. Демонстрировавший их на Регистане археолог В. Л. Вяткин обратил внимание губернатора на необходимость отпуска средств для их ремонта и поддержки. «Главный начальник края ответил на это решительным отказом, мотивируя, что в интересах русской государственности не поддержание, а разрушение их. Мнение генерал-губернатора тотчас было подхвачено частью свиты, а угодливый адъютант в порядке остроумного предложения высказал свои соображения о применении для этой цели артиллерийского огня».

Здесь необходимо остановиться и сделать принципиально важную оговорку: имена такого рода «деятелей», оставивших по себе недобрую память, как и многие их невежественные деяния, сохранились в истории благодаря их осуждению со стороны части просвещенного общества, русской интеллигенции. Именно эти люди заняли непримиримую позицию в отношении сторонников таких невежественных взглядов. Они приводили их имена, резко критиковали и высмеивали их предшественников и современников, нередко вели с ними самую настоящую общественную борьбу. Но это не значит, что все они — противники невежества — были и противниками колониального устройства Туркестана в составе Российской империи. Большинство из них радели за улучшение такого устройства, за перевод его в форму справедливого и открытого управления. Напомним, что размышления о справедливом правителе и устройстве государства составляли едва ли не центральную тему многих философских текстов мусульманских мыслителей. Великий персидско-таджикский поэт и мыслитель Абдурахман Джами (XV век), касаясь этой проблемы в своем сочинении «Бахористан», заметил, что «лучше справедливый правитель без веры, чем благочестивый верующий шах-злодей». Таким образом, и само российское образованное общество на протяжении всего этого времени являло собой сложную и противоречивую картину. В нем существовали разные идейные группы, наблюдались значительные расхождения по принципиальным соображениям, оно не было однородным и единым.

Отсюда понятно и другое: какие большие возможности это открывало для манипулирования историей, для выхватывания и преувеличения значения фактов одного порядка за счет приуменьшения значения других фактов или умалчивания о них. Что мы и видели в избытке на протяжении последних десятилетий, в особенности в период перестройки и после распада СССР. В это же время в публицистической литературе и в национальных историографиях утвердилась и другая мысль, связанная с «позывами» развенчать советский период истории и носителей идей советской власти. Заговорили обобщенно (естественно, в основном представители русской и русскоязычной интеллигенции) о высоконравственных, прекрасно вышколенных и порядочных русских администраторах-чиновниках, о добродушных предпринимателях-коммерсантах царского времени, а также их друзьях из местных народов, не сравнимых

с варварами, невеждами и злобными большевиками и чиновниками советского времени.

Особенно много любителей противопоставить «то и это» появилось в последние годы, годы независимости. Оно и понятно: хотя, с одной стороны, это как будто бы шло вразрез с общей «антиколониальной» (антисоветской и антироссийской) риторикой властей предержащих и их идеологических аппаратов, но с другой — это был один из надежных способов в сложившихся новых условиях достигнуть компромисса, и даже объединения, с националистически настроенными местными интеллектуальными и властными элитами вновь образованных государств. Нынешние времена с царскими (хотя и колониальными) роднило общее классовое чутье: и та, далекая, и нынешняя ситуации близки и родственны — они капиталистические. А советская «проклятая» система не давала в открытую наживаться за счет разорения простого народа и не позволяла осуществиться «национальной мечте» (по аналогии с американской мечтой) — открыть свой, афористически выражаясь, «маленький дуканчик», маленькое дельце (ну, конечно, у кого-то будет и дуканище). Сказанное, разумеется, не означает, что мы против развития малого предпринимательства при так называемой рыночной экономике.

Но приведу все же и пару противоположных примеров, связанных с действиями власть имущих в Туркестане. Очень многое для развития науки, образования и просвещения в Туркестанском крае сделал первый генерал-губернатор Туркестана и командующий войсками Туркстанского военного округа Константин Петрович фон Кауфман (1818 — 1882). Едва ли не самой первой его «акцией» сразу же после покорения Самарканда стало, по свидетельству востоковеда В. В. Радлова, сопровождавшего царскую армию в ее походе в Среднюю Азию, распоряжение о выделении значительной суммы на ремонт усыпальницы амира Темура и темуридов (Гур-Эмир). Кауфман, как известно, относился с большим пониманием к культурным традициям мусульман и настаивал на невмешательстве в их внутреннюю жизнь. Но не следует и идеализировать его воззрения. Объявив сразу же после завоевания Туркестана «религию туземцев» неприкосновенной (что на долгие десятилетия, по признанию православных деятелей миссионерской направленности, запомнилось в среде мусульман), он в то же время, как и другие его сановные современники, считал естественным «превосходство христианской цивилизации над магометанством» (о чем и сообщал в одном из своих «всеподданнейших докладов»). Такой взгляд, однако, во многом был вызван беспокойством за состояние христианской веры у проживающей в Туркестане православной паствы, которая вошла в соприкосновение с мусульманской массой.

Кауфман был сторонником поощрения освоения мусульманами технических и культурных достижений русских. Здесь можно привести множество конкретных фактов о его деятельности в этом направлении. Но ограничимся одной необычной и забавной историей, которую приводит уже упоминавшийся выше А. И. Добросмыслов со слов первого директора Туркестанскй публичной библиотеки Н. В. Дмитровского. Она прекрасно иллюстрирует житейскую мудрость Кауфмана и его отношение к «инициативам» местного населения. Как-то садовник при генерал-губернаторской даче пожаловался Кауфману, «что сарты крадут на даче клубнику». Кауфман спросил его, много ли ягод покрали. Нет, ответил садовник, ягоды не крадут, а вырывают кусты с землей. Ну, и слава богу, что крадут не ягоды, а кусты, — был ответ Кауфмана. Конечно, в этом нет прямой заслуги Кауфмана, но кто из ныне живущих в наших краях не знает о замечательной ташкентской клубнике (кулубнай), ягоды которой в избытке заполняют базары уже ранней весной. Это лишь один маленький частный пример освоения сельскохозяйственных культур, позаимствованных из России народами Туркестана.

Отстаивал и защищал самоценность исламской цивилизации и культуры, религии ислама в обобщающем историко-философском плане выдающийся русский востоковед В. В. Бартольд. Его заслуги в этой важной области колоссальны и неоценимы. И весьма печально было наблюдать, как совсем еще недавно некоторые наши горе-историки, лишенные исторического сознания, но зато наделенные непомерными амбициями, подвергали нападкам его труды и взгляды с позиций сиюминутной конъюнктуры. (А некоторые из них, вскормленные в «историографических кормушках» дальнего зарубежья, умудрялись даже ниспровергать «невежественного Маркса».) Да прочитали ли они труды Бартольда, огромные девять томов, на что требуется не один год жизни? Если по-хорошему, то Бартольд заслуживает того, чтобы ему устанавливали памятники и его именем называли научные учреждения и улицы в новых государствах Центральной Азии. Он заслуживает такого же уважительного отношения, какое сложилось в Казахстане к Л. Н. Гумилеву, именем которого теперь назван один из университетов в Астане.

Бартольд вместе со своими коллегами — востоковедами и историками, представителями петербургской школы русского востоковедения, выступил с рядом блестящих, тщательно документированных и обобщающих работ по истории исламской цивилизации и исламу, по истории и культуре Средней Азии, Туркестана. Его труды «Культура мусульманства», «Ислам», «Мусульманский мир» и многие другие были истинным интеллектуальным прорывом в обстановке тенденциозного политизированного единообразия, они во многом изменили представление об исламской цивилизации в целом. Бартольд еще до революции пользовался значительным авторитетом в высших кругах властных структур и, естественно, в просвещенном обществе того времени. И не только в русском, но и среди мусульманской интеллигенции. Его имя было хорошо известно многим туркестанским просветителям-джадидам, молодым национальным историкам. Не случайно его труды сразу же после выхода в свет переводились не только на европейские, но и на местные языки народов Средней Азии (в арабской графике). Бартольда и в целом петербургскую школу русского востоковедения критиковали, в особенности в советский период, за то, что она стояла «вне активного участия в общественно-политической жизни страны и была даже враждебна революционному движению». Однако одновременно признавалось, что «ей было чуждо расистско-высокомерное отношение к народам Востока и нигилистически пренебрежительная оценка их исторического прошлого и культурного наследия» (Лунин Б. В. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения).

Однако если общественная борьба различных мнений в целом проходила на поверхности, на виду у всего общества, то противоборство или противостояние внутри самих конфессий — ислама и христианства — было сокрыто и не всегда известно даже специалистам-исследователям. До сих пор нет полной и ясной картины межконфессиональных отношений в период после присоединения Средней Азии к России.

В целом в научной литературе утвердилась точка зрения, что православие не вело активной миссионерской деятельности в самой Средней Азии. Она была преимущественно сосредоточена в российских центрах миссионерства (в первую очередь в Казани). Литература по этому вопросу время от времени появлялась также в Петербурге и Москве. Среди подобных изданий отметим работу А. Гиляревского и А. Кульчицкого с характерным названием «Религиозно-нравственное состояние инородцев Туркестанского края и необходимость учреждения для них православной миссии» (М., 1893). Различные факты свидетельствуют об усилении этой тенденции в преддверии Первой мировой войны. Одна из ярких публикаций миссионерского плана принадлежала, например, протоиерею Ефрему Елисееву (см.: Прот. Ефрем Елисеев. Учреждение противомусульманской миссии в Туркестанской епархии. М.: «Русская

Печатня» С.К.Попова, 1913. — 32 стр.). В ней раскрывается «история вопроса» и философско-этическая подоплека необходимости такого рода начинаний. Как и «труды» некоторых светских деятелей империи, далеких от обладания знаниями в области ислама и исламской цивилизации и испытывавших к ним неприязнь, она основана на идеях превосходства христианства над исламом, якобы изначального и неизбывного фанатизма ислама, содержащегося в предписаниях Корана, и тому подобных стереотипах.

Интересно, что в эти же годы усиливается и «встречная волна» в среде мусульманских духовных ученых — уламо и суфийских авторитетов. Появляются многочисленные рассуждения внутри мусульманской религиозной литературы (в изданиях литографическим способом и в рукописях) о грядущем «конце времени» (охир замон) и его многочисленных приметах. Заимствования элементов русско-европейской культуры вместе с оживлением форм собственной народной культуры представители официального ислама расценивали как испорченность нравов и образа жизни мусульман, прямую угрозу «вере и нации» (дин ва миллат). Нередко это прямо связывалось с «внешним влиянием», идущим из иноконфессиональной среды, с влиянием русско-европейского образа жизни и культуры.

Не случайно в это время (на рубеже XIX — XX веков) появляются многочисленные тексты, порицающие испорченность нравов, склонность к запрещенным (неисламским) развлечениям у народа и знати, подражание в образе жизни и поведении христианам — пришедшим в регион русским. Они переписывались от руки на отдельных листках и ходили, по-видимому, в большом количестве среди населения Туркестана. Один из таких текстов в стихотворной форме (в виде поэмы) на персидском языке был составлен Шейхом Мавлави Ни'мат Аллахом Хиндустани. Он посвящен падению нравов мусульман и мусульманства под влиянием европейцев. В моем архиве имеются две разные копии этого стихотворения на отдельных листах, одна из которых датирована 1331 годом хиджры (1912–13 г. н. э.). Оба списка приобретены мною в Самарканде, и их внешний вид (например, наличие складок) подтверждает их долгое «хождение по рукам». Судя по упоминанию в тексте «падишаха ислама султана Хамида» как справедливого правителя, сочинение могло быть создано в период правления турецкого султана Абдул Хамида II (он был у власти до апреля 1909 г.). Уже в первой строке своего сочинения Хиндустани говорит о «наступлении в этом мире последнего времени» (охир замон), а далее призывает читателя-мусульманина увидеть его приметы — испорченность и разрушение многих моральных и этических норм ислама:

Посмотри-ка на христианского правителя на троне!
Захватили мусульман при помощи обмана.

Однако автор, не ограничиваясь ссылкой на христиан-европейцев, переходит к жесткой критике ключевых фигур и институтов самого ислама: судей (кази), шейхов, состояния школ — мактабов и мадраса и т. д. О шейхах говорится, что они, подобно дивам, демонстрируют подлог, проводя время тайно в тиши своих комнат с красотками. Автор завершает свое сочинение призывом к самому себе хранить молчание и не разглашать тайн Истины (асрор-и хакк). Такие настроения «эсхатологического» характера были достаточно широко распространены в сочинениях и других современников той эпохи. По большей части они связывались с негативным разрушительным влиянием европейцев, русских и в целом представителей христианской религии.

Однако есть основания считать, что и внутри самих конфессий, подобно описанной выше ситуации в светской мысли, существовало различие подходов и их

противостояние. Причем другая точка зрения высказывалась не только среди христианских авторитетов, но и некоторыми мусульманскими теологами. Имелись, хотя и немногочисленные, свидетельства толерантного отношения к христианам, их культуре и новшествам, поисков с ними компромисса и одновременно критики собственных «невежественных суфиев». Такого рода источники введены в научный оборот в последнее время.

В моем распоряжении оказался один интереснейший документ — небольшая брошюра (всего 17 страниц) на тюрки-узбекском языке под названием «Вахдонийат», что можно перевести как «Единство Бога». Ее рукописный текст издан литографским способом, а это свидетельствует о достаточно большом тираже издания. Однако автор, место и год издания не указаны, что может свидетельствовать о времени, когда открытое обсуждение такого рода проблем было небезопасно. Скорее всего, брошюра появилась в начале XX века, когда обострилась проблема межконфессиональных отношений и возникла общественная потребность в их осмыслении. Автор, основательно опираясь на священные тексты — Коран и Евангелие — и цитируя из них необходимые фрагменты, проводит идею о следовании мусульман и христиан одному единому Богу.

Новый этап в отношениях между конфессиями в бывшей советской Средней Азии наступил в период независимости, когда были предприняты значительные усилия и со стороны руководителей конфессий, и со стороны государственных деятелей по развитию взаимодействия, сотрудничества и гармонизации отношений между ними, по распространению и укреплению в обществе идей религиозной толерантности. Этому во многом способствовала многогранная деятельность митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира. Автор многочисленных духовных посланий и отдельных монографических научных трудов по вопросам взаимоотношений православных христиан и народов Центральной Азии в историческом прошлом и в настоящем, их взаимопомощи и добрососедства, митрополит Владимир поддержал инициативу о проведении в Ташкенте научных и академических по своей сути Востоковедческих чтений памяти Н. П. Остроумова. Чтения на протяжении ряда лет собирали вместе ученых разных национальностей и конфессиональной принадлежности и внесли значительный вклад в изучение истории взаимоотношений православия и ислама, их межконфессионального сотрудничества и согласия. Специальное рассмотрение этого вопроса не входит, однако, в задачи моей статьи.

Таким образом, мы видим, что на протяжении длительного времени в различных сферах общественной жизни, в особенности в умственной и интеллектуальной жизни, а также в самих конфессиях невежество соседствовало с просвещением и знанием. Они попеременно сменяли друг друга, а чаще сосуществовали одновременно. Невежество в одинаковой степени беспокоило лучшие умы и христианской, и исламской цивилизаций, и это хорошо видно из истории их взаимоотношений на просторах Российской империи и в Центральной Азии.

Как известно, проблема эта неизмеримо обострилась в наше время. Она приняла крайние формы конфронтационного выражения в целых регионах мира. Очевидно, что, как и в далеком прошлом, как и более ста лет назад, за этим стоит целый клубок сложнейших противоречий, среди которых и вековые накопления «мирового зла». Оно не уходит вместе с прошедшим временем, а вновь и вновь возвращается к нам, чтобы напомнить о допущенных некогда просчетах и ошибках. Оно движет историей, ее негативной и разрушительной стихией до тех пор, пока не встретит объединенного и целенаправленного противодействия — независимо от конфессий, классовых, социальных и цивилизационных различий.

2017 г., февраль
Ташкент

О понимании

Три письма на одну тему

Алексей Буров

В эпоху торжества научного познания идея о его принципиальной безграничности овладевает массами вообще и научно-технических работников в особенности. Усомниться в том, что возникновение и эволюция жизни, венчающаяся возникновением и эволюцией мысли, не противоречит физическим законам, в научной среде обычно считается проявлением клерикализма. Вера в разум, в безграничность научных объяснений обычно распространяется не только на жизнь, но и на сам разум: в принципе, мол, разуму подвластно все, даже объяснение своего собственного появления. Суждение о том, насколько выдерживает критику такая вера в отношении жизни, я оставлю за скобками этой заметки, сосредоточившись на ее самом радикальном пункте, на вере в подвластность науке самого мышления. А именно, попытаюсь показать, что наука не только никогда не сможет объяснить мышление хоть в каких-то аспектах, но она вообще о мышлении ничего сказать никогда не сможет, в силу самой сути научного познания. То, что доступно науке в отношении мышления, — это только описание его форм, языков, чье возникновение, как и всякое творчество, останется навек покрытым тайной.

Понятия науки делятся на две большие группы. Первую образуют наблюдаемые величины: расстояния, интервалы времени, массы, напряжения, и т.д. Отвлечемся здесь от углубления в тонкий вопрос, что именно мы измеряем, когда взвешиваем груз или прикладываем вольтметр; примем, что пусть и опосредованно, измеряются именно масса и напряжение — для целей настоящей заметки сего достаточно. Вторая категория понятий науки образована концептами теории, даже косвенно не измеряемыми. Таковы, например, гамильтонианы и лагранжианы классической механики, волновые функции квантовой механики, потенциалы электродинамики, и другие понятия теоретической физики. Попробуем показать, что мышление не может относиться ни к первой группе (наблюдаемых), ни ко второй (теоретических концептов), а стало быть, научно оно совершенно непознаваемо.

Позволю себе общее замечание: сущности наиболее явственно выражают себя не там, где они едва видны, но в своем предельном развитии. Следуя этому принципу,

---

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США.

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик, работающий главным образом в жанре научной фантастики.

Публикации в «Дружбе народов» в соавторстве: эссе «О красоте» (2016, №1); эссе «О молчании» (2016, № 6).

я отождествляю здесь понятия «мышления», «сознания», «осознания», «рефлексии»; мышление меня интересует не там, где оно лишь зачаточно, как у высших животных и младенцев, напротив, говоря о нем, я имею в виду его зрелое, мощное состояние, пронизанное сознанием своего бытия.

Научное наблюдение — особого рода; его не следует путать с житейским смыслом этого слова. Научное наблюдение есть обязательно стандартная и хотя бы в принципе воспроизводимая процедура. Оно есть следствие выполнения недвусмысленной инструкции, алгоритма. Все, что таковым статусом не обладает, за факт наукой не признается. Научное наблюдение требует профессионально подготовленных наблюдателей, работающих со стандартно описанными, воспроизводимыми, исправными приборами. Повышение числа независимых наблюдателей, как и множества наблюдений схожих явлений, имеет значение, добавляя надежность данных и выявляя их общие черты, которые только науку и интересуют.

Итак, возвращаясь к мышлению: наблюдаемо ли оно — в научном смысле этого слова?

Предположим, следуя Алану Тьюрингу и Роджеру Пенроузу, что имеется некий робот, изготовители которого утверждают, что он обладает сознанием, что он уже не машина, чьи процессы всецело заданы алгоритмом и случаем, а мыслящее существо. Существует ли какая-то универсальная тестирующая процедура, посредством которой это утверждение можно научно доказать или опровергнуть? Нетрудно увидеть, что нет, такая процедура невозможна. Всякая универсальная, регулярная процедура тестирования, анализа ответов на заданные вопросы (не обязательно вербальные) основана на каком-то принятом алгоритме различения между «ответами машины», «ответами сознательного существа» и «неопределенными ответами». Так вот, для всякого алгоритма тестируемый автомат в принципе можно запрограммировать так, чтобы на данную последовательность вопросов не давать «ответов машины». Подчеркну, что речь идет не о творческих стратегиях угадывания человеком, с кем он имеет дело, а о регулярной научной процедуре выявления мышления. Итак, каков бы ни был алгоритм тестирования, всегда в принципе существуют способы его обойти, не дать программируемой машине быть уличенной в том, что она всего лишь машина. С другой стороны, даже если ответы тестируемого создания попадают в категорию «ответов машины», нельзя исключить варианта умышленного введения нас в заблуждение мыслящим существом, вдруг решившим нас подурачить. Так что, отвечай это существо так или иначе, сказать определенного ничего нельзя, то есть в научном смысле мышление его ненаблюдаемо. По той же самой причине нельзя с научной достоверностью знать, мыслит ли хоть один человек. С этой точки зрения, тестирование человека ничем не отличается от тестирования робота. Мы знаем о своем мышлении и привычно принимаем на веру то, что другие люди тоже мыслят, что и у других людей есть внутренний мир, есть *я*, что они себя сознают. Эта важнейшая интуиция лежит в самом основании нашего бытия; она одновременно и необходима, и научно непроверяема.

Хорошо, пусть мышление ненаблюдаемо; но не может ли оно оказаться полезным научно-теоретическим понятием, вроде гамильтониана или волновой функции?

Декарт заметил, что мышление есть то, что составляет меня более чем что-либо еще: я вполне могу представить себя в иных мирах без тела, с утратой чувственных восприятий, многих воспоминаний, но без способности к мышлению представить себя не могу. Стало быть, мыслящее начало, в отличие от тела, чувств, памяти, не есть то, чем я владею, но то, что я и есть. Cogito ergo sum. Мышление — настолько

фундаментальная и первичная субстанция, что ее нельзя определить через что-то еще; напротив, она все определяет. Мышление нельзя запаковать в дефиницию, потому что оно первичнее всех дефиниций, им же и порождаемых, о мышлении мы знаем из непосредственного и непередаваемого опыта. Справедливо сказать, что мышление есть поиск понимания. Если нет проблемы, если все понятно, то нам и думать не о чем. Начальное состояние мышления — это сознание отсутствия требующегося желанного понимания. Результат мышления — прогресс в понимании. Даже если кажется, что продвинуться в понимании не удалось, сам факт пусть неудачной, но достаточно упорной попытки, указывая на трудность задачи, как-то добавляет знание о ней.

Границы возможного понимания не могут быть видимы.

Действительно, увидеть границу, значит, как-то увидеть то, что находится по ее обеим сторонам — и со стороны понятного и со стороны непонятного, притом принципиально непонятного. Но если я увидел то, что якобы не может быть понято, то это значит, что я это уже как-то понял. Таким образом, допущение о возможности увидеть границы понимания, мышления, как таковых, а не связанных с конечностью моей жизни, приводит к противоречию, а значит, эти границы принципиально неведомы. На выходе мышления может быть все что угодно; границ не видно. Мышление рождает новое, и это новое рождается в безграничности возможностей, кажущейся или реальной.

Но если мышление таково, это означает, что оно никак не может быть упаковано в теоретические понятия науки. Дело в том, что по сути своей теоретические понятия атемпоральны, заданы раз и навсегда, они не содержат тайны рождения нового. Да, электрон с какой-то вероятностью может излучить фотон, который может распасться на пару еще каких-то частиц, много чего может далее случиться. Однако же понятием электродинамики электрон является именно потому и в той мере, в какой все эти процессы теоретически схвачены и разложены по полочкам, где уже нет места загадкам и тайнам. Разумеется, с теоретическим понятием могут быть сопряжены открытые вопросы; в той мере, в какой это так, теория не закончена. Но понятием не может быть то, чья сущность состоит именно в рождении чего угодно, чему и границ не может быть видно. Стало быть, мышление принципиально не может быть понятием теории. К этому выводу можно подойти и несколько иначе. Мышление являет себя как творчество во времени; оно темпорально, есть возникновение нового, а не вечное бытие. Понятия же теории, напротив, принципиально атемпоральны, принадлежат миру идей, в котором никакого времени нет и нет места новому. Именно в силу этого принципиального различия мышление не может быть введено в мир научных идей, атемпоральных сущностей.

Итак, мышление никоим образом не может быть введено в науку: оно ненаблюдаемо и несводимо к теоретическому понятию. Сказанное не противоречит тому, что методами науки изучаются разнообразные формы мышления, языковые структуры. Просто формы мышления не следует путать с самим мышлением. Первые есть сложившиеся понятия, элементы имеющихся конструкторов; они принадлежат миру культуры, попперовскому *Миру номер три*, являясь его застывшими трансформами, как предложил их называть Михаил Эпштейн; тогда как второе, попперовский *Мир номер два*, есть таинственный живой источник нового, начиная от вспышки моего понимания чего и кого угодно до рождения новых теорий, языков и парадигм, населяющих *Мир номер три. Миром номер один*, напомню, Карл Поппер именовал материальный мир. (О любопытных отношениях попперовских миров и миров Роджера Пенроуза можно почитать в моей заметке «Треугольник Пенроуза и его братья» и в перекликающейся с ней графоцентричной статье Михаила Эпштейна

«Ромб и крест: система четырех миров»; обе выставлены на сайте «Сноб» в позапрошлом и прошлом году соответственно. — *А. Б.*)

Таким образом, мы пришли к заключению о фундаментальной неполноте научного познания: из него изначально и необходимо исключен его исток, мышление. А раз так, то там, где в поле научного исследования попадает мыслящее существо, следует ждать неразрешимых задач, противоречий и парадоксов — вроде логического парадокса лжеца или квантового парадокса «друга Вигнера». Возможно, в эту же группу попадает и «кот Шредингера». Хотя и нет оснований приписывать котам сознание, но в некотором, пусть и нерефлективном, мышлении им отказать нельзя — и не только в смысле ловли мышей.

Сказанное означает, что познание мышления требует иных — отличных от научных — путей. Познанием мышления, как известно, занята философия, стремление к мудрости. А коли так, то наукой философия не является и не может являться. В силу своей главной задачи она не теоретична, не базируется на раз навсегда данном наборе каких-то аксиом и понятий, но рефлективна; после каждого витка мысли она готова возвратиться к уже сказанному, дабы пояснить и развить его.

Геннадий Прашкевич

Начну издалека. С 1951 года.

В нашем классе появился новый ученик.

Заморыш, как многие, он избегал компаний, уходил от расспросов, старался уединиться, неохотно откликался на свое имя. А имя было — Адик, оно, собственно, и определяло ситуацию. В первый же день мы узнали, что в классном журнале новичок записан как Адольф. Лет пятнадцать назад (до войны) это имя вполне воспринималось бы, но шел 1951 год, и мы жили в небольшом городке, где буквально у каждой семьи Большой Адик (Адольф) отнял отца, сына, брата, сестру, ни одна семья не осталась незатронутой прокатившейся по миру войной.

Но теперь мы ходили в школу, читали книжки.

Искрящиеся снежинки, весенняя листва, цветы на полях — теперь мы жили в нормальном мире, мы были его частью. А этот новенький... Адольф! Надо же! С детской жестокостью мы избивали новичка на каждой перемене. К кому ты пришел, Адольф? Зачем ты пришел к нам?

Отучившись, набегавшись, совершив все, что только можно было совершить за долгий, голодный, но всегда счастливый день, я раскрывал первую попавшую под руку книжку. «Хей, бродяга. Отдохни у нас! Отведай лапши и кальян покури. Здесь сидели Валиханов и Верещагин, а вон там курил Миклухо-Маклай и летел с драконами в белые горы Восточного Туркестана — край семи городов, где семь рек слагают озеро, в котором видно дно за много километров, и где замшелые щуки, огромные как затонувшие корабли, топорщат во все стороны кривые редкие зубы и пучат белесые перламутровые глаза». До сих пор помню это длинное предложение, хотя имя Валиханова ни о чем мне не говорило, и Восточный Туркестан казался чем-то бесконечно удаленным, а Верещагин ассоциировался лишь с грудой черепов на общеизвестной картинке.

То есть ничего этого в нашем мире как бы и не было.

Мы прекрасно знали, что главный носитель сакрального имени — Адольф Гитлер — давно уже не существовал, но Адик вызывал беспокойство. Вельветовая

курточка, штаны с бахромой, стоптанные сапоги на вырост, он ничем от нас не отличался, зови его Ванькой, Петькой, Сенькой он сразу стал бы одним из нас. Но Адика звали не Ванькой или Петькой, он был Адик. Что поделаешь. Когда Адика назвали Адиком, германские офицеры еще учились в наших военных училищах, а советские офицеры бывали на учениях в Германии. Таков был мир. Теперь взрослые надеялись, что мы — их дети — растем более умными, чем они. Теперь они надеялись, что мы быстро созреем до понимания того, что происходит в жизни. Нельзя же только из-за неудачного имени бесконечно переводить заморыша из школы в школу, нельзя защитить его сразу от всех нас, ведь мы были морем, а он одиноким пловцом. В сущности, Адик был обречен. У него не было будущего. Он даже не мог перекинуться в наши ряды, потому что изначально был награжден никем не признаваемым именем. Взрослые надеялись, что мы поймем... Но что мы поймем? Как? Несмотря на забитость, Адик оказался упертым, а мы были всего лишь травой, мы росли. То, что происходило на переменах, не мешало нам бегать на каток, ходить в кино, посещать разные кружки, сочинять стихи. «Друг — это тот, кто не может в беде оставить другого». Что-то такое заносилось в самодельную (из нарезанной газеты) записную книжку. Друг — это да. Друг — дело святое. А вот Адику врежем.

Однажды нам задали домашнее сочинение.

Не сильно оригинальное. «Кем я хочу стать, когда вырасту».

Выбор у нас, конечно, был. Можно было пойти в столярку, или выучиться на монтера, или устроиться подкатчиком в вагонное депо — круглое катать, квадратное валять, выращивать горох и капусту, месить глину на кирзаводе, да мало ли. Иногда в школе нам показывали диафильмы об океанах, даже о других планетах, но это было далеко, там ничего нельзя было потрогать, и со звездами тоже ничего не происходило. Вот вечер, каток, музыка, свет фонаря, драки — это да. Много позже я с некоторым разочарованием узнал, что в каждом времени тлели свои непонятные нам кострища. Поэт Пушкин, к примеру, закладывал в ломбарде крестьянские души, полученные им от отца при дележе имения, а прозаик Тургенев из чистых душевных побуждений хотел подарить дочке критика Белинского деревеньку с душами. «С человеческими?» — ужасалась дочка Белинского. «С крепостными», — улыбался Иван Сергеевич. А тут еще Адольф, Адик. Мы слушали и ничего не понимали. Мы просто росли. Мы оставались юкагирами, у которых натуральный ряд чисел невелик и заканчивается понятием *предел знания*. Один, два, три, четыре... одиннадцать, двенадцать... двадцать пять, двадцать шесть... сто, сто один, сто два... и где-то на второй сотне всё — *предел знания*.

А если само мышление ненаучно, то что говорить об искусстве?

Чувство вины за всех и за всё — какими инструментами его измерить?

Можно дать самый подробный анализ того, как сделан «Чевенгур» Андрея Платонова, но кто возьмется его повторить? И вообще, кто меня убедит, что, читая «Короля Лира», я чувствую именно то, что хотел донести до меня Шекспир или хотя бы более поздние критики и толкователи? Никто пока не написал второго «Дон Кихота», никто не написал второго «Евгения Онегина». Как это понять?

В школьные годы нас спасало то, что мы были заодно, один Адик — против.

От всего этого еще сильней (мне лично) хотелось узнать, кем наш угнетаемый Адик собирался стать, когда вырастет. Летчиком? Ага, держи карман шире. Моряком? С таким именем и в вагонное депо не пустят. Может, Адик будет водить по городу телегу-говновозку? Но и тут как-то не катило. На говновозке работали спившиеся, но все же местные всем понятные мужики — Ваньки, Федьки, Серёги, никак не Адики. А в мире идей... В мире идей предметы и люди замещены символами... В мире идей, в мире искусства ничего нельзя ухватить руками... Гамильтонианы, волновые функции

квантовой механики, потенциалы электродинамики, драмы, комедии, трагические романы... Полная свобода, не правда ли? Но немногие понимают, чем мораль героев Венечки Ерофеева отличается от морали героев Андрея Платонова. В сущности, мы продолжаем страдать от того, что нет в искусстве никакой регулярной, стандартной, действительно воспроизводимой процедуры, четко бы подтвердившей правоту какого-то одного конкретного взгляда.

Отсюда нескончаемость, неповторимость искусства.

Отсюда нескончаемость, неповторимость творчества, заглатывающего, принимающего в себя всё и всех. Да, как и в каменном веке, мы начинаем с иконографии, с простых описаний, с жеста, но ведь мы никогда не останавливаемся на второй сотне действий. Предел знаний нас не пугает. Мы лезем напролом. Даже разбив лбы, мы стараемся перешагнуть предел знаний, написать второго «Дориана Грея» или вторую «Золушку» и, к счастью или к сожалению, почти во всех случаях отступаем, лишь изредка, очень изредка создавая нечто новое.

Вот и мучает нас безмерно: кто смотрит из наших глаз?

У писателя (преодолевшего соблазн описаний) нет инструкций.

Он не понимает, как писать, о чем писать, он только догадывается.

Конечно, он волен придумывать свои собственные законы и инструкции — все равно, погружаясь в творчество, он начинает с попыток понимания. Да, произведений искусства нельзя повторить, никакой Дали и Малевич не могут отменить (заменить) росписей каменного века или искусства шумеров или древних египтян, тут ты всегда в тупике, тут ты всегда в отчаянии. Отсюда разнородность созданного художниками, чудовищные лакуны в эстетике, в философии. Отсюда, наконец, понимание: творчество — это мышление во времени. Именно так.

Но, Господи, как хочется всё понять, догадаться.

Как хочется узнать, наконец, кто смотрит из наших глаз.

Многие годы я размышлял, что же, что же все-таки написал в своем сочинении Адик.

Не узнал бы, наверное, никогда, не помоги случай. Самый что ни на есть обыкновенный случай. В школе, когда однажды я заглянул в нее, встретил я нашего бывшего учителя литературы — человека преклонных лет. Спросить его? Но вряд ли он помнит какое-то давнее сочинение; это же ерунда, мелочь, давно забытая. Что ему до того, кем хотел быть один из его многочисленных (и, видимо, неудачливых) учеников. Да хоть космонавтом, хоть министром финансов. Что это меняет?

Но ведь Адик *был*. Он действительно был. Он прятался от наших детских, но вполне весомых кулачков, он мыслил, что-то пытался понять. Какие инструменты позволят теперь выявить то, о чем он думал?

К счастью, я не удержался и спросил.

И — о чудо! — учитель вспомнил. «Да, да, Адик, помню».

А помнит ли он его сочинение? Мне даже напоминать учителю не пришлось, он помнил. Да, да, обычное домашнее сочинение, и тема была обычная — кем я хочу быть, но учитель запомнил. Почему? «А оно было очень коротким». — «Что же он там написал? Кем хотелось стать нашему Адику?»

И учитель ответил:

«Адольфом».

Алексей Буров

Не знаю, Геннадий Мартович, что у него было дома, у этого мальчика, но школа для него, судя по сказанному, была каждодневным запланированным адом. Полное одиночество. Ничего, кроме немотивированного насилия. Отовсюду, от всех и каждого, со взаимным поощрением. Идти некуда.

Древневерхненемецкое имя *Athalwolf*, укоротившееся в *Adolf*, означает «благородный волк». Магическое, рыцарственное имя. Как тут и Ивана Царевича с верным Серым волком не вспомнить? Неудивительно, что модификации этого поэтического имени были довольно популярны у многих европейских народов; его носило немало королей. Известен ли был мальчику смысл его имени? Думаю, да: он не мог не спрашивать, а родители обычно задумываются о значении имени, прежде чем дать его ребенку. И два смысла, благородной волшебной силы и ужасного истребителя народов, не могли не соединяться в уме вечно преследуемого одинокого маленького существа, сияя надеждой, обещая час избавления и победы, грозной для злого мира; вот что, думается, означало его сочинение. Так что, если мальчик выдержал пытки, не наложил на себя рук, из него вполне мог вырасти жестокий мститель в обличии сотрудника официальных органов или бандита. Но может быть, при каких-то невероятно благоприятных обстоятельствах, из него вырос бы и святой — как знать?

Многого не понимают дети; они эгоцентричны и потому могут быть особенно жестоки. Но что тогда означает вот эта заповедь: «*Воистину говорю вам, если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царствие Небесное*»? Не буду касаться бесчисленных толкований сего очень известного места; скажу лишь, как я его понимаю. *Стать как дети* — это может означать лишь восстановление в себе некоего важнейшего духовного качества, присущего именно детям, всем нормальным детям, но позже, как правило, утрачиваемого. Может ли этим качеством быть *кротость*? Такое утверждение мне всегда казалось неудовлетворительным, ибо дети в целом эгоистичны более чем взрослые, о чем свидетельствует такое слово как *инфантильность*; кротость же — антитеза эгоизму. Думаю, есть только одно качество, несомненно, спасительное и преимущественно детское: любознательность. Оно-то как раз и может быть понято именно как кротость: мое стремление узнать неведомое и вместе с тем важное подразумевает нескрываемое признание, что я несведущ в этом очень важном деле, неполон, мал, недостаточен, нищ, если угодно. Признаю себя нищим духом, рад новым крохам его — и в этой кротости нескрываемой нищеты есть блаженство детской радости познания. И напротив, если я подразумеваю, что все существенное, все, что требуется для жизни и доступно познанию, мне уже известно, а поиск великих открытий, новых пониманий кажется чем-то несолидным, уделом детей, юнцов и каких-то нелепых, так и не повзрослевших людей, то это означает, что данная мне от рождения жажда познания утрачена.

Хорошо, спросит кто-нибудь, но почему же Иисус прямо не сказал, что речь идет о любознательности? Не знаю. Может быть потому, что любознательности нельзя от людей требовать, ее нельзя подводить под мораль. К любознательности можно лишь косвенно побуждать — например, некоторой загадочностью речений, притчами, символами. Есть вещи, точно указать на которые может лишь намек.

Здесь мне могут напомнить, что любознательность — это, конечно, хорошо, но все же Иисус учил, прежде всего, не тому. Могут напомнить, что когда Его спросили о самом главном, Он указал, во-первых, на любовь к Богу, а во-вторых, на любовь к

ближнему; что в этих двух заповедях — весь Закон и Пророки. Могут также заметить, что превращение жизни Адика в ад совершалось не только энергией его одноклассников.

Что ж, кажется, с этим нельзя не согласиться.

Но соглашаясь, я хочу спросить: не является ли любознательность одним из проявлений любви к Богу и человеку? Не может ли так оказаться, что представление о разделенности, разноприродности этих проявлений любви лишь свидетельствует о недостатке понимания их связи и даже тождественности на последней глубине?

Вспомним, что сущности наиболее ясно выражают себя там, где они явлены с наибольшей силой. А коли так, любознательность следует в первую очередь изучать не на крысах, и даже не на людях вообще, но на гениях, в которых ее высокое проявление, стремление к истине, выражено наиболее явственно.

Вот что писал человек, ставший символом науки, Альберт Эйнштейн, об источнике вдохновения ее отцов-основателей:

«While it is true that scientific results are entirely independent from religious or moral considerations, those individuals to whom we owe the great creative achievements of science were all of them imbued with the truly religious conviction that this universe of ours is something perfect and susceptible to the rational striving for knowledge. If this conviction had not been a strongly emotional one and if those searching for knowledge had not been inspired by Spinoza's Amor Dei Intellectualis, they would hardly have been capable of that untiring devotion which alone enables man to attain his greatest achievements». (A.Einstein, «Religion and Science: Irreconcilable?» Christian Unitarian Register 127 (June 1948): 19—20; Ideas and Opinions, p. 49—52. Jammer, Max (2011-09-05). Einstein and Religion: Physics and Theology (p. 117—118). Princeton University Press. Kindle Edition).

«В то время как научные результаты абсолютно не зависят от религиозных или моральных соображений, те личности, которым мы обязаны великими творческими достижениями науки, все были пронизаны подлинно религиозным убеждением, что эта наша вселенная есть нечто совершенное и доступное рациональному стремлению к знанию. Если бы это убеждение не обладало сильнейшим эмоциональным зарядом, если бы ищущие знания не были вдохновлены спинозовской amor dei intellectualis (интеллектуальной любовью к Богу), они едва ли оказались бы способны на ту неустанную преданность, которая одна лишь дает человеку силы на величайшие достижения».

Итак, любовь к Богу, любовь особого интеллектуального рода, *amor dei intellectualis,* явилась мотором всех великих открытий физики, тем самым науки вообще. Спорить тут с Эйнштейном нельзя, и не потому даже, что мы имеем дело со свидетельством, данным с самой вершины научного Олимпа, но потому, что эта любовь запечатлена глубокими признаниями тех, о ком и идет речь: Галилея, Кеплера, Лейбница, Ньютона, Гаусса, Пуанкаре, Планка, самого Эйнштейна, Бора, Гейзенберга, Дирака, Вигнера, Фейнмана. Если самый холодно-рациональный предмет познания — математические законы природы — постигаются силой любви, то что тогда говорить о других, более близких нашим чувствам, предметах?

Чтобы подлинно понять человека, надо прежде всего стать им на какое-то время, совместить свое *Я* с его *Я*, воспринять мир его глазами. Таков необходимый первый шаг понимания. Но такое слияние моего *Я* с *Я* другого требует особого внимания к другому, важности для меня каждой его черты, сколь бы нелепой, дурной или злой эта черта ни казалась. Не только мои вкусы и предпочтения, но и сама мораль на этом этапе должны быть отодвинуты — иначе ничего не понять. И если нет у меня глубинной любви к этому человеку, превозмогающей все его возможное зло и безвкусицу, ничего этого не получится, мне не удастся слияние с ним, мне не понять его. У меня не будет ни достаточной мотивации к тому, ни достаточной восприимчивости. А значит, все мои суждения о нем будут в лучшем случае топорны, а то и попросту ложны; все мои действия по его адресу будут нести на себе печать моего безразличия или отвращения и, если он рядом, будут вызывать такую же ответную реакцию.

А надо ли так уж стараться понимать всех подряд? — спросит иной читатель. — Да вокруг меня есть такие, на кого глаза бы не глядели; чего это я буду стараться их понимать? Я не проповедник, и одно только скажу о такой незавидной ситуации: да, это трудно, но основные формулы морали — золотое и серебряное правила, категорический императив, подразумевают усилие к субъективному пониманию не как особое благодеяние, но как безусловный долг в отношении кого угодно, даже не слишком блещущих умом и добродетелью коллег и соседей.

Субъективное понимание другого радикально отлично от его объяснения как объекта приложения физических, биологических, психологических или социальных сил. Понимание человека, редуцированное до объективированного объяснения, есть даже не унижение, но уничтожение его. Оговорюсь: когда подобная объективация прилагается к моделированию поведения тех или иных групп, она не обязательно посягает на личность, а потому может быть морально нейтральной, как прием научного анализа социальных явлений. Но когда объективации придается статус основного понимания человека, когда о его субъектности не заботятся, вот тут закладывается самый глубокий аморализм из всех возможных: приравнивание человека к бездушной сущности. Такая парадигма мышления, явно или неявно, осознанно или нет отрицающая самую основу морали, уже содержит в себе возможность оправдания и поощрения каких угодно злодеяний — что и было продемонстрировано опытом приложения известного учения, сводящего человека к его *объективной классовой сущности*, к *совокупности общественных отношений.*

«Мне не нравится демонизация Гитлера. Надо видеть в нем человека, в том числе с добрыми качествами, а не только злодея», — сказал мне девяностолетний еврей Джек Стейнбергер, нобелевский лауреат. Джеку было 13 лет, когда в 1934 году он и его старший брат бежали из становившейся все более страшной Германии, добрались до Атлантики и приплыли в Америку. Злодеяния нацизма для Джека не есть отвлеченное понятие. А зачем вообще так уж стараться увидеть персону Гитлера? — спросит иной читатель. Нацизм как явление неплохо изучен, и проникновение в душевные нюансы одного из самых крайних негодяев вряд ли что-то может добавить к уже понятому. Думаю, впрочем, что демонизация Гитлера была отвратна для Джека сама по себе. Дело в том, что демонизация аморальна, она лишает обязательности самую основу морали: фундаментальное равенство людей. Если она принята за норму в отношении хотя бы одного человека, зовись он даже Гитлером или Сталиным, она тем самым допустима в отношении кого угодно, ибо вирус демонизации уже с нами. Мы уже готовы увидеть символ, образ зла в любом человеке или группе людей, с которыми мы разошлись по каким-то вопросам, или нам они чем-то не понравились — тем более что это так просто, так естественно избавляет от усилий к пониманию этих людей и так приветствуется и возбуждается политиками. Люди, с которыми мы оказались по разные стороны, легко могут редуцироваться до объектов нашей ненависти или отвращения, разом освобождающих от всех трудных вопросов и всех моральных заповедей.

«В 1970 г., вдумываясь, почему Достоевский мало кого убедил своими "Бесами", я сформулировал догмат полемики: "Дьявол начинается с пены на губах ангела. Всё рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и потому зло на земле не имеет конца". В полемике 70-х годов я упорно, в мучительной борьбе с собой, смахивал с губ эту пену и сформулировал второй догмат: «Стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию», — писал Григорий Соломонович Померанц, вспоминая свою полемику с Александром Исаевичем Солженицыным.

Что же касается проблемы понимания исторических злодеяний, то демонизация их основных фигур вообще несовместима с этой задачей.

В 1963 году в Нью-Йорке была издана книга одного из интереснейших мыслителей

прошлого века Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме: о банальности зла». В основу книги легли очерки, написанные ею во время иерусалимского процесса 1961—1962 годов над Адольфом Эйхманом — бывшим завотделом гестапо, отвечавшим за *окончательное решение еврейского вопроса.* Доминирующее воззрение на Эйхмана было ко времени процесса прочно демонизировано. В еврейской среде он вообще не рассматривался иначе как фанатичный антисемит, крайний ненавистник евреев, практически исчадие ада. А вот Ханна Арендт, пережившая Холокост немецкая еврейка, увидела в фигуре Эйхмана нечто иное: банального карьериста, старательного исполнителя воли начальства, бездумного массового человека во всем его жалком, комичном и страшном ничтожестве. *Банальность зла* — термин этот прочно вошел в политическую философию и этику. В своем интервью 1963 года немецкому журналисту Фесту (Fest), Ханна Арендт специально подчеркнула коренную характеристику этой банальности: «There's nothing deep about it — nothing demonic! There's simply the reluctance ever to imagine what the other person is experiencing. Eichmann was perfectly intelligent, but in this respect he was stupid. It was this stupidity that was so outrageous». — «Там не было ничего особенно глубокого, ничего демонического! Было просто нежелание хоть раз представить себе переживание другого человека. Эйхман был вполне рассудителен, но в этом отношении он был туп, и эта тупость была шокирующей».

Неудивительно, что свободный от демонизации взгляд на отъявленного злодея вызвал ожесточенную критику со стороны тех, кто так смотреть не мог и не хотел. Спустя полвека после публикации книга Ханны Арендт по-прежнему находится в центре внимания; многочисленные и непрекращающиеся выступления критиков лишь подчеркивают ее непреходящее значение. И хотя непробиваемый нравственный идиотизм Эйхмана совсем не то же самое, что эмоциональное ослепление демонизации, в главном они совпадают: в обоих случаях имеет место полное нежелание, неспособность понимать другого.

Путей познания много, и движущие силы его разнообразны. Но там, где познание есть не средство, но самостоятельная ценность, там можно с несомненностью сказать, что оно движимо любовью к своему предмету. Действительно, зачем бы я тратил дорогое время, если предмет этот мне безразличен? Разве можно любить некий предмет без перенесения этой любви на то, что породило его красоту? Любить стихи Пушкина и не любить его самого? Восхищаться красотой теоретической физики и не переносить это восхищение на ее авторов? Вспомним Иова, пошатнувшееся доверие которого Творцу восстановилось созерцанием бесконечной красоты творения. И наоборот: если допустить, что Вселенная создана не слишком добрым и не слишком умелым демоном, как полагали гностики, разве можно видеть в познании мира самостоятельную ценность? Разве что по крайнему недомыслию такое возможно. Таким образом, любовь к Истоку и Началу всего, к Богу, есть, с одной стороны, условие ценности познания мира, а с другой, есть не что иное, как побуждение к пониманию Творца, смотрению на мир Его глазами — при всей несоизмеримости с Ним и неисповедимости путей Его.

Вы, Геннадий Мартович, спрашиваете: кто смотрит из наших глаз?

Тот, кто не только смотрит моими глазами, но и знает, что смотрит, есть, несомненно, я, — отвечает Декарт, искавший самого достоверного. Библия же говорит не о том, *кто*, но *как должно*: самое главное — стремиться смотреть с Богом, и все остальное приложится нам. Но разве не о том же пишет и Ортега, парадоксально определивший, мы помним, высший тип человека через неустанное превосхождение самого себя: если не любовь к Богу, не стремление к Нему, то что же еще может быть истоком того зова к неведомому *Я*, что всегда лучше, чем я? Куда, на какую высокую звезду смотрит этот компас совершенства, и откуда черпает энергию этот вечный двигатель вдохновения?

Вера Зубарева

« Удвоенность молитв прими...»

Две родины в поэзии Беллы Ахмадулиной

Стихотворение «Сны о Грузии», написанное Беллой Ахмадулиной в 1960 году и впервые опубликованное в журнале «Литературная Грузия» (1965), заявило тему двух родин в ее творчестве. Это был момент предвидения, словно поэтическая интуиция позволила ей заглянуть туда, куда мало кому дозволено. И сегодня, читая почти пророческое «пусть... колдуют надо мной», видишь, как именно две родины «колдовали», возвращая Ахмадулину к жизни годы спустя.

Сны о Грузии

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенявшая уста.
Ни о чём я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чужой.

О колдовстве «родины суровой» Белла Ахмадулина писала в «Глубоком обмороке» (1999) — «загадочном», по ее определению, цикле стихотворений, написанных по следам ее клинической смерти и чудесного, по признанию врачей, воскресения (Зубарева В. // Дружба народов 2015, № 9). О колдовстве «родины чужой» она писала в новом цикле «Сны о Грузии» («Дружба народов», 2000, № 10), в той же больнице им.Боткина, где создавался «Глубокий обморок»[1].

[1] «Это было в московской больнице имени Боткина. Я не хворала, но, по доброму усмотрению врачей, была в больнице, где по ночам писала», — уточнила она в предисловии к циклу «Стихи о Грузии».

Обе родины отличаются и по описанию, и по своей роли, которую играют в жизни Ахмадулиной. Отличаются они и по истории, и по отношению к своей культуре. Пространство «родины суровой» во времена советской России — это пространство нищеты («...и кимрских жён послала нищета/ в Москву,/ на ловлю нищенской зарплаты»), несвободы, попрания традиций («В том месте — танцплощадка и горпарк,/ ларёк с гостинцем ядовитой смеси./ Топочущих на дедовских гробах/ минуют ли проклятье и возмездье?»). В пространстве Грузии того же периода — это праздник единения души и духа. В своем эссе о Грузии Ахмадулина вспоминает, как «однажды осенью в Кахетии» их пригласил в дом крестьянин и угостил молодым вином. «Мы едва успели его отведать, а уже все пели за столом во много голосов, и каждый голос знал свое место, держался нужной высоты. В этом пении не было беспорядка, строгая, неведомая мне дисциплина управляла его многоголосьем». Сравним это описание поющих с описанием в стихах «Суббота в Тарусе»:

Субботник шатается, песню поющий.
Приёмник нас хвалит за наши свершенья.
При лютой погоде нам будет сподручней
приветить друг в друге черты вырожденья.

Пространство Сакартвело — изобильно и несет в себе духовное освобождение. Это место, где воскресает душа, где мысленные встречи с обитателями занебесья радостны и светлы. «Мне приснилось имя этого места земли: так ясно, так слышно, что я проснулась в слезах, но потом весь день улыбалась, и те, кто не знал, что значит САКАРТВЕЛО, — Грузия, Сакартвело — свет моей души, много ласки, спасительного доброго слова выпало мне в этом месте земли, не только мне — многим, что — важнее», — писала она в предисловии к новому грузинскому циклу.

Сложные и неоднозначные исторические отношения и пересечения двух родин у Ахмадулиной находят свое разрешение в сфере духовности, которая парит над политическим режимом. Обе родины объединены темой Таинства, по-разному раскрывающейся в пространстве каждой из них. В пространстве «родины суровой» движение к Таинству происходит в одиночку («Субботник окончен. Суббота — в зените./ В Тарусу я следую через Пачево»); в пространстве «нежной родины» — всегда в сопровождении единомышленников. «Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне», — писала Ахмадулина в «Воспоминании о Грузии». В ее поэзии тех лет Грузия противопоставлена России как мечта с «золотым Свети-Цховели» — реальности с разрушенными храмами («Урод и хам взорвет Покровский храм...»).

мне — пляшущей под мцехтскою луной,
мне — плачущей любою мышцей в теле,
мне — ставшей тенью, слабою длиной,
не умещённой в храм Свети-Цховели...
(«Мне — пляшущей под мцехтскою луной...», 1956 г.)

Собор Свети-Цховели в Мцхете — это духовный центр Грузии. Там хранится хитон Господень — святыня православного мира. В переводе с грузинского «Свети-Цховели» означает «животворящий столб», и этой символикой проникнуто описание храма во втором цикле:

Спасли грузины убиенный Дождь —
воскресли струи строк и уцелели,

и всё совпало: маленькая дочь,
и Лермонтов, и храм Свети-Цховели.
(«Памяти Симона Чиковани»)

Грузия, спасение и воскресение ставятся на одну ступень в «Снах о Грузии», смыкаясь в «бесконечном объятии» под сенью храма. И дело не только в его исторической и религиозной значимости. С храмом Ахмадулину связывает таинство крещения. «Крестили меня уже в возрасте, в грузинском храме Свети-Цховели. Мою крестную, которую зовут Манана, я очень люблю», — рассказывает она в интервью, опубликованном в «Московском железнодорожнике».

Грузия — это ее крестная родина-мать, мысли о которой проникнуты светом неизреченной реальности. В контексте Таинства «радость», которую несут сны о Грузии, — это еще и благая весть, а сны — это еще и молитвы о Грузии («Писать — это значит молиться о ком-то»). Молитва в стихах 1960 года в чем-то провидческая, словно иные времена проступали перед внутренним взором поэтессы, когда она писала: «Господи, пусть будет это / вечно так, как ныне есть». Через сорок лет, уже в новых условиях, Ахмадулина повторит «сдвоенную» молитву:

Удвоенность молитв прими,
о Боже, — я прошу — о Гмерто!
Оборони и сохрани,
не дай, чтоб небо помертвело
свирельное с и к в а р у л и —
вот связь меж мной и Сакартвело.
(«Памяти Гурама Асатиани»)

И в предисловии к новым «Снам о Грузии» она повторяет свою молитву: «о Боже, храни этот край земли и все, что мы видим и знаем, и то, что нам не дано знать».

Новые «Сны о Грузии» в чем-то созвучны «Глубокому обмороку», но выполнены в другом, мажорном, искрящемся ключе, невзирая на скорбные нотки. Так же, как «Глубокий обморок», «Сны о Грузии» открываются пробуждением лирической героини. Только если в «Глубоком обмороке» это пробуждение от смерти, то в «Снах о Грузии» — это пробуждение от сна. И в том, и в другом случае сон стирает из памяти то, что дорого, а пробуждение возвращает все с особой остротой. Оба цикла заканчиваются темой послания. В «Глубоком обмороке» последнее стихотворение названо «Послание». В «Снах о Грузии» заключительные стихи завершаются строчками «Нечаянно содеяла посланье». «Послание» в «Глубоком обмороке» адресовано себе («Пишу — себе») и символизирует творческое одиночество, тогда как послание в «Снах о Грузии» посвящено другу — поэту Отару Чиладзе.

Та же параллельность метафор распространяется и на ключевые образы двух циклов. В «Глубоком обмороке» «шестидневье» в окружении «крылатого» медперсонала прочитывается как шестикрылье, ассоциируясь с пушкинским шестикрылым серафимом, сначала умертвившим, а затем воскресившим поэта. В «Снах о Грузии» Ахмадулина отрабатывает грузинскую версию, сменив «шестикрылье» на «девятикрылье»:

нет! то был дэв. Он молвил: Сакартвело.
Конечно, дэв. Один из девяти.
(«Памяти Симона Чиковани»)

Дэв — существо не из приятных, прямо скажем — злобных. У Чиковани это «девять дэвов, девять капель яда», которые в конце нейтрализуются любовью и светом. У Ахмадулиной участие добрых сил выражено опосредованно — в вопросе, которым она задается:

Кто в эту ночь молился обо мне,
сберечь меня просил святую Нину?

Эту загадку она пытается разрешить всем изощренным ходом стихотворения. У Ахмадулиной раскрытие тайны (а стихи ее выстраиваются вокруг таинственных намеков, которые требуют прояснения) становится тропкой, ведущей к Таинству. На то, куда ведут следы тайны, обычно указывает дата, включенная в текст. В «Памяти Симона Чиковани» дата обозначена в конце: «День августа иссяк двадцать шестой». Можно, конечно, предположить, что это дата написания стихов. Но это мало о чем говорит. Дата в стихах Ахмадулиной обычно проливает свет на скрытые увязки в сюжете. На продуманности сюжета она настаивает, обрамляя стихи завязкой и развязкой.

Завязкой служит пробуждение лирической героини, которая просыпается в слезах, думая, что день не принесет ей удачи, а в развязке слезы сменяются «смехом бдений» и день оказывается счастливым. Все, что происходит между, — представляет загадку. Что повлияло на перемену настроения лирической героини? Почему ее посетили злые силы в образе дэва? Это и многое другое нуждается в развернутом толковании, поскольку однозначно ответить на возникающие вопросы невозможно. В конце даются три обоснования радости. Во-первых, «итог судьбы преображен в начало». Эта намек на стихи Чиковани «Начало», которые Ахмадулина переводила. «Начало» посвящено творческому процессу и заканчивается так:

Вот уже завершается круг.
Прежде сердце живее стучало.
И перо выпадает из рук
и опять предвкушает начало.

В контексте посвящения фраза об итоге судьбы означает не что иное, как окончание работы над стихотворением и движение к следующему. Поскольку для поэта нет ничего страшнее творческой смерти, то «предвкушение начала» новых стихов и есть знак того, что жизнь продолжается. Вторая добрая весть — «больным заметно полегчало». И, наконец, третья — это сообщение о том, что сознание стало «смиренно и не вспыльчиво». Но в результате чего все это произошло? Кто обуздал злого дэва, злые силы болезней и вспыльчивость как внутреннее зло, гнездящееся в сердце?

Ответ кроется в дате. 26 августа — это день празднования иконы «Умягчение злых сердец». «Умягчение» касается не только внешних враждебно настроенных сил, но и нашего сердца. Но кто же «умягчил» враждебные силы? Ответ выстраивается из имен, составляющих духовный фундамент Сакартвело. Прежде всего это помещенные в текст образы святого Давида Гареджийского и святой равноапостольной Нины. За ними тянется шлейф деталей, связанных с духовным пластом грузинской истории.

Св. Нина, жившая в Иерусалиме, прослышав от иудеев из Иверии (Грузии), посещавших на Пасху Иерусалим, о язычниках, населявших их страну, решила отправиться туда, чтобы распространить среди язычников учение Христа. По преданию явившаяся во сне Богоматерь благословила ее, и святая отправилась в путь. Достигнув Мцхеты, она начала свою просветительскую деятельность.

Преподобный Давид пришел в Грузию из Сирии. Он поселился вблизи Тбилиси, но вскоре удалился в Гареджийскую пустынь.

Глаза лирической героини превращаются в средоточие пустыни, по которой столетия спустя странствует Давид:

Плачь обо всех, доплачься, доведи
пустыню глаз до нужных им деяний.
……
Моим глазам плач возбранён давно,
он — засуха за твердою оградой...

Пустыня внутри нее — это пустыня духовной наполненности. («Пустынники и девы непорочны», — процитирует она молитву Сирина в пушкинском переводе в «Глубоком обмороке», также исполненном метафор пустыни.) Св. Давид проецируется и на пространство больничной палаты, но обнаружение его присутствия требует незаурядных аналитических способностей от лирической героини. В этом она подобна Шерлоку Холмсу (или его остроумному создателю).

Вот она общается с медсестрами из Кимр. Одну из них зовут Татьяной (привет от Пушкина!). Если кто-то сомневается, что имеется в виду именно Пушкин, Ахмадулина уточняет:

«Я Вам пишу»... — вот и пиши, радей!
Как Таня к няне, я приникну к Тане.
(«Памяти Симона Чиковани»)

Пушкин — знак присутствия первой родины. Где первая — там и вторая. Нужно только открыть «внутренние очи». «Люблю мою со всем, что есть, игру / за тайный смысл, за кроткие приветы», — пишет Ахмадулина в «Глубоком обмороке». И поиску «кротких приветов» она посвящает последующие строфы своего поэтические расследования.

Вначале она углубляется в подробности жизни Татьяны. Куда приведет ниточка? Дочь Татьяны зовут Ольгой (снова Пушкин). Она выспрашивает об Ольге, и вот тут... «Привет» первый: в Ольгу влюблен... грузин.

В дочь Тани Ольгу был влюблён грузин.
Влюблён и ныне. Объясните, дэвы:
как он попал в остуду кимрских зим?

Совпадение удивительное. Но она в совпадения не верит. Она верит в Божий промысел, в Соучастие, в Присутствие, но никогда не в случайность. Линия неслучившейся помолвки становится метафоричной, отражая исторический план и современные отношения двух народов, где Грузия играет роль жениха, а Россия — невесты. При этом целомудренное начало несет Грузия:

Манил он Ольгу в Грузию свою,
но запретил и проклял мини-юбку.
Назло ему, возрадовав семью,
невеста предпочла соседа Юрку.

Памятуя историю разрушенных российских храмов и сохранного храма Свети-Цховели, можно предположить, что речь идет о тяжких последствиях разрушенной

веры в России, делающих невозможным воссоединение двух родственных в религиозном плане культур.

Следующая ошеломляющая подробность — имя поклонника Ольги:

К тому же он — Давид, иль, вкратце, Дэви.

Отсюда сразу три «кротких привета». Первый — связь со святым Давидом, второй — связь с царем Давидом Строителем. Оба обыгрываются в тексте:

Святой и царь, всех кротких опекун,
смиритель гневных...
……
Он в честь твою крещен и наречён.

Третий относится к уменьшительному «Дэви», рифмующемуся с «дэвы». При этом увязка между святым Давидом и дэвами тоже не упускается из виду:

Да охранит меня святой Давид!
Смиреннейший, печется ль он о дэвах?

Так, прихотливо, деталь за деталью выстраивается гипотеза о том, кто молился за нее в ту ночь.

Мой перевод я изменить хочу.
Симон простит. Строка во тьму не канет.
О Господи! не задувай свечу
души моей, я — твой алгетский камень.

Практически каждая строчка здесь требует отсылки к другому тексту. И это превращает стихи в ребус, который можно разгадать при кропотливом изучении каждого намека. Ахмадулина несколько облегчает эту задачу, начиная с главного, от чего следует отталкиваться, чтобы не потеряться в деталях. Первая строка («Мой перевод...») несет в себе ключ к разгадке. Если понять, о каком именно переводе идет речь, то дальше уже проще ответить на вопрос о том, почему и как именно его хочет изменить автор. Есть надежда, что и молитва, и упоминание об алгетском камне тоже найдут адекватное пояснение. И действительно, читая ее перевод стихов Симона Чиковани «Молитва во время бомбежки», находим следующее:

Я — человек! И драгоценен пламень
в душе моей. Но нет, я не хочу
сиять заметно! Я — алгетский камень.
О Господи, задуй во мне свечу!
(«Молитва во время бомбежки»)

Последняя строчка стихов Чиковани изменилась на «О Господи! не задувай свечу» в посвящении Ахмадулиной. Смысл этого изменения достаточно ясен и не требует дальнейших толкований. На вопрос о том, что это за такой камень, отвечает сама Ахмадулина на открытии выставки «Мир Кавказа» в Малом манеже, где она читает этот давний перевод: «Меж тем, этот алгетский камень, который упоминает Симон Чиковани, есть драгоценность лишь его души, потому что есть маленькая речка Алгети и это камушек из этой речки. Примем стихотворение любимого мною поэта за охранительную молитву, чей единственный смысл — защитить, уберечь всех детей, всех людей, все живые существа от грозящей им беды или угрозы. Я много раз

думала об этой охранительной любви, и теперь, когда жизнь моя уже имеет опыт многих лет, мне просто хотелось бы, чтобы конец ее был достойным».

Здесь сразу несколько вещей, полезных любознательному читателю. Первая — это информация о камушке. Далее — это информация о том, как Ахмадулина интерпретирует стихи Чиковани. Для нее они стали охранительной молитвой, «чей единственный смысл — защитить, уберечь». Это ответ на вопрос, поставленный поэтессой в начале: «Кто в эту ночь молился обо мне...» И в то же время ответ гораздо шире конкретного стихотворения, на которое ссылается в своей речи Ахмадулина.

Творчество Чиковани является отправной точкой, но богатый контекст, из которого вырастают ее стихи, неизбежно бродит и другими аллюзиями, упомянутыми в той или иной связи. Двойственность, которая получается в результате, сродни кинематографическому эффекту. Например, Ахмадулина пишет:

там, возле Мцхета. Если глянешь ввысь —
увидишь то, чему столетья мстили
за недоступность выси.

Первый образ, который вырисовывается, — это Мтацминда (Святая гора), или гора преп. Давида с пантеоном вокруг церкви преп. Давида, где похоронены деятели искусства, народные герои и художники, известные писатели. Среди них — Симон Чиковани.

И тут же начинают брезжить очертания другой горы — Синая. В конце жизни св. Давид отправился на гору Синай. Однако, взошедши на вершину, он посчитал себя недостойным приблизиться к святым местам и послал вместо себя своего ученика, а сам молился у городской стены. На прощание, в качестве благословения от Святого Града, он взял с собой три камня, лежавших у стены, но Патриарх Иерусалима велел ему вернуть два, а третий был принесен в Гареджийский монастырь и хранится по сей день в сокровищнице Сионского собора в Тбилиси.

Сиони (так называют этот собор) несколько раз подвергался разрушениям. Восстановление его связано с именем Давида Строителя. Намек на это содержится в следующих строках Ахмадулиной:

Но наипервым из камней
возглавил высь Давид Строитель.

Как видим, и «высь», и «камушек» обрастают вторым, сионским, планом, просвечивающим сквозь первый и расширяющим сакраментальное пространство Грузии.

История с алгетским камушком присутствует в стихотворении как загадка:

Врач удивлен: — Вы — камень? Но какой? —
Смеюсь и помышляю об ответе.
— Я — камушек, взлелеянный рекой
грузинскою, её зовут Алгети.

Непонимание врача забавляет лирическую героиню. Диалог с ним звучит также иронией и по отношению к читателю, недостаток знаний которого служит причиной его извечного недоумения. И читатель уже готов поставить поэту «диагноз», приняв собственное незнание за упущения поэта. Ситуация доктора и больного — это ситуация здравого, уверенного в своем суждении читателя и «нездравого» поэта.

Внимает доктор сбивчивым речам,
как Боткину когда-то удавалось.
— Вы сочинять привыкли по ночам. —
Сбылись анализ крови и диагноз.

Все это лишь веселит лирическую героиню, чья безбрежность прочитывается врачевателями ее стиля как небрежность. Она верна себе и только себе, и не пытается популяризировать себя для массового или вообще какого-либо читателя. Как она сама об этом пишет:

Читатель не предполагаем
и не мерещится уму,
ум потому и не лукавит.
(«Памяти Симона Чиковани»)

В пятом, предзавершающем стихотворении цикла она вновь возвращается к датам, цитируя себя:

«День августа двадцать шестой» —
сей строчке минул полный месяц.
День сентября двадцать седьмой
настал.

Самоцитата усиливает важность первой даты, заставляет вновь обратиться к ее скрытому смыслу. Почему в ту ночь прозвучало имя Грузии и почему стихи Чиковани, на которые ссылается Ахмадулина, связаны с войной? В пятом стихотворении тема войны достигает своего развития и кульминации. Ахмадулина «подсказывает», о какой именно войне идет речь:

...война
между Бичвинтой и Пицундой.

Как поясняет Ахмадулина, «Бичвинта — грузинское, Пицунда — абхазское название одного и того же города». 25 августа 1990 года Абхазия была провозглашена суверенной Абхазской Советской Социалистической Республикой. В дальнейшем события развивались трагически. Не потому ли в ночь с 25 на 26 августа ей приснился зловещий дэв? Имя Ираклия Амэраджиби, убитого в 1992 году во время войны между Грузией и Абхазией, когда он пытался спасти незнакомую журналистку, следует сразу за строфой о войне:

В уме не заживает мысль:
зачем во прахе, а не вживе
краса и стать спартанских мышц
Ираклия Амирэджиби?

Смерть его становится символом единения, а не разъединения двух народов. «Воины-абхазы пришли попрощаться с убитым героем, павшим за свободу нашей общей родины — Грузии», — пишет спустя годы Нона Гамбашидзе.

В этом контексте читается дата 27 сентября — день памяти и одновременно праздник для абхазцев, отвоевавших Сухуми (1993). Для Грузии этот день стал «символом огромной боли, разрушения и невосполнимых потерь», которые повлекла за собой «братоубийственная война».

Но со мной
вот что недавно приключилось.
Я обещала, что смешлив
мой будет слог — он стал
прискорбен.

Так начинает Ахмадулина пятое стихотворение цикла. Прискорбный слог смешивается с запахом самшита («Вдруг ноздри вспомнили самшит») — символом скорби и бессмертия одновременно. Это древнее вечнозеленое растение используется для озеленения кладбищ. От самшита отпочковываются новые образы с включением таких слов, как «скончанье», «стенанье», «усилье ребер», и постепенно весь ассоциативный ряд реализуется в теме войны, вражды, разлада «людей с людьми», завершаясь апокалипсическим аккордом «скончанья дней».

В сакраментальном плане 27 сентября празднуется Воздвижение Животворящего Креста Господня. Это «отрадно-грустное воспоминание событий обретения честного и достопоклоняемого древа этого Креста Господня» удивительно созвучно скорбному плану современных событий. В связи с библейской датой прочитываются и другие детали. Например, самшит ассоциируется также с Вербным воскресеньем, предшествующим распятию Христа: в Грузии православные украшают дома ветками самшита на Вербное воскресенье. Так вывязывается сложное эпическое повествование, затрагивающее множество уровней, включая исторический, библейский, литературный и автобиографический.

Весь цикл выстроен по типу кинопоэмы «Цвет граната» Параджанова, где времена и судьбы поданы сквозь биографию и произведения поэта Саят-Нова. Упоминание граната («Младенец-плод, расцвел гранат. / Я это видела впервые...») в третьем стихотворении цикла («Памяти Гурама Асатиани») устремляется и к «Гранатовому дереву у гробницы серафиты» Чиковани, и к эпизоду из жизни Ахмадулиной, которой была подарена веточка граната Гурамом Асатиани во время их прогулки, и конечно же к «Цвету граната», эстетикой которого Ахмадулина была околдована. Быстросменяющиеся, несколько театральные по образности картины «Снов о Грузии» воспринимаются сквозь призму этого шедевра кинематографии. В некрологе на смерть Параджанова Ахмадулина писала: «Параджанов не только сотворил свое собственное кино, не похожее на другое, он сам был кинематограф в непостижимом идеале, или лучше сказать: театр в высочайшей степени благородства, влияющий даже на непонятливых зрителей». То же можно сказать и о ее творчестве. В своей поэзии она выстраивает храм, который зиждется на двух культурах и единой вере. Он несет в себе то, что «прежде сущего всего». Лишившись этого, поэзия перестает быть.

Евгения Доброва

«Слова идут навстречу темноте...»

Альманах молодой поэзии «Terra poetica»

«Terra poetica», сборник лирических стихотворений молодых поэтов России, Белоруссии и Украины, подготовлен Международным гуманитарным проектом «Минская инициатива» при поддержке Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Украинского фонда культуры. Вышел в Киеве в издательстве «Саммит-книга» немаленьким для поэтического издания тиражом 1500 экземпляров.

В альманахе собраны тексты двадцати пяти авторов: одиннадцати украинцев, семи белорусов и семи россиян. Стихотворения публикуются только в оригинале — на другие языки не переведены. Соответственно, целевая аудитория «Terra poetica» — знающие русский украинцы и белорусы плюс россияне-билингвы, а также филологи-слависты.

Несмотря на концепцию молодежного сборника, перед нами разновозратный отряд. Самые молодые — 1992 года рождения, самый старший — 1971-го; и чем старше авторы, тем крепче стихи.

Украину представляют Мирослав Лаюк, Людмила Дядченко, Игорь Астапенко, Сергей Савин, Вано Крюгер, Наталия Бельченко, Андрей Тужиков, Олена Карпенко, Наталья Пасичнык, Микола Антощак, Леся Мудрак; Белоруссию — Влад Лянкевич, Андрей Апанович, Михась Башура, Дмитрий Захаревич, Екатерина Макаревич, Екатерина Водоносова, Нина Листота; Россию — Инга Кузнецова, Наталья Полякова, Яна-Мария Курмангалина, Дмитрий Тонконогов, Андрей Коровин, Владимир Козлов, Мария Маркова. «Если бы не языковой маркер, определить, кто из них украинец, кто — русский, кто — белорус, было бы проблематично», — пишет в предисловии поэт, председатель украинского Фонда культуры Борис Олийнык, и с этим трудно не согласиться.

«О чем думает и пишет молодое поколение? — размышляет Олийнык. — ...О жизни вне смысла, в ее естественном течении. Без рационального осмысления, но с восприятием на уровне эмоций и спонтанных впечатлений. Впечатлений для впечатлений».

Безусловно, речь здесь идет о таком поэтическом явлении в поэзии (уже можно сказать — приеме), как фиксация момента. Встретить его можно и у украинцев, и у белорусов, и у россиян.

Все цитаты даны в переводе автора статьи.

глянь	смотри
глянь яка красива наша богородиця	смотри какая красивая наша богородица
у неї така біла шкіра	у неё такая белая кожа
у неї пурпуровий мак у волоссі	у неё пурпурный мак в волосах
у неї пурпуровий мак між грудей	у неё пурпурный мак между грудей
яка ж вона красива — наша богородиця	какая же она красивая — наша богородица
яка ж вона гарна	какая же она красивая
стоїть біля футбольного майданчика	стоит у футбольной площадки
і м'яч закочується їй до ніг	и мяч закатывается к её ногам
а вона не нахиляється щоб забрати його	а она не наклоняется чтобы забрать его
і занести в кабінет завуча	и отнести в кабинет завуча
вона не дорікає: поб'єте собі діти лікті	она не упрекает: обдерёте себе дети локти
штани нові порвете	брюки новые порвёте
і взагалі — вам треба йти робити домашнє завдання	и вообще — пора идти делать уроки
вчити формулу площі та радіуса сфери	учить формулу площади и радиуса сферы
	нет
ні	она такая красивая
вона така красива	у неё пурпурный мак между грудей
у неї пурпуровий мак між грудей	она не делает всех этих гадостей
вона не робить усієї цієї гидоти	она просто отдает пас
вона просто дає пас	черной маленькой туфелькой
чорною маленькою туфелькою	

(Мирослав Лаюк. Изобретение письменности: огненно-золотой)

Вот еще один запечатленный кадр — начало стихотворения Влада Лянкевича:

незнарок стаўшы мне на нагу дзяўчына	нечаянно наступив мне на ногу девушка
якая прыносіла каву просіць мяне ўзаемна	которая подносила кофе просит меня в ответ
ёй наступіць — наступаю. усіх рассмяшылі	ей наступить — наступаю. всех рассмешили

А вот пример из Яны-Марии Курмангалиной:

небо всё глубже деревья всё выше
жизнь всё размереннее и тише
только собака во сне

лает от счастья сомкнуты веки
грезя о вечном своём человеке
том что ломая ледок

в утреннем парке поправит бейсболку
да наклонится — погладить по холке
и отцепить поводок

«Что обеспечивает молодым авторам из разных стран национальное лицо?» — ставит вопрос Олийнык, но не отвечает на него. Ответить можно лишь отчасти: в современной русской поэзии больше описательности, есть тяга к плотным текстам, это поэзия существительных, поэзия большого словарного запаса; кроме того, у русских авторов соотношение силлабо-тоники и верлибра свидетельствует о меньшей популярности последнего.

Общее для современной поэзии всех трех стран — многословие. Четырех строф для поэтического высказывания уже не хватает. Тексты простынного типа — на полторы-две страницы формата А4 — встречаются у Михася Башуры, Инги Кузнецо-

вой, Влада Лянкевича, Владимира Козлова, Дмитрия Тонконогова, Андрея Коровина, Вано Крюгера. Коротких текстов, напротив, в антологии почти нет.

Еще одна общая особенность — частое игнорирование знаков препинания.

Если рассматривать «Terra poetica» не только как факт народной дипломатии, но и как факт художественной литературы, нужно отметить, что тексты сильно отличаются техникой стихосложения — от виртуозно-затейливых до совсем примитивных: видимо, молодые авторы пока еще не научились отметать сомнительные рифмы вроде «кровь — вновь», «теориях — траектории», «диктофон — микрофон», «звуком — руки» и не слишком оригинальные образы вроде *кровавого дождя* или *крови, становящейся глинтвейном.*

Таким образом, у кого-то из-под пера выходит «поэтическая белиберда» (определение подслушано у российского издателя Вадима Месяца), у кого-то — так называемая настоящая поэзия (сакральный смысл плюс красота подачи). Вообще, надо сказать, в сборнике больше незамысловатых стихов, чем замысловатых — последние только у Дмитрия Тонконогова (Москва) и отчасти у Владимира Козлова (Ростов-на-Дону) и Игоря Астапенко (Киев).

В альманахе можно услышать и мажор, и минор, но доминирует, конечно, характерная для лирической поэзии минорная интонация: «и равны печалью светлой в дождевом своем родстве / все бессонные в москве и неспящие в сиэтле» (Яна-Мария Курмангалина).

Затронутые темы тоже традиционны для поэзии такого рода.

О любовных переживаниях пишут киевлянки Олена Карпенко («смотри, рубашка моя наизнанку, / сердце — тоже») и Людмила Дядченко («разлука лютует и засыпает всё больше / по горло. по уши. по всё»), Микола Антощак из Винницы («был богом / твоих волос / твоей косы / и её запах / лишал меня невесомости / держал меня у земли»); москвичка Инга Кузнецова («любовь ты соковыжималка»), минчане Нина Листота и Дмитрий Захаревич и многие другие авторы.

Точные слова об одиночестве нашел Вано Крюгер из Киева:

знаєш, люди — наче листя на дереві:
ніби і близько один від одного,
проте припаяні намертво черенками
до гілля,
може і зможуть доторкнутися випадково
один до одного,
проте будуть розлучені за примхою вітру:
зустрінуться лиш на землі,
відірвавшись від гілля,
за мить до гниття.

знаешь, люди — как листья на дереве:
вроде и близко друг от друга,
но намертво припаяны черенками
к ветке,
может, и прикоснутся случайно
друг к другу,
но будут разлучены прихотью ветра:
встретятся лишь на земле,
оторвавшись от ветки,
за миг до гниения.

О женщинах — Андрей Коровин (Москва):

самое главное в женщине
это история её души
не глаза или попка
не губы и грудь
а сколько тысяч ли
прошагала её душа
для встречи с тобой

О жизни и о мире размышляют Игорь Астапенко из Киева («Наша жизнь словно кубок, только немного надтреснутый»), москвички Яна-Мария Курмангалина («в середине тёмного ненастья где идёшь наощупь как фантом / в жизнь влюбляясь

заново и насмерть но ещё не ведая о том») и Инга Кузнецова («мир понятно опасен / и так невместимо прекрасен / он машинно-ужасен / пахуч и колбасен»).

Еще один частый мотив — тема осени. «Холодный ожог поцелуя / и страшная близость к воде / скрываются в долгом дожде», — пишет Мария Маркова из Вологды; «над аллеями дым горьковатый и едкий / за деревьями в небе плывут этажи / обескровленный лист отмирает от ветки / но с последнею силой / цепляясь дрожит», — Яна-Мария Курмангулина; а золотая осень киевлянки Людмилы Дядченко похожа на «залежавшуюся в консервной банке шпроту».

Поэтов часто зовут дальние края: «без блата и очередей возьмем билеты / туда где на родном никто ни слова» (Наталья Пасичнык, Тернополь) — и в дороге у человека, как водится, «на душе — непокой, ожидание, / в его сердце — надежда и вера» (Михась Башура, Минск).

Тема алкоголя встречается только у минчанина Андрея Апановича, и то в игровом ключе — в стихотворениях «В чащобе» (сюжет: пьяница заблудился и орет благим матом в лесной чаще) и «Stenkenstolz» (сюжет: с утра у героя похмелье, но как же разлюбить спиртное? — и как же, однако, хорошо выпить!)

О старших в роду трогательно воспоминают Наталья Полякова из Москвы:

> На балконе у дедушки мастерская. Заточка ножей и ножниц.
> Так военного лётчика жизнь приручала — пересевшего на запорожец.
> Так жили, так водку пили, так в горле першили крепкие папиросы.
> И меня под мальчика стригли — всё лучше, чем жидкие косы.
>
> А я и рада, и, чёлку смахнув со лба, тугие крутила педали
> И дедушку обгоняла. И открывались с моста иные, озёрные дали.
> Я слышала сзади весёлый звонок — он следовал всюду за мною.
> Пока не замолк. Пока не замолк. Пока не замолк за спиною.

И киевлянин Мирослав Лаюк:

він виганяв бур'ян і горобців з городу так	он выгонял бурьян и воробьёв с огорода
наче торгашів з храму	как торгашей из храма
він ішов до картоплі кукурудзи	он шёл к картошке кукурузе
редиски кропу з такою усмішкою	редиске укропу с такой улыбкой
мов до церкви	словно в церковь
а баба ганя завжди жалілася	а баба ганя всегда жаловалась
що він нікого так не любить	что он никого так не любит
як грушку ним колись посаджену	как грушку когда-то посаженную
посеред саду	посреди сада
між горіхом і ранетою	между орехом и ранетками
і та грушка давала найкращі груші	и эта грушка давала лучшие груши
він вчив мене сороміцьких коломийок	он учил меня похабным частушкам
і посилав співати їх бабі	посылал петь их бабушке
за що видавав сирного коника	и давал за это сырную лошадку
він будив мене уночі	он будил меня ночью
подивитися на їжака	посмотреть на ежа
який шарудів біля криниці	который шуршал у колодца
або на сову	или на сову
яка пугикала на вершку черешні	которая ухала на вершине черешни
чи лисицю	или лису
яка не помічаючи нас паслася у саду	которая не замечая нас охотилась в саду
діду коли ми зустрінемося	дед если мы встретимся
я вам за сирного коника	я вам за сырную лошадку
заспіваю ще багато сороміцьких коломийок	спою ещё много похабных частушек
а груша ваша всохла	а груша ваша засохла
зразу після вас	сразу после вас

И, конечно, как поэту не писать об отношении к слову? О рождении поэтической речи говорят Наталья Полякова («слова идут навстречу немоте, / переходя на шаг, на шум, на шорох») и Инга Кузнецова («безыменье подобно колесу / мелькают в спицах лошадь и солома»). А вот настоящий поэтический обет:

Я не гуляю словамі.
Яны для мяне — святыя.
І кожны мой верш — бажніца,
Светлы іканастас.
Словы стаяць іконамі,
Дзіўнымі, залатымі:
Я толькі магу маліцца,
Каб веры агонь не згас.

Я не гуляю словамі.
Дзеля адной забавы
Стужкаю алітэрацый
Крылаў ім не звяжу.

Я не играю словами.
Они для меня — святые.
И каждый мой стих — божница,
Светлый иконостас.
Слова стоят, как иконы,
Странные, золотые:
Я только могу молиться,
Чтоб веры огонь не погас.

Я не играю словами.
Ради одной забавы
Ленточкой аллитераций
Крыльев им не свяжу.

— обещает Екатерина Водоносова из Минска. А Дмитрий Тонконогов молит об обратном:

Вот только заткнулся бы, чёрт побери,
голос внутри.

Горшочек, вари — горшочек, не вари.

Темы смерти касаются Яна-Мария Курмангалина («когда умирают красивые люди / видеть их угасанье / страшнее всего»), Инга Кузнецова («я грызу стылый лист / превращаясь в прожилку и терпкую горечь / я готова короткую жизнь / провести на холодном ветру / в этом кротком осеннем / межлиственном разговоре / прошептать / «не печальтесь я скоро умру»), и целых три поэта свели эту тему к словам о самоубийстве.

Сначала — Мирослав Лаюк в стихотворении «Красивые деревья»:

коли померла віслава шимборська
мій сусід через паркан
почав виходити в сад і казати:
дерева дерева які ви всі гарні — такі гарні
що неможливо вибрати на котрім із вас вішатися

когда умерла вислава шимборская
мой сосед через забор
начал выходить в сад и говорить:
деревья, деревья, какие вы все красивые —
невозможно выбрать на каком повеситься

Затем похожий образ видим в «Сорока думах» Игоря Астапенко:

коли ти до мене прийдеш ніч уже буде повсюди
коли ти до мене прийдеш я буду висіти на дереві

когда ты придёшь ко мне ночь будет уже повсюду
когда ты придёшь ко мне я буду висеть на дереве

И, наконец, у Андрея Коровина: «...почему все поэты / кончают жизнь самоубийством да от ужаса бессмертия своего от страха вечности».

А последнее желание может быть таким:

«пакажыце нарэшце, раз я тут акурат
дзе гэты ваш зікурат вышыні, якой не існуе
дзе гэта сіняя брама колеру, якога няма
пакажыце чалавеку з краіны
вечнага вяртання назад
у якой абпалены сад ніяк не спілуюць
у якой ніяк не даспаляць спілованы сад»

«покажите же мне, раз я здесь аккурат
где этот ваш зиккурат высоты небывалой
где врата эти синие цвета, которого нет
покажите человеку из края
вечных возвратов назад
где сожжённый сад никак не спилят
не дожгут никак спиленный сад»

(Влад Лянкевич, Минск)

Вообще, надо сказать, антология на редкость оптимистичная: про жизнь в ней написано гораздо больше, чем про смерть: на двадцать одну тысячу слов «смерть» упоминается всего девятнадцать раз.

«...Я вот тебе мир весь как на ладони весь он открыт для тебя / столько тебе городов построили и лесов посадили столько родили для тебя женщин / столько зрения дал тебе бог что ж ты жалуешься зараза тать твою так / люби эту жизнь пей эту чашу», — призывает Андрей Коровин в стихотворении «Мазурка».

А кто-то не хочет писать о трагическом или вообще о серьезном. Тому пример — блестящее паясничание Дмитрия Тонконогова:

Шуршит звуковая дорожка.
В Казани повесилась кошка.
А здесь под крылом проплывает мечеть,
такая большая, что хочется петь.
Похожая на крематорий,
сказал бы священник Григорий.
Ему лишь дай волю и правильный сан,
он всю Касабланку бы выправил сам.
Звучал бы в трубе её главной
воинственный хор православный.

У кого-то, как у минчанина Михася Башуры, из-под пера рождаются стихи, напоминающие песенку-шлягер:

Шумяць намоклыя лісты
На дрэвах сонных,
Прыпаў вясенні дождж густы
Да шыб ваконных.

Ад сонца дзённага астыў
Асфальт гарачы.
Я за сабой спаліў масты
Ўсе без астачы.

Гараць няшчырасці лісты
Ў агні пякучым,
Ды застанешся ў сэрцы ты
Тугой балючай.

Шумят намокшею листвой
Деревья сонные,
Припал весенний дождь густой
К стеклу оконному.

От солнца яркого остынь,
Асфальта лава.
Я за собой поджёг мосты
Пускай пылают.

Горят слова, горят листы
В огне трескучем,
Но остаёшься в сердце ты
Тоской колючей.

Сравним со строками другого минчанина, Андрея Апановича:

Шляхоў назад няма —
Гараць масты.
Мне не цікава, што падумаеш
Аб гэтым ты.

Назад дороги нет —
Горят мосты.
И не волнует, что подумаешь
об этом ты.

У Владимира Козлова из Ростова-на-Дону подборка составлена интересно — по нарастанию поэтической силы: от меньшего к большему. От нарочито беспомощного до крепкого, как египетская пирамида.

В первом стихотворении видим следующие ужасы версификации (или, если угодно, назовем это модным определением «деконструкция текста»):

Отпуск, милый, проведём во сне.
Главное, рассказывай их мне.
Целый год ты их совсем не видел,
глаз не смыкал — мой муж, мой лидер.

Во втором стихотворении «Человек ниоткуда» с эпиграфом из Алексея Цветкова: «странник у стрелки ручья опершись на посох...» — есть уже совсем другие строки:

Странник, задумчив, стоит у стрелки ручья.
Всё на нём — чьё-то, только вода — ничья.

Но дальше вкус автору изменил:

Внутренний ад озирает тропу перед ним.
Оказалось, ручей с водой мёртвою — непроходим.

Но что интересно. В стихах Козлова есть энергия, чувствуются большая жизненная сила и желание повествовать. Даже если не знать обо всех регалиях автора, сразу становится ясно: он себя еще покажет. И происходит это уже на следующих страницах, в стихотворениях «Вести глубокого тыла» и «Внутри любви» (тут хотя бы привести меткое: «тесно в её любви, / не знаешь, как повернуться, / чтобы не поломать там всё»).

Сергей Савин из Киева любит термины из разных областей человеческих знаний. Его стихи — коктейль из ассимиляции, реабилитации, палимпсеста, анабиоза, нейронов, дубликатов, рефренов, аритмии, аорты, диафрагмы, эндокарда, импульсов, прострации, капилляров, кодов доступа, теории, траектории, квантовой локации и имитации. Наверняка у Савина получилось бы сделать переложение словаря иностранных слов в стихах. Из-за доступных рифм вроде «диктофон — микрофон» или «локации — имитации» он пользовался бы большой популярностью.

Минчанин Влад Лянкевич шлет анархические призывы копать от забора и до обеда, вернее, «насыпать горы».

насыпаць горы насыпаць
адну за адной — няхай гэта будзе народны рух і ніхто не кіруе ім
і не звярае з планам

насыпать горы насыпать
одну за другой — пусть это будет народное движение и им никто не руководит
и не сверяет с планом

Еще одна современная трактовка философии свободы:

Ў кішэнях нуль. Ну і халера з тым!
Знайду дзе ежы сабе знайсці.
Ў карчме, што пры дарозе, будзе сёння пір.
А п'яных не складана абакрасці.
(...)
З сябрамі піць, на сене дзеўку прытуліць
Я больш люблю, чым працаваць за плугам.
Куды хачу туды пайду.
(...)
Ніколі не прадам сваёй свабоды.
(...)
Ўсім сэрцам шчыры і таемных не заводжу спраў.
Якія справы могуць быць, калі ў кішэнях нуль?

В карманах ноль. И чёрт бы с ним!
Найду, где прокормиться можно.
В корчме, что у дороги, сегодня будет пир.
А пьяных обокрасть несложно.
(...)
С друзьями пить, на сене девку обнимать
люблю я больше, чем стоять за плугом.
Куда хочу туда пойду.
(...)
Вовеки не продам своей свободы.
(...)
Всем сердцем я открыт, дел тайных не веду.
Какие могут быть дела, когда в карманах ноль?

Вот такая песенка веселого крестьянина (а может быть, неуловимого Джо) авторства Андрея Апановича.

И, да, как не вспомнить про великих поэтов предшествующих поколений? От Мирослава Лаюка полетел привет Виславе Шимборской, от Тонконогова — Рейну с Ахматовой («Хочу быть Ахматовой, и чтобы Рейн был у меня на посылках), а от Коровина — Цветаевой:

Марина Цветаева
съедала своих любовников
высасывала из них нектар
обгладывала ручки и ножки
особенно любила мозговую часть

Как конфетка на коньяк, подборку завершают шаманские камлания киевлянки Леси Мудрак, представившей на суд читателей стихи с элементами звуковой поэзии:

Зачекай!
Не йди!
Не йди!
Там — зависоко!
за-Ви-соко!
завис-око
Зависоко таааааааммм!

Подожди!
Не иди!
Не иди!
Там — слишком высоко!
сли-шком-Вы-соко!
слиш-ком!
Слишком высоко таааааааммм!

В этом сборнике было и «низко», и «высоко». Спасибо составителям за то, что показали столько интересных стихов. «Мы все такие разные, и все-таки мы вместе» — это и есть главное.

Евгений Абдуллаев

Союз разрушимый

Нужны ли сегодня писательские организации?

Конец прошлого и начало этого года прошли на фоне назойливого информационного шума.

Шум шел со стороны Русского ПЕН-центра.

Не будучи ни членом этой организации, ни очевидцем развернувшихся баталий, от оценок воздержусь. Моя функция — в рамках этой рубрики — функция барометра. Фиксировать изменение давления и шевелить стрелками. И говорить о вибрациях в ПЕНе и вокруг я могу лишь с этой, «атмосферной», точки зрения. Как о симптоме перемены давления в литературе — которое, в свою очередь, может свидетельствовать об общей перемене погоды. А она очевидным образом меняется.

С этой точки зрения «пеновские» конфликты видятся не столько проблемой данной организации (у какой их нет?), сколько проблемой писательской организации вообще. Как структуры, как объединения. А именно: насколько вообще сегодня нужны писательские организации? А если нужны, то для чего?

Еще столетия два назад объединяться писателям в голову не приходило. Даже просто собираться на какие-то заседания. Разве только за столом у книгопродавца Смирдина, по случаю его новоселья.

Еще столетие назад писательских организаций в России в собственном смысле слова не было. Роль подобных организаций выполняли литературные журналы. Объединяли вокруг себя писателей, печатали их, помещали хвалебные рецензии на «своих» и менее хвалебные, а то и разгромные, на «чужих». В редакции заглядывали авторы, пообщаться, попить чайку; поделиться новостями литературной жизни, поплакаться в толстовку сочувствующего редактора...

Отчасти роль писательских союзов выполняли входившие в моду и силу литературные группы. Акмеисты, футуристы... Группа была мобильней журнала; требовала меньше ресурсов — не нужно подыскивать помещение для редакции, средства на издание... Но и срок ее жизни был короче. Несколько продуктивных лет, затем застой, конфликты, распад. Но главное — основным в объединении литераторов в группу было единство (пусть относительное) литературных взглядов. И цель была — заявить о нем; а заодно и о себе. О более-менее устойчивой и юридически оформленной структуре речь не шла.

Писательские организации появились после той самой революции, столетие которой мы собираемся/не собираемся отмечать. В ситуации военного времени и слома всей прежней инфраструктуры писательской деятельности (даже бумага до середины 1930-х оставалась дефицитом) именно организации и союзы оказывались оптимальной формой существования литературного сообщества.

Возникли они тоже не сразу. Скажем, ЛЕФ или ЛЦК еще во многом были не организацией, а литературной группой. А РАПП — именно организацией, ставшей «матрицей» для Союза писателей.

А Союзе писателей разговор, конечно, должен быть отдельным, не в рамках колонки. Но сказать, пусть кратко, нужно. Без эмоций, переведя разговор в чисто функциональную, социологическую плоскость. И в этом смысле первые три десятилетия существования Союз писателей вполне отвечал своему предназначению. Осуществлял социальное представительство писателей, защищал их права, занимался улучшением их жилищных и бытовых условий. Проводил встречи — друг с другом и с читателями — и издавал, издавал, издавал... Делалось это зачастую своеобразно (мягко говоря) и, главное, небескорыстно. Взамен на членское удостоверение и связанные с ним блага от писателей требовалась полная лояльность режиму. А также следование неоклассическому канону, внедрявшемуся под именем «социалистического реализма».

Где-то в 1960-х ситуация изменилась. Подоспели первые плоды всеобщей грамотности и повышения образовательного уровня: количество пишущих резко поползло вверх. Союз стал разбухать, членство — расти (1 500 — в 1934 году, 6 608 — в 1967-м); бонусы от него, соответственно, уменьшаться. Кроме того, общее повышение уровня жизни делало эти бонусы уже не такими привлекательными. Заработок, квартира, отдых в санатории или «дикарем» — короче, минимальный «социальный пакет», доступный для среднего советского обывателя, — все это человек пишущий мог получить и без членства в Союзе[1]. Писать пьесы, инсценировки, тексты песен (как Юлий Ким). Переводы, стихи для детей (как Генрих Сапгир)...

Единственным неоспоримым преимуществом членства оставалась возможность издаться, выпустить книжку. Но и это преимущество становилось все более призрачным. Очереди к печатному станку росли, путь от подачи рукописи до выхода «сигналки» мог растянуться на десятилетие... С другой стороны, некоторое ослабление идеологического контроля привело к расцвету самиздата и «тамиздата». Здесь для писателя был серьезный риск, однако он компенсировался признанием в кругах инакомыслящей интеллигенции; а ее становилось все больше.

Ситуация, разумеется, была не везде одинаковой. За пределами Москвы, Ленинграда и еще трех-четырех крупных городов количество пишущих было значительно меньше, и конкуренция между ними ниже. Но главное — было меньше, чем в столицах, возможностей для фриланса. Так что членство в местных писательских организациях сохраняло определенный смысл вплоть до начала 90-х.

Потом все, как известно, рухнуло.

Попытки регенерации предпринимались и продолжают предприниматься. Где-то с меньшим успехом, где-то с большим, но явно несопоставимым с прежним Союзом. Идея тем не менее в воздухе витает. Можно вспомнить обращение Сергея Михалкова сотоварищи «Писателям России нужна единая писательская организация» в «Литературной России» (№ 5, 2002). Или муссировавшиеся в середине 2013 года слухи о слиянии союзов писателей и создании единого мега-союза.

Ситуация зеркально напоминает ту, накануне которой в 1934 году возник Союз писателей. Тогда было много активных, дееспособных писательских объединений; хотя они были распущены, их члены в большинстве влились в новый Союз и довольно долго «подпитывали» его своей пассионарностью. Была четко выраженная воля государства поддержать этот Союз. Была и харизматическая и приемлемая почти для всех фигура его лидера — Максима Горького.

Сегодня мы не имеем ни первого, ни второго, ни третьего.

Что реально дает сегодня членство в писательском союзе? Что говорит — и

[1] Без муторной процедуры вступления в него и без тех компромиссов, которыми порой приходилось платить за пользование постепенно уменьшающимися благами.

говорит ли вообще что-то — строчка «член такого-то Союза писателей» в информации об авторе в журнальной или книжной публикации?

Не исключаю, что эти союзы живут своей богатой внутренней жизнью. Но как внешний наблюдатель вынужден констатировать: всё наиболее заметное в литературной жизни двух последних десятилетий с писательскими союзами не было связано никак. Ни крупные литературные фестивали и книжные ярмарки, ни самые известные литературные премии, ни издательские проекты. Все это было создано без их участия; в лучшем случае их руководители появлялись где-то на открытии, поближе к фуршету...

Писательство — профессия вообще не сильно располагающая к объединению во что-то административно-громоздкое. Можно вспомнить известный призыв Пастернака к писателям «не объединяться», даже во имя прекрасных целей, поскольку писатели должны быть свободными. (Впрочем, действительно ли поэт говорил это на Парижском конгрессе, остается спорным.) Или ходившую в начале восьмидесятых в Союзе композиторов поговорку: «Человек человеку композитор» — если заменить «композитора» «писателем», суть не изменится.

Иногда возникает ощущение, что роль литературных союзов все чаще выполняют виртуальные объединения. Интернет весь соткан из сетей и сообществ. Интернет дает возможность быстрой публикации и быстрого отклика, непрерывного общения... Интернет-сообщества динамичны, фактически не затратны, не скованы институ-циональными рамками.

Это их плюс, это же и их минус. Страничка литератора или сообщество на «Фейсбуке» или «ВКонтакте» действуют как инструменты быстрого реагирования. Они могут, например, воздействовать на общественное мнение, если в отношении какого-либо литератора допущена серьезная несправедливость. Но решать более рутинные проблемы, связанные с писательской деятельностью, интернет-сообщества вряд ли способны.

А такие проблемы временами возникают.

Одному знакомому поэту — замечательному, известному — не выплатили денежную часть литературной премии, лауреатом которой он был объявлен. Другого — не менее известного поэта — судили за якобы нарушение авторского права (истцом выступал его соавтор). Одному прозаику в журнале с благородно-аристократическим названием не выплатили гонорар... Примеры можно множить.

Заниматься решением этих вопросов должны, по идее, писательские профсоюзы. Собственно, в Европе и США союзы писателей и являются именно профсоюзами. Например, Гильдия писателей Великобритании (*Writers' Guild of Great Britain*), существующая — и активно действующая — более полувека. Целью Гильдии является защита интересов членов, организация бесплатных тренингов, формирование пенсионного фонда... В Штатах существуют две наиболее известные профсоюзные организации, куда вступают литераторы: Национальный союз писателей (*National Writers' Union*), насчитывающий более тысячи двухсот членов, и Союз фрилансеров (*Freelancers Union*). Последний состоит не только из писателей, но и из представителей других свободных профессий, не имеющих фиксированного места работы, и, в отличие от Национального союза писателей, в нем нет членских взносов.

Насколько в России, где традиции профсоюзного движения отличаются, скажем так, от западных, такие союзы будут эффективны? Еще один вопрос.

Я уже не говорю о «больной» теме функционирования Литфонда.

Что касается ситуации в ПЕН-центре, с которой был начат разговор, то она продемонстрировала ту уязвимость и зыбкость, которая присуща любому писательскому объединению — если это объединение не спаяно какими-либо общими практическими интересами или общеэстетическими принципами. А в ситуации русского ПЕНа не прослеживалось ни того, ни другого. Отличие ПЕНа от остальных союзов писателей было лишь в его условно большей элитарности, в том благородном отсвете, который

отбрасывали на него отношения с Международным ПЕН-клубом. В возможности некоторым образом манифестировать свою гражданскую позицию, более или менее либеральную. Хотя именно этот пункт стал поводом для недавнего раскола.

Возвращаясь к вопросу, заданному выше: нужны ли сегодня писательские организации?

Думаю, что в реанимированном советском изводе они вряд ли нужны, хотя и возможны. А в западном, чисто профсоюзном, вряд ли пока возможны. Хотя и нужны.

Но есть еще один вариант.

С конца 90-х частично функцию писательских союзов, по сути, приняли на себя «толстые» литературные журналы[1].

То есть повторилась ситуация, предшествовавшая бурному «союзостроительству» 1920-х. Журналы продолжали собирать вокруг себя авторов, заниматься их продвижением, поощрять журнальными премиями и выдвигать на национальные, вроде «Букера» или «Большой книги». Делать свои книжные серии, вроде прозаической серии «Дружбы народов» или поэтической «Ариона» (обе, к сожалению, уже закрылись). Когда появлялись средства — собирать своих авторов в самом прямом смысле: на совещания и писательские встречи[2].

Все это «толстые» журналы пытаются делать и сегодня. Но ресурсы резко сократились. На литературном поле их резко теснят, с одной стороны, крупные издательства — которые, в отличие от журналов, работают (вынуждены работать) по чисто коммерческой логике; никаких сообществ они вокруг себя не формируют. С другой — уже упомянутые интернет-сообщества и социальные сети.

Но своя ниша у «толстых» журналов остается. В том числе служить объединяющей структурой для писателей. Они не так обременены бюрократией, как писательские союзы, и не так аморфны, как интернет-сообщества. И уверен, если средства — государственные или благотворительные — будут направлены на «толстые» журналы, это будет наиболее верным выбором.

Лоббирую ли я, написав это, интересы «толстых» журналов? Разумеется. Но ситуация сегодня такова, что если мы, литераторы, не будем этого делать, то останемся без этого очень важного консолидирующего института. Со своими сетевыми и прочими склоками. А это будет печально.

---

[1] По-своему интересной попыткой было создание в 1991 году Союза молодых литераторов «Вавилон». Возник он на основе поэтического объединения вокруг одноименного самиздатовского журнала и фиксированного членства не имел. В 2004 году было объявлено о закрытии «Вавилона», а через полтора года его организатор и de facto руководитель Дмитрий Кузьмин начал выпускать журнал «Воздух». Что, на мой взгляд, служит еще одним примером жизнеспособности института «толстого» журнала как инструмента литературной политики.

[2] Назову хотя бы замечательную «дружбинскую» встречу, проходившую осенью 2009 года в Переделкино...

Литературная классика: диалог со временем

Новый издательский проект

Издательство «Время», прежде уделявшее основное внимание современной русской прозе и поэзии, изменило себе сразу дважды: во-первых, приступило к выпуску классических произведений прошлых веков, а во-вторых, половина этой классики — переводная. Тот, кто считает, что издавать классику проще, чем современников, — ведь все уже устоялось — вероятно, никогда не видел редактора, обложенного пятью изданиями «Евгения Онегина», включая прижизненное, причем каждое из них считается образцовым и при этом существенно отличается от остальных четырех. Не проще. Тогда зачем?

Классика — это то, что перечитывается. А перечитывается то, что важно здесь и сейчас, на что есть спрос. Статистика книжного прилавка свидетельствует: великие писатели прошлого все чаще приходят на помощь тем, кто ищет решения сегодняшних проблем, или — если взглянуть еще шире — тем, кто ищет смысла жизни. Гоголь и Данте, Рабле и Лермонтов, Гёте и Лесков, Достоевский и Кафка, Толстой и Мопассан, Чехов и Мольер — почти двести имен уже включены в план двух серий «Времени» — «Проверено временем» (в обложках) и «Сквозь время» (в переплетах).

Однако «Время» все же не решилось оставлять классиков наедине с читателями и постаралось каждому подобрать интересного собеседника — из нынешних писателей, журналистов, ученых, деятелей культуры, готовых «сквозь время» вступить в диалог со знаменитым автором. Вот лишь несколько имен тех, кто написал сопроводительные статьи для каждого тома: Мариэтта Чудакова, Лев Аннинский, Андрей Немзер, Андрей Дмитриев, Владислав Отрошенко, Сергей Гандлевский, Вениамин Смехов, Елена Катишонок, Олег Лекманов, Ольга Кучкина...

Мы предлагаем вниманию читателей «диалоги» Михаила Айзенберга с Антоном Чеховым, Леонида Бахнова с Чарльзом Диккенсом, Дмитрия Быкова с Иваном Тургеневым, Натальи Игруновой с Шарлоттой Бронте и Бориса Минаева с Фёдором Достоевским.

Дмитрий Быков

Отцы и дети — извечный российский перпендикуляр

Русская литература молода и похожа на подростка, который, по удачному выражению доктора Спока, одержим двумя главными страхами: неужели я такой, как все? И — неужели я НЕ такой, как все? Во всем, что касается формы, русская литература подражательна, намеренно и пародийно вторична, но эту форму, заимствованную у Запада, она наполняет собственным, куда более серьезным и трагическим содержанием. Это похоже на мосластый русский кулак в европейской лайковой перчатке.

Форма романа в стихах взята Пушкиным у Байрона, Петербург Достоевского интонационно и атмосферно больше похож на Лондон Диккенса, чем на Петербург других современников, Некрасова, скажем. «Война и мир» придумана еще в 1856 году и называлась тогда «Декабристы», но как ее писать — Толстой понял в 1862-м, когда вышли «Отверженные», свободный роман-эпопея с суждениями обо всем на свете и с приложением военных карт. Лермонтов ориентируется на Гёте, Островский на Шекспира, чьи сюжеты и страсти словно шваркнуты у него на замоскворецкую перину и даже в замоскворецкую квашню. И лишь Тургенев — которого отчего-то считают в России самым западным из русских классиков — ни на кого не ориентируется, ибо современный западный роман придуман им.

Тургенев привез во Францию русское аристократическое изящество, умение обо всем говорить изящными намеками (воспитанное русской политической цензурой) и отсутствие авторского диктата, то есть волшебную способность оставлять последнее слово за читателем. Флобер за это сознательное пренебрежение авторской волей называл Тургенева poire molle, мягкой грушей, размазней говоря по-русски; но в конце концов он признал, что для писания романов такой характер оптимален.

Этот роман, который выдумал Тургенев, идеально прижился в Европе (да и в Штатах так пишут, хотя там его вытеснил громадный, многослойный, энциклопедический, с библейскими аллюзиями кирпич вроде «Моби Дика», «великий американский роман» Фолкнера, Пинчона, Делилло, Макэлроя, Уоллеса. Однако вот романы Хемингуэя и Фитцджеральда — совершенно тургеневские, поскольку Хемингуэй учился писать в Париже, а Фитцджеральд учился у Хемингуэя. Американцы любят, чтобы всего было много, а европейцы — чтобы все было соразмерно).

Тургеневский роман обладает пятью устойчивыми чертами: он, во-первых, короткий. Лаконизм, гармония формы, принципиальный отказ от теоретических рассусоливаний и психологических копаний — все это у Тургенева от поэтической школы: романы он начал писать в середине пятидесятых, будучи опытным новеллистом и признанным поэтом.

Во-вторых, это роман политический, остроактуальный — что и делает его бессмертным, поскольку в России ни одна социальная проблема веками не снимается с повестки. Во Франции это не совсем так, и потому политические подтексты «Мадам Бовари» или «Карьеры Ругонов» нуждаются сегодня в комментарии, а без них получается не то; но даже плохо разбираясь в реалиях, мы чувствуем, что романы Золя и Мопассана плотно завязаны на актуальный контекст, и эта политическая ангажированность, как огонь под пеплом, подогревает читательский интерес по сию пору.

В-третьих, это роман практически бесфабульный, или, по крайней мере — в отличие от романа-фельетона, от выходивших главами и выпусками романов Дюма и Диккенса, — он удерживает читательское внимание не сюжетной динамикой, а более тонкими аттракторами. В тургеневском романе почти ничего не происходит: в «Отцах и детях» два молодых героя просто проводят лето в ***ской губернии, ссорятся и мирятся с родственниками и соседями, влюбляются, расстаются. Двигателем читательского интереса становится не фабула, а герой — лицо новой эпохи, которое Тургенев с исключительной зоркостью выделяет из череды современников.

В-четвертых, это роман подлинно полифонический, свободный от диктата авторской воли, от назойливого авторского голоса — «люби то-то, то-то, не делай того-то», как пародировал эту назидательность язвительный Пушкин. Бахтин говорил о полифоничности Достоевского, но в текстах Достоевского мы как раз нередко слышим (очень внятно, поскольку он не писал, а диктовал) захлебывающийся

авторский говорок, жаркий шепот; слышим даже, когда он закуривает крепкую свою папиросу с турецким табаком или прихлебывает остывший чай. Толстой чем дальше, тем меньше противится собственному желанию расставлять акценты в пространных авторских отступлениях. Тургенев все свои замечания произносит апарт и по второстепенным поводам, многое пряча в подтекст, ничего не говоря прямо; авторская позиция проясняется с помощью намеков, речевых характеристик, деталей, сплетающихся в тонкую и невидимую сеть; пейзажи — как например, в финале «Отцов» — довершают дело. Тургенев восхитительно свободен от назиданий — но кажущаяся амбивалентность авторской позиции никак не означает ее отсутствия. Он всегда твердо знает, что хочет сказать, но предоставляет читателю возможность дорыться до истины самостоятельно.

В-пятых, тургеневский роман почти всегда ироничен, насмешлив, и эта щепоть перца придает его прозе особую, едкую остроту. Без портрета губернатора в «Отцах», без монологов Потугина в «Дыме», без убийственного описания народнического опыта Нежданова в «Нови» (помните, где его напоили и чуть не повязали?) тургеневский роман непредставим. И особую прелесть ему придает этот контраст изящества, сложности — и брутальной, жестокой насмешливости, словно сдержанный и галантный любовник вдруг произнес с непроницаемым лицом желчную, на грани пристойности, эпиграмму. Это сочетание насмешки и трагедии отлично работает, скажем, у Золя в «Накипи», у Мопассана в «Монт-Ориоле», у Монтерлана в «Девушках». А придумал кто? — Тургенев! И чем фельетоннее, актуальнее поводы к этой сатире, тем она оказывается бессмертнее; потому что мы как бы слышим, по-гриновски говоря, «страшный смех дряхлого прошлого», насмешку вечности над нашими страстями.

Именно в силу всех этих особенностей, не столько проясняющих, сколько маскирующих авторскую мысль, роман Тургенева непрост для пересказа и понимания. Ценность его и намерения автора далеко не сводятся к изображению нового социального типа, и изображение этого типа не может быть для Тургенева самоцелью хотя бы уже потому, что в авторской системе ценностей это sine qua non. Без непременного писательского долга улавливать и портретировать новое явление Тургенев бы и за книгу не взялся; зафиксировать появление «новых людей» — задача очеркиста, романиста интересуют более тонкие материи. И конечно, «Отцы и дети» не только о Базарове, иначе роман назывался бы «Нигилист».

Примерно — и, как всегда, не до конца, — представить авторскую позицию и тургеневские намерения мы сможем, если спросим себя: кто в романе получает все бонусы? Проще всего сказать: Аркадий, птенец, который в галки попал, — но будущее Аркадия темно, и они с Катей действительно птенцы. Одинцова? Они с новым мужем, может быть, «доживутся до любви», а пока какое же тут счастье? Счастье было так возможно, но прошло мимо. Все лучшее достается Николаю Петровичу Кирсанову: у него и Фенечка, и Митя, и имение, которое хоть и скрипит на честном слове — но попробуй его реформировать по науке, и оно тотчас рухнет. Все счастье Николая Петровича, pater familias'а, играющего в глуши ***ской губернии на виолончели, — держится на соблюдении трудно формулируемых, интуитивно посягаемых конвенций; на человечности, на непрагматической любви к прекрасному и бесполезному, на деликатности, мягкой насмешливости, любви ко всем. Именно здесь скрытый автопортрет, который у Тургенева есть почти везде (как Шубин в «Накануне»), потому что главная деталь — внебрачный ребенок от крепостной — здесь вполне автобиографична. Сколько бы Тургенев ни уверял, что разделяет все воззрения Базарова, кроме взглядов его на природу и литературу, — это касается теоретических

воззрений, а они в жизни, как мы ясно видим из Тургенева, большой роли не играют. Мы любим друг друга не за взгляды, не за убеждения, идейные противники могут быть нежнейшими друзьями — а вот простые человеческие конвенции, обычная, инстинктивная человечность, деликатность души — все это оказывается совершенно необходимым; без этого обречен и самый сильный.

Ведь что, в сущности, является стартовой коллизией романа? В России в силу ее циклического развития каждые пятнадцать-двадцать лет сменяется идеологическая матрица, и каждое следующее поколение оказывается в идеологическом — да и нравственном — перпендикуляре к «отцам». На смену идеалистам сороковых годов приходят разрушители-шестидесятники («Прежде все были гегелисты, а теперь нигилисты», — замечает Павел Петрович, этот славянофильствующий барин с пепельницей-лаптем на столе и ежеутренним какао.) На смену нигилистам являются патриоты-государственники, современники партии Константиновского дворца, птенцы совиного гнезда Победоносцева; вслед за ними приходят революционеры начала века, великие разрушители, которых, в свою очередь, сменят государственники-евразийцы — имперские реваншисты...

Проблема отцов и детей в русской литературе традиционно остра, и не Тургенев ее первым поставил, а Грибоедов, конечно:

ВОТ ТО-ТО, ВСЕ ВЫ ГОРДЕЦЫ!
СПРОСИЛИ БЫ, КАК ДЕЛАЛИ ОТЦЫ?
УЧИЛИСЬ БЫ, НА СТАРШИХ ГЛЯДЯ.

Но Тургенев первым показал, что с ней делать. В условиях, когда историческая неизбежность ставит отцов против детей и заставляет их ни в чем не соглашаться, в стране, где отцы от детей отличаются не только мировоззренчески, но даже антропологически (поскольку замкнутый круг истории проходит через одни и те же неизменные четыре стадии), единственным, что может спасти, оказывается банальная и бессмертная человечность. Трещины в семейном быте надо всячески замазывать любовью, терпимостью, снисхождением — всем, чем в совершенстве обладает Николай Петрович. У Павла Петровича этого меньше, у Аркадия еще меньше, он стесняется этих сантиментов; у Базарова их нет вовсе. И поэтому Базаров — которому не о чем разговаривать с матерью, который отвечает бегством на недвусмысленный любовный призыв Одинцовой, которому так физически трудно с другими людьми — погибает. Поэтому он «фигура сильная, до половины выросшая из земли и все-таки погибающая». И поэтому же погиб гениальный юноша Писарев, увидевший в Базарове самого себя — и точно так же погибший в самом начале своего блистательного поприща. Да, правительство постаралось, но и без правительства ему было никак не выжить: реалисты, как они себя называли, не придают значения всем этим финтифлюшкам вроде поэзии, милосердия, нежности — а только благодаря этому и можно жить.

«Отцы и дети» — роман о беспощадном устройстве России, в которой каждое следующее поколение оказывается врагом предыдущего и каждая новая эпоха отрицает следующую. В такие времена человеку не остается ничего, кроме истинно тургеневских душевных свойств: умения разговаривать подтекстами, договариваться, терпеть. Надо не читать «Stoff und Kraft» — эта книга годится для благополучных немцев, — а играть на виолончели. Кто играет на виолончели, у того будут любовь, скрипучий, но бессмертный дом и Фенечка с сыном, Фенечка, так похожая на княгиню Р., то есть Россию. А кто читает «Stoff und Kraft» и режет лягушек, из того, при всех его талантах и добродетелях, лопух будет расти, обычный русский лопух, говорящий о вечном примирении и о жизни бесконечной.

Леонид Бахнов

«Я вновь повстречался с надеждой...»

«Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения, — словом, всю эту давид-копперфилдовскую муть».

Если кто не помнит, так начинается роман американского писателя Дж.Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (перевод Р. Райт-Ковалевой), мгновенно ставший бестселлером и переведенный практически на все мировые языки.

Впервые он вышел в свет в издательстве *Little, Brown and Company* в 1951 году и оказал огромное влияние на тогдашнюю литературу. Холден Коллфилд, шестнадцатилетний подросток, не вписывающийся в американскую — да, пожалуй, и в любую другую — действительность, на многие годы стал одним из культовых героев молодежи.

«Всю эту давид-копперфильдовскую муть»... Все верно — Диккенс в ту пору был отнюдь не в чести не только в Америке с ее нарождавшимся битничеством, но и на своей родине, в Англии, где на первые роли в литературе, кинематографе, театре и т.п. выходили «сердитые молодые люди», непримиримые критики буржуазных устоев.

Впрочем, с Диккенсом такое случалось и прежде. Были у него критики, почти современники, в его родной Англии (например, Оскар Уайльд, который писал о Диккенсе: «Когда он берется за серьезную тему, то лишь нагоняет на нас скуку, а ставя своей задачей постижение истины, неизменно скатывается к банальности»), были ниспровергатели и за рубежом. Но вот что интересно: несмотря на все писательско-читательские колебания, кинематограф, начиная с первой короткометражки 1897 (!) года, не оставлял вниманием Диккенса никогда, даже в периоды мировых войн! А жанр сериала так просто вдохнул в его романы новую жизнь. Всего же к настоящему моменту насчитывается более трехсот кино- и телевариантов произведений писателя.

О чем это говорит? С точки зрения, например, режиссера — о том, что сочинения автора середины XIX века не утратили своей кинематографичности. С точки зрения читательски-зрительских масс — о том, что классика можно сколько угодно сбрасывать с «парохода современности», но это ничуть не мешает его творчеству оставаться востребованным.

Кстати, каждое новое кинопрочтение вызывает новый интерес к книге.

Но обратимся к самому роману. Впервые публика увидела его на страницах редактируемого самим Диккенсом журнала «Домашнее чтение», где он печатался с декабря 1860 по август 1861 года. В XIX веке для писателей выходить к читателям таким образом было делом вполне обычным, тем более для Диккенса, который практически именно так публиковал все свои романы. Но в данном случае даже для него, находящегося на пике славы, подобная публикация была, мягко говоря, авантюрой — журнал-то не ежеквартальный, не ежемесячный, а еженедельный!

Ничего, справился. Причем так, что не было заметно ни швов, ни длиннот, ни каких-то сюжетных провалов. Позже один из исследователей творчества Диккенса напишет: «Достойно восхищения, что «Большие надежды» получились самым цельным из всех произведений Диккенса, ясным по форме, с сюжетом, согласующим глубину

мысли с занимательной простотой изложения» (Энгус Уилстон «Мир Чарльза Диккенса». М.: Прогресс, 1975).

И это действительно так. За плечами писателя были уже и «Оливер Твист», и «Давид Копперфильд», и «Николас Никльби» — масса больших романов. Казалось бы, что еще можно добавить к веренице образов несчастливых в детстве людей, каждый из которых, как несчастливые семьи у Толстого, был несчастлив по-своему?

Суть, однако, в том, что «Большие надежды» — роман не столько о рано оставшемся сиротой мальчике из городка на болотах Пипе, на которого, как по мановению волшебной палочки, вдруг сваливается невероятная «пруха», сделавшая его джентльменом и открывшая путь в лондонский свет, — сколько именно о больших надеждах, ни одной из которых не суждено сбыться. О мире соблазнительных иллюзий, которые рано или поздно разбиваются о реальность. Роман, конечно же, «социальный», но питаемый метафизикой бытия.

Собственно, эта метафизика не дает роману умереть и в наши дни.

Задумывая «Большие надежды», Диккенс писал своему старинному другу Форстеру, что перечел «Копперфильда», чтобы не повторяться. Но мог бы и не перечитывать, честно говоря. Хотя бы потому, что у этих романов разные герои. Пусть живущие в одни времена и обладающие немалом сходством. Оба родились в маленьких городках, оба из небогатых, в общем, семей, оба обладают живостью восприятия и покладистостью характера, оба по-своему изобретательны, попадая в трудные ситуации. И оба отнюдь не лишены честолюбия.

Но — и это очень важное «но». Давид Копперфильд, как и его автор — писатель. Да, как и Пип, он жаждет стать истинным джентльменом, вращаться в высших слоях, но этой цели нужно добиваться, на нее нужно *работать*.

Этого неожиданно разбогатевшему герою «Больших надежд» делать нет никакой нужды.

Воображая Давида Копперфильда (глядя на себя в зеркало), Диккенс видел *удачника* («Неподражаемый», как он сам себя называл). При тогдашнем мировосприятии Диккенса, который уже к тридцати годам проделал путь от мальчишки на фабрике ваксы до знаменитого писателя, а ко времени работы над романом был уже звездой первой величины, «голливудский» хэппи энд в его сочинении был просто запрограммирован. Большие надежды сбылись, впереди только счастье.

XIX век Фокс.

Интересно, кстати, что пишет Оруэлл об этом самом счастье в представлении героев Диккенса: «Идеал, за который сражаются герои Диккенса, на поверку оказывается приблизительно таким: сто тысяч фунтов, старый дом причудливой конструкции, обросший плющом, красивая милая жена, куча деток и — праздность. Все надежно, приятно, спокойно и самое главное — уютно».

Описав эту идеальную для Диккенса модель жизни, Оруэлл говорит, что в той или иной степени писателю удается ее осуществить почти во всех романах. И добавляет: исключения составляют «Тяжелые времена» и «Большие надежды».

То-то и оно.

Если большинство предшествующих «Большим надеждам» романов Диккенса говорили о надеждах, в конечном итоге так или иначе сбывающихся, то в этом романе не сбывается ни одна из надежд героя.

Почему? Подросток, а позже юноша живет не то чтобы в иллюзорном мире, но, по природе весьма смышленый, наблюдательный и обладающий трезвым умом, он живет и питается иллюзиями. Кто, как не он сам, внушил себе, что его неизвестный

благодетель — мисс Хэвишем? Кто, как не он сам, внушил себе, что мисс Хэвишем предназначила ему холодную и нацеленную хозяйкой поместья на мщение мужчинам Эстеллу? Кто, как не он сам, выделывая из себя джентльмена, старается поскорее вычеркнуть из своей души некогда самого близкого ему человека — Джо Гарджери? А когда к нему приходит его подлинный покровитель, бывший каторжник, Мэгвич, разве не чувствует он к нему отвращения, потому что не может ни принять такую реальность, ни смириться с нею?

Но и дальше надежды продолжают рушиться. Герой Диккенса в конце концов вынужден смириться с действительностью, его отношение к покровителю резко меняется, они с его верным другом Гербертом пытаются спасти Мэгвича, но и этот план претерпевает крушение. Раскаяние мисс Хэвишем и ее смерть мало что меняют, однако Эстелла, любимая и нафантазированная Питом Эстелла, всерьез выходит замуж за совершеннейшее, но богатое и имеющее положение в обществе ничтожество.

Пит оказывается в ситуации, когда от него ничего не зависит.

Фатум. Рок. Человек перед метафизическим холодом бытия.

Такой роман не мог закончиться хэппи эндом, как другие сочинения. В первоначальном варианте он им и не заканчивался. Там Пип берет маленького Пипа (сына Джо, названного так в его честь) на прогулку по Пикадилли, где их останавливает Эстелла, проезжающая мимо в карете. Она состоит в благополучном браке с доктором из Шропшира и просто говорит Пипу: «Здравствуй», — потом целует малыша перед тем, как они двинутся каждый своей дорогой и навсегда исчезнут из жизни друг друга. Это был бы вполне естественный финал, вполне возможно, что Диккенс его держал в голове с самого начала. Однако его друг, писатель Бульвер Литтон, уговорил его изменить конец, и Диккенс последовал его совету.

Не думаю, чтобы это было для него совсем несущественно. С другой стороны, Диккенс не был бы Диккенсом, если бы не оставил читателю совсем никакой надежды.

В новой редакции окончание романа стало таким: много лет спустя Пип встречается с Эстеллой на руинах прежнего Сити-Хауса. С мужем, который жестоко с ней обращался и заслужил широкую известность как образец высокомерия и скупости, она разъехалась, а чуть позже он погиб в результате несчастного случая. Последние же слова романа звучат так:

«Я взял ее за руку, и мы пошли прочь от мрачных развалин; и так же, как давно, когда я покидал кузницу, утренний туман поднимался к небу, так теперь уплывал вверх вечерний туман, и широкие просторы, залитые спокойным светом луны, расстилались перед нами, не омраченные тенью новой разлуки».

Правда перед этим, в самом конце разговора, Эстелла произносит:

«— Будьте же ко мне снисходительны и добры, как тогда были, и скажите, что мы друзья.

— Мы друзья, — сказал я, вставая и помогая ей подняться со скамьи.

— И простимся друзьями, — сказала Эстелла».

Признаться, эта последняя фраза меня смущает. Все-таки: «простимся друзьями» — или «не омраченные тенью новой разлуки»? (Кстати, означенная «тень» относится не к судьбе героев, а к расстилавшимся перед ними просторам.)

Хэппи энд или открытый финал?

По крайней мере, этот широкий, залитый туманом простор дает простор для раздумий.

...В советские времена было принято считать Диккенса разоблачителем буржуазного общества. Никто, мол, не критиковал так беспощадно нравы и социальное

устройство Англии времен королевы Виктории. Само собой, при этом он был классово ограничен и чего-то там «недопонимал», как уж без этого. Реакционная буржуазная критика замалчивала социально обличительную силу «мастера критического реализма», а либеральная хоть и не замалчивала, но сама чего-то недопонимала.

Что да, то да. Беспощадно критиковал Диккенс современную ему «буржуазную действительность». И высмеивал. Нет ни одной книги, где бы он этого не делал — от ранних «Очерков Боза» до последнего незаконченного романа «Тайна Эдвина Друда». Под его перо попадали и суд, и парламент, и школы, и приюты для детей, и тюрьмы, и лицемерная благотворительность, и английская аристократия, и нравы лондонской улицы, и... Наверное, легче перечислить то, что ускользнуло от его писательского и журналистского внимания.

Однако несмотря на то, что в критике викторианской Англии Диккенсу не было равных, никто не признавал его ни революционером, ни радикалом. Да и сам писатель сильно бы удивился, если бы ему «пришили» мысли о коренной ломке системы, записали бы в ее ниспровергатели.

Здесь есть некоторый парадокс. С одной стороны, Дж.Б.Шоу, отдававший немалую дань «левацким» идеям, в своем эссе о «Больших надеждах» пишет: «Маркс и Диккенс были современниками, жили в одном городе и занимались одним и тем же литературным трудом <...> Если бы Маркс когда-нибудь об этом задумался, он отнес бы Диккенса к разряду революционеров». И чуть дальше: «И все же "Крошка Доррит" — более подстрекательская книга, чем "Капитал". По всей Европе мужчин и женщин сажают в тюрьмы за памфлеты и речи, которые в сравнении с "Крошкой Доррит" то же, что красный перец в сравнении с динамитом». А еще чуть дальше: «И все же Диккенс никогда не считал себя революционером <...> Он был английским джентльменом свободной профессии, который не позволил бы своей дочери пойти на сцену, потому что это не было прилично».

Похоже, этика бичевателя вполне себе уживается с этикой английского джентльмена, а этика революционера — увольте-с!

Собственно, о том же говорит и Дж.Оруэлл: «Судя по всему, нападая на общество, Диккенс неустанно призывает к совершенствованию духа, а не общественной структуры. <...> Два явления могут быть весьма похожи, но при этом оставаться разными. Рай и ад находятся в одном и том же месте. Бессмысленно менять институты, не "изменившись душой" — это главное, что он прокламирует».

Иными словами, надо надеяться на то, что ход истории все-таки подчиняется трезвым началам, что светлые силы добра рано или поздно побеждают в душе человека.

Нет, все-таки не случайно Диккенс отказался от печального финала «Больших надежд», заменив его на счастливый (или открытый?) финал!

Как уже говорилось, интерес к Диккенсу на его родине и в мире не был постоянным. При жизни автор «Пиквика», «Холодного дома», «Лавки древностей» и других романов был самым модным (и самым высокооплачиваемым) писателем. К началу XX века слава его сильно померкла. Пик прохладного отношения к Диккенсу пришелся на период между двумя мировыми войнами. Новая волна интереса к писателю возникла в 50 — 60-е годы и не спадает по сей день.

Это — в мире. В России и СССР интерес к Диккенсу всегда был стабилен. Книги регулярно переиздавались, появлялись новые переводы, множились исследования его творчества и биографии, в 1962 г., к 150-летию со дня его рождения, была выпущена

почтовая марка. Можно долго и подробно говорить о влиянии Диккенса на Достоевского, Толстого и многих других русских писателей. Можно, например, проследить, как образ Джо Гарджери, кузнеца из «Больших надежд», отзывался в творчестве писателей разных поколений, вплоть до (не удивляйтесь!) солженицынского Шухова из «Одного дня Ивана Денисовича».

Но хочется сказать о другом.

Есть такая книга: Нелли Морозова. «Мое пристрастие к Диккенсу» («Новый хронограф», М.; 2011. Серия «От первого лица: история России в воспоминаниях, дневниках, письмах»).

Это не о Диккенсе, как можно было бы подумать. Это история семьи, жившей не в самые веселые времена. Автору пришлось пережить и арест отца, объявленного врагом народа (10 лет без права переписки), и ссылку в глухое башкирское село Бакалы, и предательство, и донос — много чего. Что помогало? Удивительная семья, где все старались помочь друг другу. Неожиданные друзья.

И Диккенс.

Я с головой погрузилась в чтение. С той минуты, как маленький Пип встретил на кладбище своего каторжника...

«...Человека, который, как видно, мок в воде, сбивал и ранил себе ноги о камни, которого жгла крапива и рвал терновник! Он хромал и трясся, таращил глаза и хрипел и вдруг, громко стуча зубами, схватил меня за подбородок.

— Ой, не режьте меня, сэр! — в ужасе взмолился я. — Пожалуйста, сэр, не надо! Посмотрев на меня с минуту, человек перевернул меня вниз головой и вытряс мои карманы. В них ничего не было, кроме куска хлеба. Когда церковь стала на свое место, — а он был до того ловкий и сильный, что разом опрокинул ее вверх тормашками так, что колокольня очутилась у меня под ногами, — так вот, когда церковь стала на место, оказалось, что я сижу на высоком могильном камне, а он пожирает мой хлеб».

Так получилось, что первой прочитанной автором «Моего пристрастия» книгой Диккенса оказались «Большие надежды». И дальше на протяжении всего повествования вспыхивают набранные курсивом цитаты то из «Холодного дома», то из «Крошки Доррит», то — чаще всего — из «Пиквика». И вспыхивают они как раз в те моменты, когда девочку подстерегает очередной нелегкий вираж судьбы, когда так нужны чьи-то поддержка и понимание. Или хотя бы мудрая улыбка.

Отсюда — «пристрастие».

Но, впрочем, к чему скрывать: Нелли Морозова — это моя мама. И пристрастие к Диккенсу, не вдаваясь до поры в причины, стремилась внушить мне с самого детства. Поэтому годам к четырнадцати я уже прочел основные его романы, а кое-что успел и перечитать.

Но я не о себе, а о том, что, фактически закончив книгу, мама долго не могла написать финал. И вдруг ее осенило: Туркин! Этот человек когда-то в гимназии был соседом по парте с А.П.Чеховым. В Таганроге он был другом семьи моего деда и одним из немногих, кто после его ареста продолжал — притом демонстративно — здороваться с женой «врага народа», моей бабушкой.

— Посмотри, Лёня, как тебе? — кликнула меня мама.

«И если суждено Мороку накрыть какие-то географические пространства на нашей маленькой планете, то все равно там — среди всеобщего одичания, пьянства и рабского страха — вдруг в каком-то городе, на какой-то улице с противоположного тротуара кто-то громко окликнет: "Как там *наши* в тюрьме?" И снимет шляпу, и низко

поклонится меж шарахнувшихся прохожих, и встанет во весь рост человек с прирожденной ему совестью.

От него заразится нелепым примером другой.

А третий просто генетическими, неведомыми путями перескочит через поколения, чья совесть была задушена...»

И конечно, мама не была бы самою собой, если бы не улыбнулась в конце цитатой:

«Этот безумный человек, — сообщил мистер Пиквик, похлопывая Сэма по голове, когда тот опустился на колени, чтобы застегнуть своему хозяину гетры, — этот безумный человек, чтобы остаться со мной, заставил арестовать себя.

— Ах, джентльмены, — подтвердил Сэм, — я... пожалуйста, стойте смирно, сэр... Я арестант, джентльмены. Схватило, как сказала леди, собираясь рожать».

...Читайте, читайте Диккенса, дамы и господа!

Наталья Игрунова

«Джейн Эйр» и «джейнэйрики»

В минувшем году исполнилось 200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте, британского прозаика, на книгах которой выросли поколения читательниц по всему миру. В нынешнем — 170 лет, как ее самая знаменитая героиня произнесла самую знаменитую свою фразу: «Я стала его женой, читатель». Роман «Джейн Эйр» вышел в 1847 году. В 1855-м Шарлотта Бронте умерла. Ей было тридцать восемь, она носила под сердцем ребёнка, первенца, — и не смогла дать ему жизнь. Но мир, созданный ею в этом романе, каким-то мистическим образом вырвался из-под книжной обложки, живет по своим законам, и в его границах и в сопредельных с ним пространствах с героями и автором все время что-нибудь происходит.

Все началось с того, что автор сменил пол.

На обложке первых изданий романа значилось мужское имя — Каррер Белл. Но подвластно ли мужчине так понять девичью душу? Один из тогдашних властителей дум, писатель, не приемлющий романтического надрыва, и человек ироничный, Теккерей, говорят, рыдал над «Джейн Эйр» и гадал, кто же автор — мужчина или женщина: «Если это женщина, она владеет языком лучше, чем кто-либо из ныне живущих писательниц, или получила классическое образование. Впрочем, это прекрасная книга. И мужчины, и женщины изображены превосходно». И просил издателей: «Передайте автору мою благодарность и уважение. Этот роман — первая из современных книг, которую я смог прочесть за последние годы».

Через два года — после выхода второго романа — псевдоним был раскрыт. Читающее общество Викторианской Англии только-только начало свыкаться с мыслью, что бесстрашно ломающая жесткие сословные стереотипы история рассказана женщиной, как тот же Теккерей, благодаря которому застенчивая провинциалка стала вхожа в лондонские литературные кружки, где-то неосторожно обронил, что она и есть Джейн Эйр. Ушлые газетчики (а им, в отличие от неискушенной в светских

интригах Шарлотты, было известно, что у писателя, как и у героя ее книги, душевнобольная жена) тут же припомнили восторженное посвящение Теккерею на втором издании романа — «орлу» и человеку «уникального ума», который провозглашает великим мира сего истину с «бесстрашием и дерзновением» и с силой «пророческой и победной»: «Я почитаю в нем первого борца за очищение общества наших дней... ни один критик его творений еще не нашел подобающего ему сравнения или слов, верно определяющих его талант...» Пошли слухи. Так Каррер Белл (он же Джейн Эйр, он же Шарлотта Бронте) стал Бекки Шарп (героиня «Ярмарки тщеславия»), а Теккерей — Рочестером (герой «Джейн Эйр»)...

Идут годы, сменяются века и даже уже тысячелетия, и в новой инкарнации Шарлотта Бронте расследует убийство случайной попутчицы и оказывается в центре мировых политических заговоров и шпионских дуэлей. Она посещает знаменитую лондонскую психиатрическую клинику, попадает в тюрьму, встречается с королевой Викторией, вступает в тайный брак, отправляется во Францию, ее судьба оказывается связанной с Россией... Выходят ее «тайные дневники». Первая жена мистера Рочестера раскрывает историю их с мужем отношений. Нрав мистера Рочестера с годами становится еще более необузданным. Этот почтенный джентльмен входит в дом не через дверь, а через каминную трубу или разбивает окно и впрыгивает в комнату, имеет привычку «своими мускулистыми пальцами рассеянно вязать узлы из кочерги», швыряется в Джейн то сапогами, то тяжелым шандалом («я покорно, но ловко увернулась от удара»), запирает в погребе своих сумасшедших жен (оказывается, их было три) и поджигает дом ("Одна из них, как вам известно, пыталась убить меня... Ха! Вот мое мщение. Но будете ли вы моею?" — Я без слов бросилась к нему на шею».)... Мистер Мэзон (брат первой жены мистера Рочестера) опаздывает в церковь, и Джейн и Эдвард Рочестеры, благополучно обвенчавшись, едут в свадебное путешествие. Джейн Эйр из невзрачной гувернантки превращается в фарфоровую куколку — первую в выпущенном к очередному 8 марта партворке «Дамы эпохи», опередив булгаковскую Маргариту, Сонечку Мармеладову и Эмму Бовари...

Приквелы, сиквелы, пародии и диссертации, десятки кинофильмов начиная с немого кино, снятых по всему миру (Великобритания, Мексика, Япония, Бразилия, Чехия...), спектакли и мюзиклы, комиксы и ролевая игра, неизменно — место в топ-десятке англоязычных романов... Несметное множество всяческих фанфиков и «джейнэйриков». Дом-музей на родине — десятки тысяч посещений в год. Фанклубы романа и персональные сайты автора. В интернете обсуждают, как одевалась Джейн Эйр. Учат разыгрывать шарады по примеру гостей мистера Рочестера. Сравнивают экранизации, типажи и игру актеров. Приписывают (по ошибке, спутав с героинями Джейн Остин сестрами Беннет) войну с зомби. Модный глянцевый журнал предлагает читательницам решить, «какой роман написали про тебя?», и составляет литературный гороскоп: Анна Каренина — Овен, Настасья Филипповна из «Идиота» — Скорпион, Мелани Уилкс из «Унесенных ветром» — Рак, Джейн Эйр — Козерог (девушка-Козерог рано или поздно заставит всех ходить по струнке и делать что должно). В честь Шарлотты Бронте называют кратер на Меркурии. В телеигре «Что? Где? Когда?» знатоки бьются над вопросом, как звали ее кота...

Кто-то остроумно заметил: даже те, кто не удосужился прочесть роман, знают о существовании его героини — маленькой невзрачной гувернантки, нашедшей после многих горестей и испытаний свое счастье.

Каждое время вычитывает в этой книге и вчитывает в нее — свое.

«Творчество Шарлотты Бронте получило высокую оценку Карла Маркса», —

начинает разговор автор предисловия к советскому изданию «Джейн Эйр». Маркс берет ее в союзники, чтобы развенчать буржуазию.

Современник Шарлотты Бронте русский прозаик Иван Гончаров признается: «Я жадно прочел Jane Eyere». Прежде всего писателя (только что опубликовавшего роман «Обломов» и уже задумавшего «Обрыв») интересует то, как там объясняется, «в чем долг состоит»: «Как ни подзывал пастор Джанну в Африку, как ни убеждал, что она создана для этой жертвы, однако она нашла, что долг ее — *любя* — остаться у Рочестера, слепого, больного».

Франко Моретти в новомодном интеллектуальном бестселлере «Дальнее чтение» анализирует понятие множественности времен: «Поставленное Джейн Рочестеру условие, что она не отпустит его на волю, пока он не подпишет "самый либеральный манифест", указывает на последние (британские) политические события; структура романа воспитания отсылает к предшествующей (западно-европейской) полувековой истории; а сюжет Золушки — к мировой longue durée».

Прозаик Трейси Шевалье, автор бестселлера 2000-х «Девушка с жемчужной сережкой», видит в романе урок, который мы получаем, наблюдая за становлением женщины — «сильной, непреклонной, верной себе, как бы ни поступала с ней жизнь». К 200-летию Шарлотты Бронте она собрала антологию современных рассказов, где действуют герои «Джейн Эйр»...

Вокруг этих двух маленьких женщин — скромной, не блещущей красотой дочери сельского пастора и ее не по летам серьезной праведной героини — жизнь бьет ключом. Но это — в нашем времени, это все-таки в большей степени с нами и о нас. Мы же помним — Шарлотта Бронте прожила тридцать восемь лет. И как очень точно написала Вирджиния Вулф: «Вспоминая ее сегодня, мы должны иметь в виду, что ей нет места в нашем мире, и, обратившись мысленно к пятидесятым годам прошлого (уже позапрошлого. — *Н.И.*) века, рисовать себе тихий пасторский домик, затерянный среди вересковых пустошей Йоркшира. В этом домике и среди этих вересков, печальная и одинокая, нищая и вдохновенная, она останется навсегда»...

«Тихий пасторский домик» — это стоящий на холме посреди навевающих чувство космического одиночества бескрайних вересковых пустошей двухэтажный дом из серого камня в деревеньке Хоуорт на севере Англии. В этом доме рядом с церковью, с трех сторон окруженном кладбищем, обосновался Патрик Бронте с семьей. «Осенними и зимними ночами все четыре ветра, кажется, сцепляются в схватке, едва не разрывая на куски дом, и воют, словно рвущиеся внутрь дикие звери», — вспоминает знаменитая писательница Викторианской эпохи, подруга Шарлотты Бронте и ее биограф Элизабет Гаскелл. Холод от каменных плит пола. «На ступенях — ни пятнышка, стекла в старомодных рамах блестят, как зеркала. И внутри и снаружи — опрятность достигает, так сказать, абсолюта — полнейшей чистоты».

И холод, и дикое буйство ветров, и стремление к абсолюту — все это важно, ибо соотносится с характером преподобного Патрика Бронте. Ирландец по происхождению, из бедной крестьянской семьи — клочок земли, десять детей. В шестнадцать лет ушел из дома и сам зарабатывал на жизнь — преподаванием. Крепкое здоровье, красота и аристократизм манер и речи, природный талант и трудолюбие. Несказанная удача: сумел закончить Кембридж. Несбыточная мечта — стать военным: социальное положение позволило лишь стать священником, получить приход. Жизнь аскетичная и одинокая. Характер сильный и страстный. Если был чем-то разгневан, слов попусту не тратил, палил из пистолетов на заднем дворе. Женился по большой любви на дочери

почтенного купца. «Нежное, хрупкое создание», за девять лет брака она родила ему пять дочерей и сына. Бедность принимала как дар Небес. Даже в смертельной болезни оставалась «терпеливой, неунывающей и набожной». Когда в 1821 году Мэри Бронте умерла, старшей их дочери, тоже Мэри, было семь лет. Она взялась опекать сестер и брата. Держась за руки, они отправлялись бродить в те самые вересковые пустоши, много читали (в доме была большая библиотека), разыгрывали сценки собственного сочинения, Мэри просматривала газеты и пересказывала прочитанное сестрам. Эти рано повзрослевшие дети были дружны, серьезны и молчаливы. Если уж спорили — то ни больше ни меньше как о достоинствах герцога Веллингтона, Буонапарте, Ганнибала и Юлия Цезаря. Отец уходил в церковь, гулял в одиночестве, читал или готовился к проповеди в своем кабинете. Нельзя сказать, что он не занимался детьми. Он хотел закалить их характер, воспитать здравое отношение к материальной стороне жизни. Но вот средства для воспитания выбирались порой весьма своеобразные. С легкой руки Элизабет Гаскелл стала знаменитой история о том, как однажды сердобольная прислуга выставила у камина подаренные кем-то из друзей дома ботиночки — чтобы дети, застигнутые на прогулке дождем, могли, вернувшись, переобуться, а отец бросил их в огонь: слишком нарядные, слишком много внимания... Через год после смерти матери в Хоуорт приехала ее сестра. Она вела хозяйство, учила племянниц шитью и работе по дому. Отец начал давать им уроки. В 1824 году он решил отправить Мэри, Элизабет, Шарлотту и Эмили в Кован-Бридж — школу для дочерей духовенства (ее Шарлотта Бронте описала потом в «Джейн Эйр» как ловудскую школу, а Мэри стала прототипом Элен Бернс). Их ожидали там спартанские условия, холод и жизнь впроголодь, анемия, придирки и муштра учительниц, эпидемия тифа, которым заболели 45 из 80 воспитанниц... Мэри и Элизабет умерли от чахотки. Шарлотту и Эмили осенью 1825 года отец забрал из школы, опасаясь за их здоровье.

Так начинается история трех знаменитых английских писательниц — Эмили, Энн и Шарлотты Бронте.

Много позже, в адресованном Элизабет Гаскелл письме Патрик Бронте, уже потерявший всех своих детей, вспоминал: «Я частенько задумывался /.../, что в них можно приметить искры таланта, который мне никогда не доводилось видеть в детях их возраста... Когда дети были еще очень малы — насколько я могу припомнить, старшей (имеется в виду Шарлотта. — *Н.И.*) было лет десять, а младшей около четырех, — я подумал, что они знают гораздо больше, чем я подозреваю, однако стесняются говорить. Я стал думать, как сделать их менее застенчивыми, и решил, что этого можно добиться, если дать им возможность скрыть лица. Оказалось, в доме хранится одна маска. Я вручил ее детям и велел по очереди смело отвечать на мои вопросы, прикрывшись ею. Начал я с самой младшей — Энн, впоследствии писавшей под псевдонимом Эктон Белл. Я спросил, чего же хочет больше всего дитя в ее возрасте. Ответ был таков: "Вырасти и узнать жизнь". Потом я спросил следующую по возрасту — Эмили (впоследствии Эллис Белл), как мне быть с ее братом Брэнвеллом, который плохо себя вел. Она ответила: "Поговорите с ним разумно, а если он не послушается разума, то выпорите его". Я спросил Брэнвелла, как лучше узнать разницу в мышлении мужчин и женщин, и он ответил: "Надо сравнить разницу в их телах". Затем я спросил Шарлотту, какая книга лучшая в мире? Она ответила: "Библия". — "А какая следует за ней?" — спросил я. "Книга природы", — ответила Шарлотта. Затем я спросил, какой вид учения больше всего подходит женщине? Она ответила: "Который заставит ее быть наилучшей хозяйкой в доме". Напоследок я спросил

старшую, как наилучшим образом проводить время. Ответ был такой: "Потратить его на приготовление к счастливой вечной жизни"...»

Комментируя этот «странный и остроумный в своей простоте» способ выяснить мысли детей и тон и суть ответов, Элизабет Гаскелл замечает, что их мышление формировали отрывки разговоров о церковных делах, услышанные в гостиной, и обсуждения деревенских новостей на кухне. И — по другому поводу: «Редко бывает так, чтобы люди, обладающие большими талантами, оказывались счастливы в детские годы: в душе у них кипят страсти /.../, они начинают размышлять и жить внутренней, субъективной жизнью». Как бы там ни было, все это корни, на которых вскоре вырастет мир прозы британских трех сестер.

«Внешняя» жизнь шла своим чередом, год за годом. Занятия с отцом, чтение, домашние хлопоты... Шарлотта взяла на себя ответственность за будущность свою и сестер (единственная реальная в то время альтернатива замужеству для девушек из небогатой семьи — работа учительницы или гувернантки), помогла получить образование. Чтобы совершенствовать французский, отправилась в Брюссель, закончив учебу в пансионе супругов Эже, осталась там преподавать английский, перетянула туда сестер... А потом влюбилась в мсье Эже, преподавателя французской литературы. Роман — возвышенный и тайный — был раскрыт, сестрам пришлось вернуться домой.

Однако полет воображения и внутренняя жизнь не останавливались ни на минуту. И даже трагической любви суждено спустя годы отозваться историей Джейн Эйр и мистера Рочестера. Пока же — весьма романтический сюжет: три молоденькие девушки и их юный брат, проводив отца ко сну после вечерней молитвы, беседуют, рисуют, сочиняют стихи и придумывают чудесные истории о фантастических странах Гондале и Ангрии. «Мало кто поверит, — записывает в дневнике Шарлотта, — что воображаемая радость может доставить столько счастья»...

Но время бежит, а счастье этой семье всегда выпадает ненадолго.

Рушатся мечты брата о карьере живописца — он не поступил в Королевскую академию художеств. Эта неудача и греховная связь с замужней женщиной сломили Брэнуэлла, он «пребывает в каком-то столбняке», сетует Шарлотта, «объявил, что сам для себя делать ничего не будет... не желает и пальцем шевельнуть, а только пьет, ввергая нас в отчаяние»... Работать гувернантками чужих детей и жить «в людях» уже стало невыносимо, «юность промелькнула как сон», личная жизнь сестер не ладилась, попытка организовать собственный пансион для девочек провалилась... В Хоуорте «каждый день похож на предыдущий, и каждый день имеет одинаково тяжелый и безжизненный характер, — пишет Шарлотта подруге. — Воскресенье, день выпечки хлеба, и суббота — только эти дни чем-то отличаются от других. А жизнь между тем проходит. Мне скоро исполнится тридцать, а я еще ничего не сделала. Когда я оглядываюсь на прошлое и думаю о будущем, меня охватывает тоска. Однако грешно и глупо было бы роптать. Без всякого сомнения, долг призывает меня пока что оставаться дома. Было время, когда я очень любила Хоуорт; сейчас все не так. Мы все словно погребены здесь». Ей хочется «путешествовать, вести живую и полнокровную жизнь». Но брат, гордость семьи, изменился до неузнаваемости, допивается до белой горячки и начинает курить опиум, делает долги, отец катастрофически теряет зрение, сестры из-за них в вечном страхе, легко простужаются и болеют. И она все чаще чувствует себя «старой и уродливой» и задумывается о судьбе одинокой женщины, обуздывая пылкий темперамент и пытаясь убедить себя, что незамужняя женщина, которая «идет по жизни спокойно, уверенно, с достоинством и не ищет поддержки ни у мужа, ни у брата», может быть так же счастлива, как и любимая жена и любящая

мать. И уговаривает подругу (или все же себя?) положиться на совесть, выбирая правильную из двух возможных дорог, «хотя подниматься по ней может оказаться труднее всего»: «Правильная дорога — та, которая предполагает наибольшее самопожертвование и наибольшую пользу для других. И если неуклонно следовать этой дорогой, она со временем приведет тебя к процветанию и счастью, хотя поначалу может показаться, что ты движешься в прямо противоположном направлении»...

Осенью 1845 года Шарлотте Бронте случайно попала в руки толстая тетрадь, исписанная стихами. Тетрадь принадлежала Эмили. Собственно, никакой неожиданности в этой находке не было — ведь все они с детства писали стихи. Но, как вспоминала Шарлотта, пролистав тетрадь, она ощутила «нечто большее, чем удивление: уверенность, что это не просто словоизлияния, которыми обычно увлекаются женщины». В стихах Эмили она услышала «особую музыку — дикую, грустную и возвышающую» и сумела убедить сестру в том, что они заслуживают публикации. Тогда и Энн попросила Шарлотту прочесть ее стихи — и в написанном младшей сестрой Шарлотта увидела «некое милое и искреннее чувство». Так ожила их детская мечта — стать писательницами. Было решено собрать под одной обложкой томик избранных стихотворений всех трех сестер и попытаться издать. А чтобы к их стихам не отнеслись заведомо предвзято, как к дамскому рукоделию, они поставили на обложке мужские имена: Каррер, Эллис и Эктон Беллы. Все организационные хлопоты (переписка с издателями, выбор бумаги и шрифта, договор о стоимости издания), как всегда, взяла на себя Шарлотта. В начале 1846 года сборник стихов «братьев» Белл увидел свет — и даже удостоился одобрения в известном журнале.

Дебютантки вошли во вкус — не прошло и года, они отправили в Лондон каждая по роману, предполагая такую же совместную публикацию. Романы Эмили («Грозовой перевал») и Энн («Агнесс Грей») были приняты к печати. «Учитель» Шарлотты вернулся с категорической рекламацией — ответ прислали в тот день, когда ее отцу удаляли катаракту и она присутствовала в операционной. Операция прошла успешно. «Учитель» отправился по новым издательским адресам (он был отвергнут шестью издателями и напечатан только после ее смерти). В сердце автора пробирается «нечто похожее на холодок отчаяния». Именно в эти дни Шарлотта Бронте начинает писать «Джейн Эйр».

Роман вышел в конце 1847 года и имел огромный успех. «С тех пор жизнь Шарлотты разделилась на два параллельных потока, — замечает Элизабет Гаскелл: — жизнь в качестве писателя Каррера Белла и жизнь мисс Бронте».

Маленькую провинциальную мисс жизнь по-прежнему испытывала на излом.

В сентябре 1848 года умер брат.

В декабре сгорела от туберкулеза ухаживавшая за ним Эмили.

«Я гляжу туда, куда ты советовала мне смотреть, — пишет Шарлотта подруге, — поверх земных бурь и скорбей. Пытаюсь собраться с силами, если нельзя найти утешение». Боли в груди и в спине возвращаются с каждой переменой погоды, но она знает: болеть нельзя, нельзя оглядываться назад и заглядывать в будущее, единственное спасение — смотреть ввысь, времени на сожаления, страхи и рыдания нет: «Я верую, что наши силы даются нам в соответствии с испытаниями, но тяжесть моего положения не уменьшается оттого, что я привыкаю к нему». У нее на руках полуслепой отец и угасающая от туберкулеза младшая сестра, она должна выполнить свой долг.

В мае 1849 года умерла Энн.

Одиночество, Воспоминания и Тоска так огромны, что Шарлотта пишет их с

большой буквы, но они не должны победить. Каррер Белл продолжает сочинять. В конце 1849 года выходит роман «Шерли»: кто-то читает его как летопись движения луддитов, кто-то — как историю любви двух прекрасных женщин к одному мужчине. В 1853 году появляется «Городок» — возвращение к дням, проведенным в брюссельском пансионе, книга, по словам Джордж Элиот, силы почти сверхъестественной, еще более удивительная, чем «Джейн Эйр»...

Одиночество отступает: в 1854 году она выходит замуж за Артура Белла Николса, младшего священника их прихода. Предложение принято далеко не сразу, лишь после того, как с мыслью о ее замужестве смирился отец. Но жить ей остается совсем недолго — 31 марта 1855 года Шарлотта Бронте умерла.

Пожалуй, самые красивые поминальные слова нашел Теккерей: «Задумавшись об этой благородной, одинокой жизни, о ее страсти к правде, о долгих-долгих вечерах, исполненных неистовой работы, озарений, вспышек воображения, рождающего сонмы образов, минут уныния, подъемов духа и молитв, вникая в эту отрывочную поневоле, невероятно трогательную, упоительную повесть сердца, бившегося в хрупком теле, повесть души, что обитала, как и мириады прочих, на этой огромной (огромной ли?) планете, на этой песчинке, затерявшейся в безбрежном мире Божьем, мы ощущаем изумление перед «сегодня» и трепет перед днем грядущим, когда все то, что мы сейчас лишь смутно различаем, предстанет перед нами в ясном свете»...

«Джейн Эйр» стала главной книгой Шарлотты Бронте, ее, как сказали бы сегодня, визитной карточкой.

Со времени выхода романа специалисты пытаются объяснить и примирить его очевидное несовершенство и захватывающий интерес.

Отмечают, что Шарлотта Бронте первой сделала героиней дурнушку — и «открыла небеса и бездны, ведомые Данте». Подчеркивают, что Джейн Эйр — первая героиня, которая сама рассказывает свою историю — прежде это было задачей и привилегией повествователя; все, что с ней происходит, случается на наших глазах и в наших сердцах. Упирают на универсальный расклад дамского романа: есть она — юная, бедная, умная, добрая, трудолюбивая, мечтающая о любви и счастье Золушка, есть он — поживший, страдавший, умный, не красавец, но мачо, порочный, но с чистой душой, мечтающий начать жизнь с чистого листа, Чудовище, в котором она со временем сумеет разглядеть Принца. Он добивается ее расположения, ей удается его «расколдовать», накануне свадьбы внезапно открывается некий скелет в шкафу, возникает угроза разлуки, но в конце концов, все преодолев и не поступившись принципами, они идут под венец, чтобы жить вместе долго и счастливо. Декорации — хоть готический замок с привидениями, хоть Рублёвка с прекрасной няней, хоть Голливуд.

«"Джейн Эйр" немыслима даже для сборника сказок, — формулирует Честертон. — Ее герои делают не то, что надо, и не то, что можно, и даже не то, что хотят. /.../ Сцена, где Рочестер переодет старой цыганкой, немыслима в литературе — такое встретишь разве что в кукольном театре, где король превращается в шута. И все же, несмотря на этот дух дурного сна, несмотря на нелепые ужасы и полное незнание жизни, «Джейн Эйр», быть может, самая правдивая из книг. От ее правдивости порой захватывает дух. Она точна не в описании манер — ведь манеры фальшивы — и не в изложении фактов — факты лгут; она описывает с предельной точностью единственно реальную вещь, неиспаряемый осадок — то есть чувства».

«...В ее книгах нас привлекает не анализ характеров, — подхватывает Вирджиния

Вулф, — характеры у Шарлотты Бронте примитивны и утрированы; не комизм — ее чувству юмора недостает тонкости и мягкости; и не философия жизни, философия пасторской дочки; а поэтичность. Так, наверно, бывает с каждым писателем, который обладает яркой индивидуальностью. /.../Шарлотта все свое красноречие, страсть и богатство стиля употребляла для того, чтобы выразить простые вещи: "Я люблю", "Я ненавижу", "Я страдаю"...»

Штукатурка литературной игры со временем осыпается — навсегда остаются чистые, несмешанные цвета страсти.

А что еще нужно читательнице — будь то гончаровская Марфенька из «Обрыва», признающаяся, что взяла у сестрицы Верочки роман и ее захватила история Джейн Эйр: «Это очень хорошо... Я две ночи не спала, все читала, не могла оторваться», — или посетительница женского сайта, попросившая «девочек» посоветовать хорошую книжку (добрую, без тяжелых сцен войны, со счастливым концом и чтобы увлекло с первых страниц) и выпавшая из сна на три ночи?..

Каждая Джейн Эйр ждет своего мистера Рочестера и надеется однажды сказать: «Я стала его женой, читатель»...

Борис Минаев

Создатель нового мира

«Идиот» завоевал мое сердце еще в ранней юности — мне кажется, когда я еще ходил в школу.

Князь Мышкин — это был какой-то совершенно обаятельный и при этом невероятно близкий мне по духу человек.

Так же, как и я, он стеснялся и робел, краснел и заикался. Так же, как и я, — он мог быть странным, глупым, нелепым в любой ситуации. Так же, как и князь Мышкин, я одевался не по сезону и абсолютно не представлял себе, чем буду заниматься в жизни дальше, когда вырасту.

Единственное, что вообще не совпадало у нас, — это его вербальные способности. Насколько я мог понять из текста романа «Идиот», Лев Николаевич Мышкин мог говорить с людьми буквально часами, с любым, даже первым встречным, и вообще он был великий рассказчик. Этого о себе сказать я ну никак не мог.

Думаю, что и многим моим сверстникам князь Мышкин был близок по тем же или похожим причинам.

Мое поколение, молившееся на идеалы хиппи, поколение рок-н-ролла и подполья, поколение «дворников и сторожей» — видело в герое Достоевского своего предшественника, то есть того человека, в котором традиционная классическая культура предсказала наше появление — через сто лет.

Предсказала, собственно говоря, всех нас. И это не могло не вдохновлять...

Мы чувствовали с князем Мышкиным некое вполне ощутимое духовное родство. Потому что быть «не такими, как все» — это было наше кредо, наша программа, наши убеждения.

В истории экранизаций и постановок «Идиота» (а их были сотни или даже тысячи,

учитывая мировую известность книги) есть одна невероятно примечательная: советский фильм 1958 года. Экранизацию осуществил Иван Пырьев, видный режиссер и киночиновник сталинской эпохи, до этого прославившийся такими плакатными пропагандистскими лубками, как «Свинарка и пастух» и «Кубанские казаки», воспевавшими колхозный строй. Буквально спустя несколько лет после смерти Сталина советский классик вдруг взялся экранизировать Достоевского. И у него получилось! Это одна из лучших постановок великого романа за всю его историю. Невероятно сильные образы: наполненный яростной страстью Рогожин (Леонид Пархоменко), неотразимо-гибельная Настасья Филипповна (Юлия Борисова) и нежнейший, ангельский князь Мышкин в исполнении Юрия Яковлева (того самого, который позднее сыграл Ивана Васильевича в любимой комедии советского народа). Как вообще все это стало возможно?

И почему именно за Достоевского взялся Иван Пырьев? Чтобы после окончания сталинской эпохи оставить по себе иную память? И как он сумел создать этот шедевр, пригласив на главную роль абсолютно советского, насквозь комсомольского Юрия Яковлева, типичного «светлого юношу» хрущевской поры?

Здесь, конечно, очень интересно было бы проследить, как в ранние 1960-е буквально на глазах перерождалось советское искусство, сбрасывая тоталитарную кожу.

Но все же главная причина, как мне кажется, была в другом: Достоевский всегда — даже при Сталине! — был «зашит» в русское сознание. Был упрятан в самые главные слои русской почвы. И весь духовный, психический, весь творческий организм русского человека был словно облучен однажды его книгами. Поэтому, когда отпали железные «скрепы» сталинской эпохи, то первым из них выпал, можно даже сказать, «вывалился» — именно он, Достоевский.

Пожалуй, что именно с этих пор, когда на экранах появляется фильм с молодым и прекрасным Юрием Яковлевым в главной роли, «Идиот» плавно становится почти обязательной частью школьной и вузовской программы. То есть он становится чтением прежде всего подростковым. И затем пытливые старшеклассники зачитают его до дыр — вместе со стихами Вознесенского, Евтушенко, Рождественского, вместе с «вновь разрешенными» Ахматовой, Пастернаком, Цветаевой, песнями Окуджавы, повестями Булгакова. Вот это и будет, так сказать, базовый, фундаментальный читатель Достоевского — именно молодежь, подростки 60-х и 70-х годов (мое поколение и люди чуть старше).

В это время, наверное, и обозначилась одна из главных проблем чтения «Идиота» — для тогдашнего молодого читателя был абсолютно не важен исторический контекст романа. Поэтому из него «вычитывают» сначала человеческие страсти, эмоции, атмосферу, столкновение великих характеров и, простите, мелодраматизм — все, что безотказно действует на юную душу и является для нее «учебником жизни», — а потом уже все остальное.

Между тем понять Достоевского без этого исторического контекста — контекста того русского времени — можно только наполовину. Достоевский, увы, так и существует с тех пор в сознании уже постсоветского человека — наполовину понятым. Как бы не до конца прочитанным.

И какие бы разные экранизации и театральные постановки «Идиота» (да и вообще произведений Достоевского) я в дальнейшем ни смотрел, будь то великолепный телесериал с Евгением Мироновым и Владимиром Машковым, спектакли Сергея Женовача, Льва Додина, Анатолия Эфроса, Камы Гинкаса, Сергея Арцыбашева,

Анджея Вайды — на всех них лежит, как ни странно, отсвет той самой первой постановки «Идиота» 1958 года режиссера Ивана Пырьева.

Это тот самый Достоевский, как бы выпавший из теплого, сырого тоталитарного подсознания.

Единственным исключением из этого ряда, наверное, является «Князь» Константина Богомолова в театре «Ленком», но этот спектакль очень быстро исчез со сцены, он не был принят зрителем, и я не успел его посмотреть.

Между тем серьезные вопросы начинаются с самого начала. С названия произведения. Почему, собственно, «Идиот»? Какой внутренний смысл у этого, так сказать, заголовка?

Основателем первой московской психиатрической больницы нового типа был городской голова Н.А.Алексеев, двоюродный брат основателя русского театра К.С.Станиславского, представитель известной и богатейшей купеческой семьи. Человек, так многое сделавший для превращения Москвы в современный город (он был членом попечительского совета строящейся консерватории, проложил водопровод, способствовал строительству каменной Москвы вместо деревянной, при нем появился первый общественный транспорт, ну и так далее). Однако нам интересней всего именно та самая психиатрическая клиника (которая сейчас носит его имя) — ее строительство очень близко по времени к выходу в свет романа «Идиот». Появление ее в Москве — знак того, что отношение к «психам» в обществе серьезно поменялось именно в те годы. В годы реформ. В годы, когда рождалась «новая Россия».

И относительно демократические выборы городского головы, и выход на первые роли в общественной жизни богатых купеческих семей, и бурный рост капиталов, который сопровождается благотворительностью и меценатством, — все это тоже знаки нового времени. В конечном счете последствия александровских реформ 1860-х годов.

Среди этих знаков — и новое отношение общества к психическим болезням. Новая московская клиника строится именно по европейским образцам с учетом современных научных открытий, нового отношения к психическим расстройствам, к людям с ментальными заболеваниями — теперь к ним принято относиться как к членам общества, которые нуждаются во внимании, заботе, сострадании и которые, что самое важное, имеют свои неколебимые гражданские права. Потому что они тоже — граждане. До этого времени медицинская наука практически не занималась «психами», их лечение было на уровне средневековых представлений — их засовывали в ледяные ванны, изолировали в тюремных замках, морили голодом, о них вообще не было принято говорить. Окружающие всерьез считали (а общество было достаточно религиозным, чтобы поверить в это), что в таких людей «вселяется бес».

Различий в степени заболевания и его разновидностях практически не делали. Человек мог оказаться в условиях такого вот сурового «лечения», полной изоляции, даже если просто рассказал окружающим о своих галлюцинациях или неожиданно впал в истерику, если с ним случался приступ «падучей болезни» (эпилепсии), если он слишком щедро расставался с деньгами, то есть не соответствовал тогдашнему представлению о социальной норме.

Что уж говорить о таких тонкостях, как аутизм, — для них, тонкостей, не было не только лечения, для их обозначения не имели даже нужных слов. Но если сейчас это лишь проявление невежества, то во времена раннего Достоевского это была абсолютная норма для разных слоев общества, включая образованные. Вы не найдете во всей европейской литературе того времени ни одного произведения, героем которого стал бы человек «с диагнозом».

...Во времена моей юности психиатрическая больница, как ни странно, становилась довольно частым прибежищем для моих друзей, а в какие-то годы — и для меня самого. В «психушку» ложились, чтобы не попасть в армию. Туда же сажали диссидентов. Я лечился от заикания, и сам видел в детской «психушке» очень разные варианты характеров, которые никак не могли вписаться в окружающий социум — в силу своего бунтарского духа или же в силу невероятной апатии, так называемого пофигизма, также свойственного моему поколению. Поэтому для моего времени медицинская история князя Мышкина, пожалуй, вовсе не выглядела странной. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда визит к психологу — это просто норма, притом аутист становится чуть ли не главным героем современной культуры. Единственное, что выглядело для нас, читателей 70-х, экзотикой, — то, что лечение герой романа проходил в Швейцарии. В советское время границы даже для полноценных членов общества были на замке. Что уж говорить о «психах».

Многие мотивы романа точно так же не считывались нами, советскими школьниками, в силу вполне понятных причин. Один из таких примеров — «евангельский» код романа, совсем уж темный для нас, подростков 70-х.

Когда князь Мышкин приезжает (или скорее «въезжает») в Петербург, затем знакомится с Епанчиными и вдруг ни с того ни с сего с первых же своих слов говорит о том, что «осел — это мое любимое животное», такая «оговорка» не могла показаться случайной тем людям, которые были воспитаны на евангельских историях с детства. Когда Ганя Иволгин бьет Мышкина по щеке и он не отвечает на этот выпад (что совершенно невозможно по этическому кодексу тогдашнего общества), хотя и вспыхивает оскорбленным чувством, и не теряет при этом достоинства — евангельская метафора становится уже совершенно открытой. И никакие дальнейшие разговоры персонажей о том, что князь — это всего лишь «христосик», то есть лишь «пародия на Христа», не в состоянии увести читателя от целой цепочки странных совпадений, быстрых ассоциаций, которые сами по себе должны были бы возникнуть — осел, пощечина, рассказ о смертной казни, бесконечные притчи, которые — одну за другой — рассказывает князь, наконец, дети, к которым все время возвращается мысль автора, — безгрешные дети, то есть существа, совершенно естественным образом восприимчивые к слову Христову.

Воссоздать восприятие «аутентичного читателя» (то есть читателя, жившего в то время) я, разумеется, не могу, но почти уверен в том, что, читая этот роман, тот читатель с некоторым ужасом или же с восторгом осознавал границы литературного эксперимента, который ставил над ним и над собой Достоевский.

А что если именно в этом облике, под этой личиной, в этом образе — в современном ему Петербурге появился живой, настоящий Христос? Что означает эта метафора? Ответ находится мгновенно — значит, наступил апокалипсис, «второе пришествие».

Получается, что именно так оценивал Достоевский современную ему эпоху в истории России — как апокалипсис, конец света? А я еще раз напомню, что то была эпоха пореформенная (то есть после отмены крепостного права и других важнейших государственных реформ), эпоха бурного развития капитализма в России, если пользоваться ленинскими словами, то есть постепенного расцвета промышленности и торговли, эпоха свободы слова и печати, эпоха гуманизма и т.д. и т.п.

Так почему же автор «Идиота» видел в ней «конец света»?

Почему настаивал на том, что если уж явился новый Христос в образе живого человека, то апокалипсис действительно неминуем?

Вообще Достоевский пишет о грядущем апокалипсисе практически в каждом

своем произведении (исключая, наверное, ранние повести) — он был большим сторонником этой теории, он предвидел его, он его предчувствовал. И как мне кажется, он оказался в целом исторически прав. Нет, конца света, конечно, не произошло, но что-то подобное человечество все-таки пережило — и продолжает переживать. В постсоветской литературе о Достоевском было принято писать о том, что «апокалипсис», предугаданный им, означал революцию, гражданскую войну, наступление тоталитарного большевизма и казарменного коммунизма со всеми его прелестями, но это, конечно, было не совсем так. Весь XX век и был тем самым апокалипсисом, то есть созданием абсолютно новой, непредставимой, «нереальной» для человека XIX века реальности. XX век создал эту «нереальную реальность», и Достоевский ее, конечно, действительно предвидел. Но все-таки, когда он писал «Идиота», он говорил не только о своих предчувствиях, о своих интуициях, о глобальных идеях, он говорил и о чем-то весьма конкретном и вполне определенном.

Впрочем, этот контекст романа о новой эпохе, о принципиально новых отношениях между людьми, о новой, только лишь строящейся реальности, в которой все возникает заново, все выглядит непривычно, все странно для людей из «прежней жизни», — заявлен не только в первых главах, но и буквально на первой странице романа: герои едут в Петербург по железной дороге, мерзнут на жестких скамьях, поскольку путешествуют не первым классом и вагоны не отапливаются — даже сами по себе железные дороги, их бурное строительство, внезапная, неожиданная скорость бытия — и это тоже немаловажная черта новой русской жизни.

Итак, Мышкин возвращается из Швейцарии в Россию, Рогожин из Пскова в Петербург за наследством — но это неважно, важно другое — они оба едут, то есть перемещаются из одной исторической эпохи в другую. Это отнюдь не рутинное, бытовое действие, как сейчас, это именно движение в будущее, наполненное для Достоевского глубочайшим смыслом.

«Идиот» — уникальный роман, в том смысле, что он весь пронизан цифрами. Здесь почти любой сюжетный ход, любая линия имеют конкретное денежное выражение, бюджет и смету.

Генерал Епанчин, имеющий на князя свои виды, «кладет» ему уже при первом знакомстве месячную зарплату в 35 рублей. Женитьбу Гани Иволгина на Настасье Филипповне ее покровитель Афанасий Иванович Тоцкий оценивает в 75 тысяч. Миллион получает от отца в наследство Рогожин. Сто тысяч должен Рогожин собрать за один вечер, чтобы отсрочить или отменить эту помолвку. Все эти цифры (а их много) можно выписать в столбик и проанализировать отдельно, как экономику романа «Идиот».

Деньги вторгаются в ткань романа и рвут ее на части: разговоры, отношения, характеры, чувства — все пронизано ими. Но деньги и составляют сюжет, они двигают его вперед, они плоть и кровь этой прозы.

Однако нам нужно понимать, на каком историческом фоне все это происходит. Это ведь не вообще Россия, а Россия в очень конкретную эпоху.

Нынешним читателям романа, пережившим, например, 90-е годы XX века, перестройку, гайдаровские реформы, эпоху «раннего накопления капитала» в новой России, все это очень близко, все знакомо, порой до боли. Моему же поколению все эти несусветные «миллионы» Достоевского казались лишь экзотической подробностью, мифом и сказкой.

Благодаря наступившей свободе слова — и в ту пореформенную эпоху, 60—70-е годы века XIX, и в 90-е годы века XX—произошла интересная вещь: в обществе возникает ощущение «вскрытого нутра», обнажения кишок, внутренностей

социума, — богатые стремительно богатеют, бедные стремительно беднеют, нищета становится всеобщей, так же как и роскошь становится открытой. Ловкие, хитрые, сумевшие сосредоточить в своих руках огромные ресурсы Тоцкий и Епанчин — точь-в-точь бывшие партаппаратчики, «красные директора» и офицеры КГБ, ставшие «новыми предпринимателями». Так же как сегодня фонд по борьбе с коррупцией разоблачает «бюджетные распилы», журнальные и газетные писатели того времени (например, Лесков) разоблачают коррупцию «откупщиков», то есть купцов, получивших огромный госзаказ и мгновенно сделавших на этом миллионы.

Ведь не случайно Родион Раскольников, герой другого произведения Достоевского («Преступление и наказание»), убивает именно старуху-процентщицу, а не кого-то еще. В отсутствие банковской системы в пореформенной России процветали частные ростовщики, «процентщики». Они давали деньги в рост, то есть под проценты, беря взамен долговые обязательства, расписки, как делает это герой романа «Идиот» Птицын. Если сегодня все в России знают, что такое кредиты, когда огромное количество людей живет в долг и не может расплатиться с банком, — то тогда роль алчных банков играли ростовщики. Долговую удавку явственно ощущали на своей шее очень многие.

На фоне стремительно богатеющих купцов это рождало общее ощущение тупика, отчаяния, тяжелого пессимизма, которым пронизаны многие страницы романа «Идиот».

Таким образом, происходит довольно странная вещь: чем дальше мы удаляемся от времени выхода в свет этого романа, тем ближе он становится нам.

В чем тут дело? Неужели только в историческом контексте? Мы опять живем в «новой России», опять переживаем этап накопления капиталов, опять «норма» и «антинорма» меняются местами?

Но, конечно, секрет текста, оказавшегося таким живучим и даже вечным, не только в этом.

Достоевский умудрился создать текст, как бы «выпрыгнувший» из современности в будущее. Читая его первые страницы, мы постоянно наталкиваемся на какие-то архаизмы, непонятные детали (что такое, например, «крытый тулуп»?) — и вдруг буквально через несколько страниц они исчезают. Почему?

Герои начинают разговаривать.

Язык Достоевского ошеломляет, шокирует, заставляет забыть о том, в каком веке живут герои, как они одеты и что их окружает. Буквально каждый, даже второстепенный, персонаж легко переходит границы «внешнего» и сразу отдается «внутреннему», потаенному, скрытому. Все исповедуются. Все вываливают самое жгучее, стыдное, интимное — на первого встречного. Это может вызвать у читателя оторопь, возмущение, протест, но поток этой речи захватывает тебя с такой силой, что ты невольно подчиняешься ее законам. «Я тогда, князь, в третьегодняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло», — говорит Рогожин князю, с которым познакомился буквально пять минут назад.

Что такое бекеша, почему она «третьегодняшняя» — все это уже неважно, можно не разгадывать, опираясь только на знакомые слова, — главное слово тут «прожгло». Оно освещает все эти несколько предыдущих страниц незнакомым светом. Оно как будто прожигает и самого читателя.

Незнакомец буквально вываливает на нас свое самое сокровенное переживание таким образом, что детали «внешнего» становятся неважны, мы сразу погружаемся в

контекст «внутреннего». И дальше совершенно естественно, легко живем в них уже сотни страниц.

Достоевский изобрел этот язык для нас — буквально на все времена. Для человека, для общества, в котором жил писатель, такая степень откровенности, открытости, обнаженности казалась немыслимой, фантастической. Неестественной.

Однако Достоевский заставил силой своего пера рассказывать об этих потаенных чувствах любого русского человека. Этот «язык переживаний» в конечном счете изобрел именно он.

Тут, наверное, необходимо сказать о том, какого рода эти переживания, о чем они.

Когда князь Мышкин рассказывает о чувствах человека, который приговорен к смертной казни, но был помилован, о его последних минутах, когда он готовится к смерти — как известно, автор романа сам пережил это — мы понимаем, что эти чувства нельзя обозначить привычными словами — «грусть», «страх», «скорбь», «радость» или даже «счастье», хотя все эти слова автор вроде бы использует. Нет, речь идет совершенно о другом. Это переживание настолько сильное, что оно меняет саму природу личности рассказчика, оно делит его жизнь на до и после, оно становится его вторым рождением (в рассказе о смертной казни это проявляется, разумеется, с особой силой).

Это переживание, которое затем, во Франции XX века, назвали «экзистенциальным» — переживание, подобное откровению, мистическому разговору с высшей силой.

Удивительным образом все герои Достоевского открыты подобному переживанию. По сути дела, каждый из них проживает свой внутренний апокалипсис, каждый рождается заново.

Такая готовность в любой момент «стать другим», конечно, сильно опередила свое время.

Несмотря на бурные социальные изменения, открытия науки, рост городов, строительство совершенно новых жилищ, изобретения новых средств связи и передвижения, открытие границ, несмотря на всю огромную сумму этих изменений, обнищание целых классов и рождение новых — человек в эпоху Достоевского оставался консервативным, замкнутым в себе существом, мало способным к перерождению.

Достоевский первым открыл эти новые возможности человека — он предсказал бурный рост не только «внешнего», но и «внутреннего» мира.

Современный человек совсем не похож на человека середины XIX века — хотя все типажи остались прежними, Тоцкий и Епанчин по-прежнему учреждают «акционерные общества» и «осваивают бюджеты», ломают судьбы, оплачивают содержанок и так далее, генерал Иволгин по-прежнему фантазирует и пьет, «хороший человек» Рогожин по-прежнему способен на убийство — но все-таки сегодня, в общем и целом, человечество гораздо в большей степени состоит из Мышкиных, чем из людей типа Гани Иволгина или Фердыщенко. Хотя с Настасьей Филипповной все, наверное, по-прежнему.

Люди оказались в гораздо большей степени готовы к перерождению, изменению, к новому языку, к переживанию нового, чем это предполагалось тогда, когда первый читатель разрезал страницы этого романа.

Может быть, именно эту новизну, это обещание я и почувствовал в Достоевском в 70-е годы, когда смотрел фильм с Юрием Яковлевым.

Роман обещал мне какой-то совсем новый мир.

И он был создан.

Михаил Айзенберг

Наши лица, голоса и сколько нас было

> И понимаешь, что тут нет перехода, а есть только тоненькая кромка, по одну сторону которой обыкновенная жизнь, воспринимаемая как нечто само собой разумеющееся, тогда как по другую — ее абсолютная, непостижимая противоположность.
>
> *В.Г.Зебальд*

Вдруг обнаруживаешь, что разговариваешь даже не прозой, как Журден, а непосредственно драматургией. «В Москву! В Москву! В Москву!»; «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах»; «Люди, львы, орлы и куропатки»; «Всякому безобразию есть свое приличие!»; «Живешь в таком климате, того гляди снег пойдет, а тут еще эти разговоры ...» Чехов давно вошел в нашу речь вместе со своей «мерлехлюндией», с черемшой и чехартмой, со всей этой вообще «тарара-бумбией». Наверное, это и называется «классика».

Но для русского сознания такое звание не гарантия спокойной почтительности, отношение к классикам у нас колеблющееся и требовательное. «У русских была игра: делить знакомых на партии сторонников и противников Чехова» (В.Набоков). Можно предположить, что и партия противников была достаточно влиятельной. Хорошо известно о близорукости современников и «непопадании» первых театральных постановок. «Комедия в 2-х выстрелах и 3-х недоразумениях», — потешались газетчики. Но даже благожелательные рецензенты писали все больше о «лиризме» и «сумеречных настроениях».

Слово «настроение» как-то вообще прилипло к Чехову на рубеже веков. Статья Иннокентия Анненского о пьесе «Три сестры» так и называется: «Драма настроения». Все же тончайшим своим слухом поэт что-то расслышал и за «настроением»: «Точно чья-то душа стоит перед загадкой... Точно эта душа только что почувствовала, что заря в окнах закатная и повторяет как в бреду: «Если бы знать... Если бы знать». Кто это говорит? Ольга, Чехов или мы говорим?».

Проговорки людей с хорошим слухом знаменательны. Известно, например, что акмеисты Чехова не любили, и у этого круга была своего рода аллергия на его тональность. Вполне отчетливо высказался в свое время Мандельштам: «Биолог назвал бы чеховский принцип — экологическим. Сожительство для Чехова решающее начало. Никакого действия в его драмах нет, а есть только соседство с вытекающими из него неприятностями». Иногда выражаются точнее, чем намереваются, а язвительный выпад через какое-то время читается как чуткий и проницательный отзыв. Да, сожительство, экология. В том-то все и дело.

Чехов едва ли не первым почувствовал новое состояние человека (которое акмеистов как раз категорически не устраивало) и дыхание времени, готовящегося съесть те события, что зависят от человека и происходят из его личной активности. В нем предчувствие эпохи, где человек ничему не хозяин, и о которой точнее других сказал тот же Мандельштам: «Ныне европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз».

Да и термин «экологический» Чехову очень подходит (но с учетом позднейшего смыслового обогащения). Природа, природность является для него едва ли не

основным этическим измерением. Он поразительно современен в своем понимании того, что человек — часть мира, но мир существует не ради человека; что его роль скромнее, чем представляется. Во всем, что писал Чехов, слышен этот призыв к скромности, в корне противоположный духу наступающей эпохи: призыв к мирному сосуществованию с «флорой и фауной», с почвой и климатом. Недаром доктор Астров сажает леса, да и сам Чехов всюду, где позволяли обстоятельства, разводил сады — улучшал, так сказать, «экологию». «Какие красивые деревья, и в сущности какая должна быть около них красивая жизнь». Но вот человек по собственной воле оставляет свой единственный дом. Падшее сознание побуждает его отвернуться от живого мира, живого дела ради идей и всяких вообще «разговоров».

Но вот какое странное несоответствие: пьесы Чехова как раз из «разговоров» и состоят. И само это противоречие, и его разрешение стали каким-то наглядным и неподражаемым уроком для мирового театра двадцатого века. Тот, надо сказать, этот урок хорошо усвоил и вот уже больше ста лет примеряет на себя эти несмешные комедии и шутливые драмы, эти «сюжеты, достойные кисти Айвазовского». Вслушивается в необязательные, случайные обрывки фраз, почему-то говорящие нам больше, чем развернутые монологи. «Тяжело, не хорошо... Ничего... После... Ничего... Я уйду... (Уходит.)». Все это довольно загадочно. Похоже, есть в этих пьесах что-то такое, чего не было ни раньше, ни потом.

Здесь впору снова вспомнить Анненского: «Самое страшное и властное слово, т.е. самое загадочное — может быть именно слово — будничное». «Будничное» слово Чехова принадлежит одновременно двум мирам: тому, что вокруг, и тому, которому здесь нет места. Оно задержано на границе «двойного бытия», где, сбросив бытовую оболочку, способно в полной мере предъявить свою властность и загадочность. (Много позже это состояние в предельных формах и категориях выразят Самуэль Беккет и другие драматурги-абсурдисты, у которых реальное и ирреальное присутствуют на равных правах в общем метафизическом пространстве.)

Едва ли не все чеховские персонажи ведут себя так, словно текущие обстоятельства жизни находятся в этой промежуточной зоне и напрямую их не касаются; живут в особом времени, в котором все уже как будто случилось. В ход обыденной беседы врываются голоса из будущего, и оптимистические прогнозы внезапно перекрывает какой-то провидческий ужас: «Боже мой, думаю, что придется пережить еще этим девочкам в течение долгой жизни! Я хватаю их, бегу и все думаю одно: что им придется еще пережить на этом свете!».

В пьесе «Три сестры» даже появляются какие-то вестники — представители этого другого мира: Федотик, Родэ. В действии они никак не участвуют, только «снимают фотографии», вручают никчемные подарочки на память и бодро рапортуют: «Не увидимся больше». «Прощайте, деревья! (Кричит.) Гоп-гоп! (Пауза.) Прощай, эхо!». Вот это точно голос из будущего. Он звучит, как стихи обэриутов — из самых последних, предсмертных. Тех, где слова лишены малейших риторических ухищрений.

В чеховском юморе есть что-то родственное будущему Хармсу (это очень заметно в его письмах к Лике Мизиновой). И если взглянуть на поэтику его пьес со стороны ОБЭРИУ, та при таком «остранении» делается наглядней.

Чеховские слова то очень легкие, лексически прозрачные — а то чуть выморочные. В них нет пафоса, а когда они по какому-то поводу встают на котурны, те видны невооруженным глазом, иронически подчеркнуты. Да и ирония здесь особенная: она в том, как смешно оступается речь; как неловко оступается судьба.

Чехов последовательно вводит в построение своих вещей момент хаоса, чувствуя

в нем возможность новой художественной организации. Закономерность проявляет себя в столкновении случайных событий. И «случайное» слово оказывается здесь самым верным, потому что у него другая динамика: порхающее движение и становится его основным смыслом. Это слово-воробей, поди его поймай. Потому и не приедается.

Такая невесомость бывает у слов, которым больше нет веры. Не очень-то верят в них и те, кто их произносят. Реплики словно повисают в воздухе, стараясь освободиться от адресата. Самые знаменитые из них, по сути, ни к кому не обращены, а какие-то прочитываются как неопределенные мимические движения (которыми так богата чеховская проза). Особенно это заметно в «Трех сестрах», где все персонажи друг друга почти не слушают и произносят свои монологи куда-то вовне — в будущее. Нам что ли?

От каких-то посланий делается не по себе. «Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами, теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить; человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее!» — философствует Вершинин. Пьеса написана в 1900 году. Ждать уже недолго.

Наверное, очень важно, что персонаж, несущий этот вдохновенный вздор, не то, что неумен, но так ограничен, словно ему для умствования выделено очень тесное и замкнутое пространство, в котором мысль, повторяясь, поневоле кружит по одной и той же траектории. Интересно, что именно подобное сознание так опьяняется идеей прогресса.

«Мое пророческое чувство меня не обманывало никогда», — писал Чехов. Иногда кажется, что он все знал заранее; что он смотрит на нас не из прошлого, а из будущего.

Нужен ли этим словам посредник, исполнитель? Произнесенное слово всегда принадлежит говорящему (актеру), оно окрашено его голосом и игрой — присвоено. Может, потому эти пьесы ставят и ставят без конца, что идеальной постановкой способна стать только та, что рождается в сознании читателя. Слова там и так звучат на разные голоса; сами угадывают тон, тембр, усмехаются и гримасничают. Текст свободно ведет свою двойную игру, голоса сами обозначают свое присутствие, определяют интонацию и, как облаком, этой интонацией окутаны. Именно внутри интонации высказывание получает свою настоящую форму, а слово становится действием. Сила таких действий обнаруживается напрямую: непосредственно нас касается.

Как в настоящей поэзии, все главное здесь происходит за словами и около слов. Мы почти физически чувствуем, как от второго к третьему действию «Дяди Вани» электризуется атмосфера (а за окном и вправду собирается гроза), как начинает блуждать и копиться нервное электричество, пробиваясь сперва маленькими молниями, а потом таким ударом, что все словно теряют рассудок. «Матушка!» — кричит Войницкий, обращаясь к нелюбящей его матери: «Матушка!» И сквозь мольбу рвутся слова другого, истинного безумца (он мелькнет потом и в «Трех сестрах»): «Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат его они!»

Или в «Трех сестрах» (где уже не гроза, а отсветы городского пожара): «Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу!.. Куда? Куда все ушло? Где оно? О боже мой, боже мой! Я все забыла, забыла... У меня перепуталось в голове...Я не помню, как по-итальянски окно или вот потолок... Все забываю, каждый день забываю, а жизнь уходит и никогда не вернется, никогда, никогда мы не уедем в Москву...»

Даже не припадки отчаяния, а какие-то мгновенные вскрики всей крови:

«Пропала жизнь!». Все замирает на самом краю, на последнем пределе, словно разом взглянули тебе в лицо все пропащие жизни.

Такие удары — истинные кульминации чеховских пьес, идущие, как гроза или ночной пожар, вне и помимо сюжетных коллизий. Те лишь готовят для них подходящие орудия.

В них открывается истинное лицо главных героев. И эти тексты так устроены, что с кем-то из действующих лиц успеваешь породниться. Происходит это, понятное дело, далеко не сразу. При первом знакомстве они чуть-чуть марионетки, и показаны как бы в двоящемся контуре: живые люди, забалтывающие собственную речь, произносящие не свои, а чужие, подсказанные рутинным слоем сознания слова. И даже не чужие, а просто ничьи: никому на самом деле не принадлежащие.

Но по ходу действия с героями происходят постоянные превращения. Переходя от обеденного стола к любимому креслу, персонаж пересекает какие-то невидимые участки другого опыта. Перестает быть физическим телом на психических приводах, становится своего рода метафорой: каким-то перышком, качающемся в прозрачном метафизическом воздухе.

Это неопределенное (ускользающее от определений) состояние проявляет нетривиальное представление о человеке: как о существе, в котором сошлось много разных и противоречивых характеров, чьи решения немотивированы, а поступки непредсказуемы.

«У Чехова актеры не уходят со сцены, а переходят в другую комнату, незаметно для зрителя, но доступно для его представлений», — пишет великий шведский актер Эрланд Юсефсон. Действие в этих пьесах устроено как пространство с обратной перспективой, где как будто нет ближних и дальних планов: все от тебя на одинаковом расстоянии, и ты способен с равной отчетливостью расслышать речь (тему) каждого персонажа. В этом полифоническом звучании жизни, равноправном хоре ее голосов заявляют себя какое-то новое состояние, иная близость, другая оптика. Нас не покидает ощущение присутствия всех и каждого.

Присутствие других в мире Чехова держится напряжением двух полюсов: спокойной трезвости и почти безутешной причастности. Чехов, пожалуй, самый трезвый русский писатель; умная, всегда неожиданная трезвость — едва ли не основное его качество. За этим стоит подобное непреходящей боли сострадание к человеческому прозябанию, «когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна». Человек крайне редко рождается законченным произведением. Обычно это сырой материал, и тот, в ком есть сердце, с болью видит, какие люди в большинстве своем неумелые и неловкие созидатели, как становятся будничной реальностью крушение и непоправимая неудача. Как и помимо этого хрупко, тленно, быстротечно все лучшее в жизни, и человеку, в конечном счете, нет пощады.

С Чеховым в литературе появился автор, смотрящий на человека одновременно с абсолютной трезвостью и с полным недоумением — как на загадку, не имеющую ответа. Появился его герой — обыкновенный человек во всей его необыкновенности. Это был совершенно новый взгляд, потому глубинное понимание Чехова так запаздывало в эпоху взвихренных идей, когда все человеческое стало казаться — по слову Ницше — «слишком человеческим».

Чехов говорил про философию Ницше, что «она не столь убедительна, сколь бравурна». Но время было так наполнено этой бравурностью, что ее никто не замечал. Когда же произошло некоторое отрезвление, стал слышнее и голос Чехова — голос подлинной человечности, единственно необходимый опыт нового стоицизма.

Дмитрий Шеваров

«Ангел выбрал меня на сочувствие праведникам...»

Виктор ЛИХОНОСОВ. Тут и поклонился: Эссе, письма, очерки. / Предисловие Валентина Распутина. — С.-Пб.: «Владимир Даль», 2016.

Классики оберегают нас. И даже тех, кто их не читает.
Виктор Лихоносов

У Виктора Лихоносова вышла новая книга. Обширная (860 страниц) — она сразу напомнила мне те дневники, которые вели мои дедушки: в общую тетрадь с записями мудрых мыслей и домашних событий день за днем вкладывались календарные листочки от памятных дат, лепестки цветов, газетные вырезки — и так до тех пор пока тетрадь не разрасталась в книгу, которая ложится в ладони как заботливо свитое гнездо.

В «гнезде» у Виктора Ивановича — не только его давно ставшие классикой рассказы и повести, но и «Записи перед сном» за полвека, очерки о любимых писателях, исторические заметки, выписки из дореволюционных газет, рассказы стариков и даже рукописи, не выросшие в художественную прозу, но любопытные для всякого, кто хочет понять, из какого «сора растут стихи, не ведая стыда». Какое долгое и отрадное чтение ждет меня по вечерам!

Тот, кто не читал Лихоносова, не поймет моей радости (а не читавших уже целые поколения, ведь за последние двадцать лет его книги издавались крайне редко). Но те, кто читал когда-то «Люблю тебя светло» или «Осень в Тамани», «Чалдонок» или «На улице Широкой», «Брянские» или «На долгую память», — те непременно захотят вернуться к этой прозе, которая помнится не сюжетом, а *вкусом слова.*

Это как хлеб или сметана из детства, которые люди всегда вспоминают, потому что им кажется, что нынешний хлеб и нынешняя сметана, напичканные усилителями вкуса, как раз настоящего-то вкуса и не имеют. Вот и литература, хоть она и пища духовная, не может быть пресной, стылой и безвкусной. Усилители вкуса могут, конечно, ввести читателя в заблуждение, но рано или поздно он очнется, отбросит «актуальные тексты» и схватится за «Капитанскую дочку» как за материнский подол, чтобы скорее вернуть слову тот вкус, который был в детстве.

Про «материнский подол» у меня вырвалось, наверное, не случайно, ведь Лихоносов всю жизнь, от юности до своих нынешних 80 лет, пишет о матери, о маме своей Татьяне Андреевне. Даже там, где и слова о ней нет, таинственно угадывается ее присутствие.

Возможно, всегдашние тоска, печаль и забота о матери и привели его к писательству — как единственному способу поведать матери то, что не умел или не успел ей рассказать.

Гибель отца на фронте сделала Витю Лихоносова, тогда семилетнего мальчика, особенно нежным и тревожным сыном. Рассказывал мне: «Вот какой-то день, матушка уехала выкапывать картошку к деревне Ересной, а я, маленький, до вечера жду ее. А в другой раз она поехала через Обь в центр, а я с крыши выглядываю появление пригородного поезда, боюсь, как бы чего с ней не случилось. В этой тревоге — мотив моей жизни после войны без отца...»

Окончив школу и поработав на «Сибсельмаше» зуборезчиком, Виктор по совету докторов уехал учиться на юг, потом сам учительствовал на Кубани, разлука с матерью затянулась на десятилетия, но без разлуки не было бы этой с первых слов узнаваемой интонации его прозы — в ней и сострадание, и покаяние, и желание проникнуться тем, что дорого матери — ее детством и девичеством, историей ее родного села.

«В ту пору, когда я уже вовсю печатался и перестал учительствовать, мне больше всего хотелось, чтобы меня считала писателем моя малограмотная матушка. Не то чтобы там хваталась мною на каждом углу, а потихоньку радовала бы себя тем, что не зря после гибели отца на фронте так старалась поднять меня, выучить и вывести меня в люди...»

Почему так странно названа новая книга Лихоносова — «Тут и поклонился»? Где поклонился? Кому? Ответ — в одноименном очерке о поездке в Иерусалим в начале 1990-х годов.

«...Тень русских богомольцев, бабушки моей, учившей меня молитве "Отче наш", водила меня по камням и ступенькам... Может, за то, что я душою живу во всех временах, ангел выбрал меня на сочувствие праведникам...»

А вот как завершается этот путевой очерк: «К тому часу открыли церковь Гроба Богородицы. Сорок восемь ступенек ввели нас в пещеру. И в кувуклии, став на колени пред решетчатой нишей, позабыв о присутствии молившейся сбоку эфиопки, услышал я бабушкин и материн голоса: они меня учили молитве в Сибири — как приходил Христос к Матери: "Мати моя, ты спишь или так лежишь?"»

Мне жаль, что в свою новую книгу Виктор Иванович не успел включить недавно написанную повесть «Одинокие вечера в Пересыпи», заветное лихоносовское повествование о любви материнской и любви сыновней.

Читая эту повесть в журнале «Родная Кубань» (тираж 900 экземпляров!) я все вспоминал: а кто еще в нашей литературе пишет сейчас о матери? Есть ли такие книги среди «лидеров продаж», в коротких списках литературных премий? Так и не вспомнил. Подскажите, если знаете...

«...На спинке стула чистая, поглаженная рубашка, в широкий портфель матушка уложила с полсотни яиц, в сумку поместила две банки с вареньем, обложила твердым вяленым судаком. Матушка моя неутомимая! Всегда меня так провожала. А я грустил и был виноватым. "Да не кури! Ну что ты себя гробишь!" — строжилась она. Я шел в сад (зимой жалобно-голый, летом тесно-заросший, нежный), и все там укоряло, спрашивало меня: зачем уезжаешь, оставляешь мать одну? на душе у нее станет пусто, в огороде лишь ежик перебежит грядку да птичка с ветки сорвется: нигде нету сына...»

Особенная бережность в слове делает всякий рассказ Лихоносова музыкальной элегией, отчасти колыбельной. И читателю уже не так важно, о чем рассказывает писатель, а важно подольше слышать эту сыновнюю мелодию, будто Лихоносов выговаривает и твое сердце, твою вину. И тут тебе становится легче, будто ты нашел брата, который все о тебе знает, и не надо ему ничего объяснять.

Это может показаться странным, но и сейчас Лихоносов чувствует себя не столько отцом и дедом, сколько сыном. Возможно, поэтому в его рассказах всегда так много юношеского: там есть и смущенная улыбка, и минутное самолюбование, и бравая самоирония, и тот кислород, тот воздух, который позволяет его прозе так близко граничить с поэзией. О каких бы грустных, суровых или трагичных вещах не писал Лихоносов, в душе остается мир, радость и ощущение светлой таинственности бытия. Им легко зачитаться. А зачитывались Лихоносовым люди, которым было из чего выбирать и с чем сравнивать.

В новой книге Лихоносова можно прочитать письма к нему легендарных литераторов первой русской эмиграции Бориса Зайцева и Георгия Адамовича. Адамович, прочитав дебютный сборник рассказов Лихоносова, первое, что подумал: «Надо бы показать ее Бунину, — что он сказал бы?»

Бунина уже не было, но жива была Вера Николаевна Бунина (в 1961 году она прислала двадцатичетырехлетнему Лихоносову, мальчишке-студенту, свою книгу «Жизнь Бунина»). А на авеню де Шале жил Борис Константинович Зайцев. И вот что старик писал тридцатидвухлетнему Лихоносову: «Прочитал и порадовался: дарованию, свежести Вашей и молодости. Это все в Ваших рассказах есть, и никакого указательного перста... У Вас свежее и доброе дарование...»

Александр Трифонович Твардовский, прочитав в рукописи рассказ Лихоносова «На улице Широкой», записал в дневнике (14 сентября 1968 года, Пахра): «Встал до 4-х, пил кофе, курил... Стал читать Лихоносова и до конца не мог оторваться. Какой молодец!.. Нет, этого уже не заставишь "соображать", дозировать "светлое" и "темное", приплетать "руководящую роль" там, где ее попросту нет...»

Виктор Иванович рассказывал мне: «Когда Твардовский умер, я написал его вдове, Марии Илларионовне, что Александру Трифоновичу я обязан самой жизнью. Если бы в 1963 году он не опубликовал мой рассказ, я промыкался бы всю жизнь и никогда не раскрыл бы ни своих способностей, ни души...»

А как любил Лихоносова Юрий Павлович Казаков — как младшего брата! Посвященная Казакову документальная повесть «Волшебные дни» (ее тоже читатель найдет в новой книге Лихоносова) — это и памятник дружеству, и, быть может, лучшее, что написано не только о Юрии Казакове, но и вообще о доле русского писателя в двадцатом веке.

В 1963 году именно Казаков отнес рассказы безвестного учителя из Анапы в «Новый мир». «Витя, — писал Казаков осенью 1964-го, — каждый ваш рассказ написан "изо всех сил", в охотку, с удовольствием, если не с наслаждением, все они — история вашей жизни, вы потом это поймете...»

А как ревниво приглядывался к Лихоносову Сергей Довлатов... В повести «Заповедник» его герой берет в руки книжку Лихоносова, чтобы непременно «срезать» своего слишком удачливого, как ему казалось, сверстника. «Между делом я прочитал Лихоносова. Конечно, хороший писатель. Талантливый, яркий, пластичный. Живую речь воспроизводит замечательно... И тем не менее, в основе — безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: "Где ты, Русь?! Куда все подевалось?.."»

Что бы сказал Довлатов сейчас? Стал бы называть неизбывную лихоносовскую ностальгию худосочной и нудной? Ведь и его, Довлатова, проза читается теперь с ностальгией — только не по дореволюционной России, а по брежневскому Советскому Союзу. И для сегодняшнего читателя, глотателя текстов с экрана, и герои Довлатова, и герои Лихоносова — одинаково мифологичны. Те, кому сегодня тридцать лет, не встречали в жизни ни довлатовских очаровательных балбесов и маргинальных умников, ни лихоносовских целомудренных чалдонок и тиховейных брянских старичков. Все они стали для молодых вполне сказочными персонажами.

Так равно зарастают быльем и те идейные окопы, что яростно копали на поле русской словесности «либералы», и те, в которых оборону занимали «почвенники». Все это для молодых — дела давно минувших дней.

Поймет ли нынешний читатель, что навсегда развело в 1980-е годы Лихоносова и Астафьева? Почему столько горечи во всех лихоносовских упоминаниях о Викторе Петровиче, который еще в 1967 году с радостью приветствовал появление в литературе нового имени (в письме критику Александру Макарову): «Читал я Виктора Лихоносова две книжки. Повесть "Тоска-кручина" просто ошеломила меня и боевитостью, и мастерством, совершенно удивительным для молодого писателя. Очень большой и серьезный художник растет, если его не заломают...»

Кто сейчас, распахнув том Лихоносова на самой середине, на «Записях перед сном», поймет, к какому это Виктору Петровичу обращается автор 10 сентября 1990 года: «Ты делаешь вид, что выходишь из компании Бондарева и Распутина, ну и конечно (я знаю о твоей ненависти) вытираешь ноги об А.Иванова и какого-нибудь провинциального писателя-дуролома, но на самом деле исторически ты уходишь от А.Хомякова и И.Киреевского, К.Леонтьева, И.Ильина, Б.Зайцева и И.Шмелёва... Что с тобой случилось, Виктор Петрович? Прости, но я думаю, виновато твое безбожие. Ты в Бога веришь литературно, как-то от ума, хотя ты в своей жизни страдал столько, что душа твоя только в Боге могла бы и успокоиться... Россия погибает, и ты с Б.Можаевым оказался среди тех, кто ее не любит. Нам это ясно. По крайней мере, твоим младшим братьям (В.Белову, В.Распутину, В.Крупину и др.). Мы тебя и вспоминаем всегда как родного старшего брата... »

Пишут ли сейчас русские литераторы друг другу о судьбах России и судьбах литературы, о Боге и безбожии? Считают ли друг друга братьями?..

Из «Записей перед сном», лето 1994 года: «Наше литературное бытие убито не демократией (даже), а графоманами. В общественно-политическом смысле графоман — всегда предатель. У него одна вечная задача: выкрутиться, спастись. Если за крик "моя Россия!" дадут 40 тонн бумаги, он пристроится к этому крику. Одновременно графоман и за демократию... Графоману даже не снилось, что для его широкого кармана наступят такие золотые времена. Но в беседе с патриотами он скажет: "Какое проклятье! Жить невозможно! Что они наделали, эти Гайдары!" В жадности своей он не различает позиции газет и бежит в любую, где возьмут его объедки. Еще мгновение — и графоман присвоит себе все...»

Из записей 1998 года: «Я давно это знал: как только они почувствуют безопасность, тотчас вылезут из кустов и завопят: мы страдали за Россию, и вот эти — наши враги! ...Что-то с нами случилось. И прежде всего то, что называется классово-гражданской войной. Она продолжается. В эпоху застоя и в годы реформации страны она покоилась на бытовом житейском уровне. Идеологией партии прикрывалась бездарность и нечисть; нынче они же прикрываются несчастьем народа. Но сами живут прекрасно. Пусть расскажут, как им это удалось. Да ведь ничего не менялось: связи и партийное

кумовство остались. Еще тысячу раз погибнет жизнь, родная страна, а связи, блат, коррумпированная спайка только окрепнут. В статьях и речах виноватыми у них будут олигархи и дерьмократы, а в жизни — русская совесть. Ее они, когда окончательно придут к власти, примутся истреблять...»

Ноябрь 2003 года: «Пишите, пишите! Пишите по роману в год, успевайте написать еще и повесть и сунуть десяток статеек, участвуйте в дискуссиях, забивайте своей фамилией, как гвоздями, газеты, прыгайте на телевидении... Какая жадная бессовестность — все время надоедать собой, почти требовать, чтобы твои глупости и ложь читали, слушали, ожидать благодарности, похвалы...»

Завершу эти выписки из «Записей перед сном» одной из первых записей, сделанной в Новосибирске в декабре 1954 года восемнадцатилетним Лихоносовым: «Я сижу и жду почтальона, я подписался на "Литературную газету", и мне теперь по случаю 2-го съезда писателей носят ее каждый день. Печатают речи писателей, и газета толстая, по 10-12 страниц... Вот уже три часа дня, четыре, стемняется, эх, уже сегодня почтальона не будет... А буран все сильнее, снежная пыль над крышами, над трамвайной линией. Долго ждать. Опять надо ложиться спать, а завтра с утра опять томиться и выглядывать, — то сам выбегу к воротам, то маму попрошу. Она уйдет за хлебом в магазин за бараками. Я забудусь у теплой печки с книжкой, и вот входит. Вдруг подает мне "Литературку" как самый лакомый гостинец. И улыбается. Хвать! — и я уже изучаю все страницы. Как интересно! Все подчеркиваю...»

Что это? Из какой жизни?.. Да сейчас хоть все писатели мира соберутся и станут говорить речи — кто их будет читать? В какой стране какой юноша будет ждать их с нетерпением? Какая мать принесет сыну газету как самый долгожданный гостинец?

Лихоносов комментирует эту свою стародавнюю запись: «Я бы и сейчас хотел пережить то волнение, ту жажду новостей из великой, но незнакомой мне Москвы, где в Колонном зале собираются каждый день боги — писатели, а я, бедный, даже в институте не учусь, а всем завидую, всем, кто обрел себя...»

Прошло 60 лет — целая жизнь! — но каким-то чудом Лихоносов не растерял того мальчишеского благоговения перед напечатанным словом, перед писательством. Может, потому и не изверился в своем читателе: он и сегодня живет где-то в райцентре или в станице, на окраине большого города или в заполярном поселке. Нельзя обижаться на людей только потому, что они теперь никому не докладывают, какого писателя любят.

«Подбитая, как птица, страна все равно читает. Ничто, возможно, не кончится, и будут читатели, которых не собьют ни телешоу, ни Интернет...» (из записей 1996 года).

...Незадолго до своего ухода Татьяна Андреевна сказала сыну: «Умру, так напишите на доске, что я "мать писателя"».

Сейчас на ее могиле стоит белый камень с плачущим ангелом и еле приметной надписью: «Мать писателя».

Александр Котюсов

Девятнадцать короткометражек про жизнь

Рецензировать сборник всегда намного сложнее, чем роман или повесть. Часто бывает так, что истории, собранные в книге, оказываются ничем друг с другом не связаны — нет в них общих действующих лиц или объединяющей сюжетной линии. Казалось бы, он именно такой и есть — сборник Елены Долгопят. Разные герои, разные сюжеты, разные времена — от ранних послевоенных до наших дней. В своей книге Долгопят собрала как новые произведения, так и те, что печатались последние несколько лет в толстых литературных журналах. И все же есть то самое главное, что связывает рассказы автора не по принципу «надо было как-то собраться вместе, чтобы напечататься». Объединяющее начало это спряталось в названии — «Родина». Сборникам, как правило, присваивают наименование одного из опубликованных в них рассказов. В книге Елены Долгопят текста с таким названием нет. К чему бы это? Попробуем разобраться.

Все без исключения повести и рассказы, включенные автором в книгу, пропитаны какой-то исключительной домашностью. Долгопят в своих произведениях говорит с читателем о доме, в котором мы живем. Дом у каждого свой, у одних он в четырех квартирных стенах, у других — в любимом пальто, у третьих — в маленьком, с детства знакомом городке. Это и есть Родина. Даже не имея общего сюжета, рассказы Долгопят дают возможность читателю увидеть собирательный образ дома, в котором живет не только он, но и люди, едущие с ним в электричке или автобусе, бредущие рядом по улицам или смотрящие вместе с разных этажей на Останкинскую телебашню. Если читатель захочет, дальше он сможет из мелких, порою еле видимых глазом штрихов собрать уже свой образ страны. Каждое из ее произведений — страница жизни нашей Родины в разные времена.

Аннотация к книге сразу ставит (и тем самым, на мой взгляд, несколько портит впечатление) акценты в творчестве автора: «герои Елены Долгопят словно вышли из гоголевской "Шинели" и рассказов молодого Пелевина». Где Пелевин, а где Гоголь? — скажет кто-то и будет прав. Между ними два столетия, населенных тысячами известных и не очень писателей. Но одновременно аннотация эта сразу концентрирует внимание на другом аспекте творчества автора, и это намного важнее: Долгопят пишет в двух абсолютно непересекающихся плоскостях, словно скрутив экран своего ноутбука в ленту Мёбиуса. Рассказы Долгопят четко можно разделить на две части — водораздел проходит по грани «реальное/нереальное». Порою кажется, что один и тот же человек не способен выдавать столь различные по жанру произведения. Если, к примеру, «Потерпевший», «Кровь», «Машина», «Совет» — своего рода «фэнтези», повествование которых, начинаясь в реальности, потихоньку из этой самой реальности уходит (хоть и не далеко) в мир, где творятся чудеса, порой страшные,

---

Елена Долгопят. Родина. — М.: РИПОЛ классик, 2016

то практически все другие рассказы сборника вышли из самой что ни на есть настоящей, совсем обыденной жизни.

Открывает книгу звенящий одиночеством и болью главного героя от кражи пальто рассказ «Потерпевший». Именно этот рассказ и позволяет критикам провести параллель с гоголевской «Шинелью». Долгопят перенесла сюжет «Шинели» в советские послевоенные времена, по большому счету не сильно изменив повествование. Конечно же, героя зовут не Акакий Акакиевич (впрочем, тоже «А.А.» — А.Андреев) и служит он не чиновником в департаменте, а ретушером в фотоателье. В остальном все знакомо из школьного курса: старая, не поддающаяся ремонту шинель, пошитое на последние, сэкономленные на самом необходимом деньги пальто, ночное ограбление, не слишком рьяно исполняющий свою работу следователь и смерть товарища Андреева, не выдержавшего столь значимой потери. Речь не о том, можно ли заимствовать сюжеты у классиков или во времена сиквелов и триквелов это является нормой, важно другое — с первой страницы сборника Долгопят расставляет акценты: как был человек одинок и никому не нужен в гоголевские времена, так и по истечении двух сотен лет ничего не изменилось.

Тема одиночества проходит через весь сборник. Одинок сотрудник НИИ криминалистики, герой повести «Кровь» Николай Иванович. Институт распущен — тяжелые перестроечные времена, когда наука почти никому не была нужна, по кабинетам гуляет ветер и мальчишки-хулиганы. А он, привыкший вставать рано и спешить к назначенному часу на работу, продолжает на нее ездить даже в выходные дни. Это наша Родина. Я помню этих людей в начале девяностых. Многим из них не платили заработную плату по несколько месяцев, а они продолжали ходить и ходить. Просто работали по многолетней привычке. А бастовали в свободное от работы время.

Одиноки Галина Петровна и Анна Васильевна, героини «Старого дома». У одной ушел из дома сын — три месяца ни звонка, ни телеграммы, мать не нужна, вырос. У другой по вине первой ушел из жизни муж — «участковый терапевт, не распознала болезнь». Первая чувствует свою вину, вторая ненавидит первую. Да и не ненависть это даже, просто нелюбовь, какая-то злость, неприязнь. Анна Васильевна встречает сына Галины Петровны и сообщает ей об этом. Вот только где видела, не говорит, пусть помучается соседка. И это тоже наша Родина. Жить бок о бок с соседом и желать ему горя. Сколькими бедами и поколениями вытравливалась в человеке доброта...

Одинока героиня «Иллюзиона», пожалуй, центрального произведения «Родины». И пусть не обманывает читателя калейдоскоп мужчин, враща-ющихся вокруг нее, — всю повесть она одна, сидит с книжкой на окне девятого этажа общежития.

Гимном одиночеству представляется рассказ «Отпуск», безымянная героиня которого хочет почувствовать «себя недоступной никому, свободной». Мечтает, чтобы «никто не мог втянуть ее в свою орбиту и закружить». Героиня устала от Родины. Иногда надо отдыхать от окружающей тебя жизни. Она отключает телефон, телевизор, не выходит на улицу, даже за продуктами. Отпуск в добровольном заточении, в искомом одиночестве. Чтобы попытаться сбросить с себя хоть на время ту жизнь, которая давит. Сбросить удается лишние килограммы. «Как ты похудела», — с завистью сказала приятельница после отпуска. Такие вот у одиночества плюсы.

«И ты такой маленький здесь. Черная, лишняя точка», — это о нас, о никому не нужных людях, рассыпанных мелкой крупой на карте страны.

Говоря о творчестве Долгопят стоит отметить, что образование и нынешняя ее работа в Музее кино наложили на произведения автора определенный

отпечаток. От работы в Музее выработался свой стиль — вроде бы простой, но своего рода киношный. Его смело можно назвать документальным. «Высокий. Щеки гладкие. Куртка хорошая. Сразу видно, что дорогая. И обувь. В такой обуви по паркету ходить. Грязью залепил. И джинсы», — подобного рода короткие, словно двадцать четыре кадра в секунду, фразы заселяют книгу Елены Долгопят. Порою автор в своих рассказах просто фиксирует происходящее, словно наблюдатель или оператор с камерой, предоставляя читателю самостоятельно делать выводы. А иногда и выводов-то никаких не требуется.

«Слышалась железная дорога» — это у Долгопят уже от учебы в Институте инженеров транспорта: стук колес и дорога — почти в каждом ее рассказе. Что может больше рассказать о Родине, чем дорога? Одним из первых это заметил Джек Лондон в одноименном сборнике. Герои Долгопят тоже постоянно в движении. Электрички, поезда, метро, автобус, пешком через весь город, идти час, ночью... ничего страшного. Героиня «Иллюзиона», Москва — Муром, Муром — Москва. До работы из общежития почти два часа. Электричка, автобус. «Иду пешком. — Далеко. За час добираюсь. Нормально», — это уже директор из рассказа «Следы». «Главное завтра не проспать. Минута — тыща рублей, ты в курсе?» — напоминают героине «Работы» про новый день. Она в курсе. Ездит по России Николай Игоревич из рассказа «Города». «Сорок восемь лет. Подполковник. Живет в большом городе в Восточном Казахстане. Только что вышел в запас». Надо выбрать место, в котором они с женой пустят корни: «Любой город Советского Союза, кроме Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик. Государство обязано выделить офицеру и его семье квартиру». Николай Игоревич в дороге почти три месяца. Тяжело это — выбрать место, в котором бы тебе было приятно состариться. «Хотелось, чтобы город был на реке. И чтобы река была чистой, прозрачной. Чтобы в городе был парк. И драматический театр. И памятники архитектуры. И колхозный рынок. И доброжелательные жители. И хорошая поликлиника...» Такой нашу Родину хотел бы видеть каждый из нас. Увы, велика Россия, а идти некуда. У Николая Игоревича это не получается.

Невозможно обойти вниманием несколько рассказов Елены Долгопят, написанных в стиле легкого «фэнтези», что ли (не берусь дать точное определение жанру), позволяющих критикам и читателям говорить о своеобразной перекличке этих историй с произведениями Пелевина. Я бы, пожалуй, добавил сюда еще и фамилию Дмитрия Липскерова, который своими романами первым стер в моем восприятии границу реальности. Елена Долгопят не боится ступить на эту, казалось бы, навсегда вытоптанную поляну (призрак ретушера из «Потерпевшего», возрожденный в нашем времени Володя Ульянов из «Крови», телевизор, показывающий самые тайные кадры личной жизни жителей поселка в «Совете»). Только на первый взгляд эти сюжеты стоят особняком в сборнике. На самом же деле все они там неслучайны и легко вписываются в авторский замысел. Русскому человеку свойственно фантазировать. Недаром он сочинил столько добрых сказок. Правда, сказки у Долгопят не очень добрые. Они такие, как жизнь. Исключением является, пожалуй, только рассказ «Машина». Его можно назвать своеобразным символом сборника, ибо он вобрал в себя главные отличительные черты нашей Родины — дорогу, одиночество и доброту. Люди должны улыбаться друг другу, а ночные автомобили подвозить замерзших путников.

Родина — это дом, в котором мы живем. Долгопят каждым своим рассказом словно открывает новую страничку, потаенную дверь. Кто-то (помоложе) узнает что-то новое, кто-то (постарше) вспомнит ушедшие навсегда дни. Из трехсот пятидесяти страниц книги складывается портрет нашей страны. В «Иллюзионе»

у одного из героев на стене висит пешеходная карта Москвы с пометками — что он прошел пешком, что еще нет. «Родина» — своеобразная карта страны, только не карта городов, деревень, поселков (в книге не так-то и много конкретных названий: Москва, Ленинград, Горький, Муром — пожалуй, и все), а карта ощущений, эмоций и чувств. Читая Долгопят, познаешь Родину не территориально, а именно на уровне ощущений. Безлюдный парк, заброшенный, не работающий научный институт, общага, расположенная на краю Москвы, набитая народом электричка, деревенский дом, остановка на трассе... Долгопят снимает кино о нашей стране. Девятнадцать историй, девятнадцать короткометражных фильмов, каждый — словно существующее отдельно черно-белое (так почему-то видится) полотно. Но вместе они сливаются в жизнь.

У каждого из нас есть Родина. А у Елены Долгопят их как минимум две. Одна — в которой она живет, а вторая — та, которую написала. А уж нравится или нет то, что автор хотел донести до читателя, решать ему самому.

Рассказы Долгопят не имеют счастливого конца. Ни один. Ретушер не воскресает. Николай Иванович не начинает новую карьеру ученого, осыпается кинотеатр, убийца женщины остается на свободе. Кончает жизнь самоубийством Егоров в «Совете», умирает начальник отдела в «Прощании» — героиня и не знала, что он ее любит, радовалась его смерти, а он прятал свои чувства за грубостью. Удивительно, но, пожалуй, самый счастливый конец в очень неожиданном и злом рассказе «Работа». На предприятии подводят итоги года. Кроме передовиков и лидеров производства выбран самый «худший сотрудник». Женщина. Анна Викторовна Аникина. «Пожилая дама... бледное, невыразительное лицо». Ей должны подарить крысу в клетке. Крыса крутит колесо и ест сухари. Больше от нее никакой пользы. Намек? Видимо, от женщины тоже? Подарок в итоге будет иным — вмешаются случай и молоденькая девушка, взятая на испытательный срок, — словно надежда, что и на Родине есть еще люди, для которых важно человеческое счастье. А еще Анна Васильевна и Галина Петровна, похоже, скоро станут друзьями. Горе сближает. Да и пальто нашлось. Жизнь меняется в лучшую сторону. Быстрее бы.

«Родина! /.../Пусть кричат: уродина. А она нам нравится, хоть и не красавица», — пел Юрий Шевчук про нашу страну много лет назад. Наверное, эти слова и по сей день актуальны. В рассказах Елены Долгопят Родина точно не красавица. Вряд ли ее можно таковой сделать в короткий срок. Хочется верить, что когда-нибудь, пусть медленно, пусть вопреки обстоятельствам, она изменится, превратится в дом, где живет сто с лишним миллионов добрых и улыбающихся людей, где все любят друг друга и никто никогда никому не подарит крысу как самому плохому человеку.

А пока — пока она такая, какая есть. За нее иногда стыдно. А иногда больно смотреть. И как же быть? «— Как быть? — Мужчина оглядел стоящих рядом с ним медленным взглядом. — Я вам скажу. Очень просто. Не смотрите. Оглядел толпу и повторил: — Не смотрите». Хэппи-энда не будет. Это наша Родина. Пожалуй, герои Долгопят знают ответ...

Данила Давыдов

Письмо во время катастрофы

Военная проза вернулась вместе с войной, но и война-то никуда никогда не девалась. Однако власть относительно давнего прошлого долгое время скорее вытесняла прошлое совсем недавнее и даже собственно настоящее, оттого так велик шок, связанный с говорением о войне, присутствующей непосредственно вот совсем сейчас и совсем рядом: стоит вспомнить тот культурный шок, который производила «афганская» и «чеченская» проза (от Олега Ермакова до Аркадия Бабченко). Кажется, состояние тотальной войны, пронизывающей бытие, чаще отображается в разного рода дистопиях и антиутопиях, апокалиптической фантастике, мрачных и не привязанных к определенным пространству и времени притчах. Тем сильнее эффект опыта конкретной предельной ситуации, который, тем не менее, предстает отнюдь не просто и не в первую очередь так называемым «человеческим документом», но несет многоуровневые смыслы.

Тамерлан Тадтаев реально воевал на грузино-осетинских войнах 1991—1992 годов и позже находился в бесконечном ужасе закавказских войн. Выходило четыре книги прозы Тадтаева («Сын», «Отступник», «Судный день», «Полиэтиленовый город») и книга стихов («Лиахва»). Книга «Иди сюда, парень!» — своеобразный том избранных рассказов, которые выстраиваются в целостный (мета)сюжет.

Проза Тамерлана Тадтаева отличается чрезвычайно редким качеством: убедительным сочетанием несочетаемого. Ситуация войны здесь преподносится не только и не столько как исток травмы, тотальной фрустрации — но и не в духе победительных реляций, пропагандистского спама. Перед нами очень редкий образец письма о ситуации окружающего насилия как некой данности — но данности не имморалистской, данности зла, принятого как должное, а данности обыденности, чреватой и лирическим поворотом, и внезапным трагическим, до невозможности, разворотом, и вполне смеховым эпизодом.

При этом не оставляет впечатление, что перед нами своего рода мир постбытия, некое существование (не случайно среди рассказов Тадтаева есть и те, где мертвые говорят, как живые, не вполне, что ли, осознавая свой переход в мир мертвых).

Герой (или герои?) Тадтаева просто существует здесь и сейчас; при этом он (они) не наивен и не глуп, он зорок и рефлективен, он не отупел и даже не вполне привык к происходящему, но все-таки привык. Он жесток и сентиментален, прямолинеен и задумчив, наивен и аналитичен, как и должно человеку, который не предстает всего лишь функцией текста, а наделен плотью и кровью, — насколько мы вообще можем это говорить о литературном превращении так называемой реальности. В этом один из важнейших парадоксов той прозы, которой пишет Тадтаев. Мир обыденности, где эта обыденность начинена насилием, воспринимаемым как должное, мир, что ясно всякому мало мальски вменяемому читателю, существующий совсем поблизости от него, способен вместить все, кроме внешней по отношению к нему интерпретации. Его самодостаточность — не инопланетная, не адская, но привычная, что ли, возможна

Тамерлан Тадтаев. Иди сюда, парень! Рассказы / Предисл. О.Дарка. — М.: Новое литературное обозрение, 2017.

в передаче только совершенно лаконичной. Перед нами отказ от эпоса — и тут хочется отчасти (лишь отчасти!) не согласиться с автором блестящего и очень убедительного предисловия к новой книге Тадтаева Олегом Дарком. Дарк пишет об этом «романе в рассказах» как о «новом эпосе о войне», который «постоянно колеблется (или включает их в себя) между быличкой, почти сказкой, то лиричной, то сатирической; героической песнью, записанной прозой, и плачем по погибшим». Все так, но эпос бывает очень разным, и единственный его признак для всех эпох, языков и культур — внеличностность.

Казалось бы, именно эта внеличностность (хотя практически все тексты книги пронизаны неким повествующим «я», но это, естественно, функция повествования) цементирует отдельные рассказы книги в единое целое. Более того, такого рода внеличностность требует и особого рода остраненного лаконизма, в котором нельзя уже найти вовсе никакого глубинного субъекта говорения.

Герой-повествователь есть, более того, он подчеркнут, но нет имплицитного, затекстового «я». Так, Одиссей есть, а Гомера нету. Отсюда и торжество минус-приема, минимализации сюжета до голой фабулы: «Ките был чемпионом мира по боксу среди юниоров. Может, я ошибаюсь, у него был другой титул, но ударом он обладал мощнейшим, нокаутирующим. Говорят, он был перспективным спортсменом, ему прочили великое будущее, но началась война, и Ките поменял боксерские перчатки на оружие. Особых подвигов во время войны Ките не совершил, зато по городу ползли упорные слухи о том, что чемпион насилует невинных девушек, и его решили убрать. И вот убийцы, натянув на головы маски, а может колготки, пошли убивать чемпиона. Но то ли ночь выдалась темная, то ли прорези для глаз на колготках оказались узкие, но палачи перепутали дома и постучались в ворота соседа — актера местного театра и очень хорошего человека. Тот, ничего не подозревая, вышел из дома посмотреть на ночных гостей и был изрешечен пулями из нескольких автоматов. Ките после этого случая ездил по городу на своей белой “семерке” не меньше ста километров в час, причем рулил он одной рукой, другой придерживал автомат. Однако это не спасло чемпиона, и где-то через неделю после убийства артиста Ките все-таки был застрелен чистильщиками...» (это рассказ «Чемпион», он процитирован целиком).

Но за этим «будто бы эпосом» ощущается иной слой. Известен тезис о невозможности поэзии после Аушвица. Он восходит к мысли Теодора Адорно, но не просто спрямляет ее, а и прямо искажает (отсюда законные возражения: возможна ли поэзия после атаки на Ипре? инквизиции? распятия? Троянской войны?) Адорно говорит о праве каждого перенесшего невыносимые страдания, но выжившего, на выражение этого страдания; философ вопрошает о гораздо более сильной вещи: вправе ли выживший жить, если другие погибли?

Ответ на этот вопрос невозможен, но размышления необходимы. Как после пережитого невозможно писать и говорить так, как прежде, так и невозможно жить как прежде. Но это чувство, принадлежащее лирическому миру — в высшем смысле, — а не эпическому.

Представляется, что все вышесказанное имеет самое непосредственное отношение к текстам Тамерлана Тадтаева. Ощущение некоего постмира, в котором ценности присутствуют, но как бы впаяны в ситуацию контр- или антиценностей, конечно же, стилистически может напомнить определенный тип эпического письма (так, небезынтересным образом особенно вспоминаются исландские саги с их взглядом на мир «голыми глазами», с их совершеннейшим превосходством повествования над оценкой, явленностью героев и совершенным отсутствием повествователя). Но быть может такого рода формальная эпичность есть своего рода единственно возможное превращение лирического в том бытии, где катастрофа не только случилась, но и по-своему воспроизводится вновь и вновь.

Галина Зайнуллина

Голова садовая — в яблочке

Название новой книги замечательного казанского поэта Алексея Остудина — «Вишневый сайт». Сколько в нем всего упаковано: и радость открытия благоуханного многоцветного мира, и искрометное сопряжение смыслов — консервативно-старомодных с сиюминутно-актуальными. Смысловая плотность, утрамбованная в существительное & прилагательное, не удивительна, ведь, по определению Остудина, *поэзия — проза в джипеге.*

Правда, при чем тут *к обеду жди Пегги меня*? Какое приращение смысла чеканной формулировке дает рифма *джипеге — Пегги*? Уж не из тех ли Остудин авторов, кто словечка в простоте не скажет? Или ему тошно быть понятым социумом, и он, как истовый авангардист, создает нарочито непонятные тексты, ввергая читателя в *великую печаль скрести в затылке, где и так полно уже царапин?*

Вовсе нет, Остудин владеет приемами нарративной поэзии. Взять «Пастораль» — о том, как молодой *лейтёха — весь в ремнях, что твой Лаокоон!* — на побывке ухаживает за девушкой. Все в этой поэтической миниатюре точно, зримо — выписано «со стеклянной ясностью»: раздражение половозрелой Иры робостью кавалера, камеры слежения прошлого века — *взгляды едкие старух,* наконец, нелепо-благородный способ произвести впечатление на подругу:

Он присел под ивой на газету,
веки опустив, её позвал: и легко, почти
одномоментно,
разобрал наган свой и собрал.

В этом же ряду «Слепой», при чтении которого чувствительно пощипывает в носу, «Склероз» — ласкающий зарисовками старой Казани, а от «Урока нежности» вообще в горле.com.

Тем не менее поэт предпочитает «гнутую речь», перенасыщенную метафорами и комбинаторикой, более того — спуская язык с поводка, позволяет словам случайно уподобляться чуть ли не по эстрадному приколу. Взять финальную строку стихотворения «Бла-благодать»: *За это поменять мне разрешит конвой / бутылку божоле на ящик «Боже мой»* — таков итог живописания райски изобильного сада, *где из помойных ям растут иконостасы, на золоте едят и пьют на лебеде...* Чем не повод погрузиться в бесконечное бла-бла по поводу блаженной райской полноты Бытия — вот ты какой, парадиз, в узорчатом переплетении противоположностей! Так приливная волна медитативного раздумья подхватывает читателя со смысловой отмели — французское «божоле» и русское «боже мой» становятся окказионально однокоренными.

Так что не стоит бездумно усмехаться над остудинскими перлами*: джаз на грани фолка, с паршивой овцы файф-о-клок, к диете непричастный оборот, что там у нас на Тибет?, качает права-мурава, не выпускай из рукколы салат, любви все возрасты попкорны, свой в доску для разделки* — немного усилия, настройки на волну-резонанс автора, и будет тебе *борщастье*, дымящееся в тарелке (или — *счастлифчик).* Правда, настроиться на Алексея сложно — все равно что рычажком лампового приемника пеленговать радиохулигана.

И вообще, пусть тот первым бросит

Алексей Остудин. Вишнёвый сайт. — М.: Изд-во «Русский Гулливер», 2017.

в Остудина камень, у кого в *закромах духовной пищи* уцелело что-то, кроме толкового словаря («Метафизика»). Согласимся, нынче спектакулярность превысила всякую меру: политика, экономика, религия, право, искусство — за что ни возьмись — все фикции. Единственная несомненная реальность в этой кунсткамере фальшивок — для поэта даже не он сам, а язык — *настоящий русский, разноцветный* (на охоту за ним поэт призывает отправиться А.Кабанова в стихотворении «В разведке»).

По сути, Остудин — первопроходец постконцептуалистского поэтического высказывания, время которого наступило после доказательства в 80—90-х необоснованности властных претензий любого текста. Он чурается центонов, аллюзий — всякой культурной рутины, ловит *себя за миг до роковой ошибки* — клишированной интонации — *за рваный воротник (*«Када не павизёт»).

Творческое кредо поэта — *тактика «Тик-так»*; поскольку *шагать вперед — не хватит равновесья,* для него предпочтительнее уподобиться маятнику (в одноименном стихотворении):

Набивший шишки, сам себе пятак,
я — диск на деревянной пуповине,
каким-то чудом не застрявший в глине...

Вот почему высокий градус лирического воодушевления Остудин, как правило, подмораживает иронией или буддийской отрешенностью. Возьмем, к примеру, «Память» с ее нагнетанием благолепия: в воздухе зреет *неги нуга*, пустые стога — *половинки песочных часов* — тянут время; поэту мнится, что эти ощущения навеки отпечатались в его сердце: *Верил, что зарубил на носу*. Однако... *вышло — след от оправы очков.*

Метавысказывание поэтического сборника «Вишнёвый сайт» — семи циклов из 343 стихотворений — венчает неевклидова эквидистанта — то бишь равноудаленность от «радостей и бедствий человеческих»: в «Мисс доброй надежды» — от вечно увлекающей женственности (тут главное — *Скользя в пустоту на последнем ребре,* не сморозить *слов нежности),* в «Я иду гулять!» — от удали *юности понтовой.* В «Рецепте невесомости» альтер эго автора — *мужик, которому давно всё похер,* отдыхающий под ватником на потрескивающей охрой скамейке. В «Кризисе жанра» *морозм* крепчает — много стихотворений о лютой стуже: «Хулутно, плят!», одним словом. «Время пеликанов» — попытка *замереть на пике склона лет* в ожидании *искры в зазоре моторной свечи*или... дороги к храму.

А зачем Остудину дорога и храм, если они не приводят его в место рождения Будды? Цикл «Дорога на Лумбини» ошеломляет радугой кругосветных впечатлений: Непал—Вьетнам—Китай—Париж — Лондон—Венеция—Кёльн—Куба—Рио-де-Жанейро—Грузия—Крым—*оторвись, на Руси — не убудет*!

Действительно не убудет, потому что Алексей завершает цикл воспеванием Турксиба, бухты Золотой Рог, Байкала, Курил, «северов» — Нарьян-Мара, Салехарда, Богандинки, а также Санкт-Петербурга, Липок и Тарусы, российской провинции как таковой, которая:

с изжогой от могучего простора,
с пунктиром вместо линии судьбы —
по-прежнему стихи растит из сора,
и Сороса выносит из избы.

Такой вот «тик-так»: гражданин мира Алексей Остудин нежно любит свою неказистую Родину. Знаково, что в коротком перечне его учителей стихотворного мастерства есть Павел Васильев — родоначальник «героического периода» в русской советской литературе. Но только попробуйте записать Остудина в «державники», в седьмом финальном цикле «Када не повизёт» он вас жестко одернет:

Кому показалось, что вашим и нашим служу?
Какую ищейку сбивает со следа свеченье планктона, в котором я прутиком жизни вожу...

Таким образом, его эквидистанта (этим математическим термином названо одно из стихотворений) никакая не буддийская отрешенность, а страх впадения в постыдную биомеханичность пафоса:

> Горло, хоть маслом касторовым смажь,
> если и пискнет чего за отчизну —
> яблочко сдавит какая-то фальшь.

Поэзия Остудина — при кажущейся затейливости — вовсе не дамское рукоделие, а самурайское ежесекундное сопротивление рутине, шаблону и фальши. От ментального хлама он освобождается в каждом стихотворении, *как самурай — от собственных кишок*. Боевыми трофеями этой затяжной войны — шедевральными строками, которые прочно врезаются в память, — он щедро делится с вдумчивым читателем.

Муэдзин с минарета кричит, словно пробует бриться на ощупь («Намаз на хлеб»), — это не *след от оправы очков*, это навсегда!

Александр Неверов

Дом окнами на кладбище

Главная героиня романа Полина и ее муж Андрей — литераторы, пишущие не только «для души», но и ради заработка: она сочиняет любовные истории «непременно со счастливым концом» для журнала «Женские советы», а супруг-поэт — «криминальное чтиво». У них растет пятилетняя дочь Катя. Им хочется второго ребенка... Но истинное призвание Полины — помощь детям-сиротам. Неслучайно судьба привела ее к волонтерам, которые регулярно ездят в интернаты и детские дома, привозят ребятам подарки, устраивают конкурсы, мастер-классы и т.п. Основная сюжетная линия связана с решением Полины удочерить десятилетнюю Киру, оставшуюся без родителей.

Для этого «целый ворох бумаг надо собрать, кучу инстанций обойти». Кроме того, Андрей и Катя от идеи удочерения не в восторге. А потом возникнут и более серьезные проблемы: муж уйдет из дома, Полина останется без работы... Тяжелый конфликтный характер Киры в новообретенной семье проявится в полной мере: она будет постоянно дерзить, обижать Катю, подворовывать... Полину начнут одолевать сомнения: не совершила ли она ошибку и даже — не вернуть ли Киру в детдом?

Каждый такой дом — место, куда «страшно войти внутрь: там сразу со всех сторон хлынет горе, горячее чужое горе»

Анастасия Ермакова. Пластилин: Роман. — М.: Дикси Пресс, 2015.

брошенных детей. А волонтерам, пытающимся им помочь, надо немало сил, великодушия и такта, чтобы вызвать доверие, найти верную линию общения с подопечными, чья психика серьезно травмирована: «Они предательство заранее чувствуют и заранее переживают. Степень недоверия к миру у этих детей гораздо больше, чем у благополучных. Они уже с детства изгои...» У сирот «пространство недоверия к взрослым с годами уплотнилось и заледенело; чтобы растопить его, требовалось много терпения и тепла...»

Об этом немало говорится в романе, приводится и статистика: «из десяти... только один-два успешно адаптируются в дальнейшей жизни. Не потому что они такие неприспособленные, как раз наоборот, а просто они не чувствуют достаточного стремления жить». Или: каждый третий из них — в будущем «бомж, каждый пятый — преступник»... Да и в самих детдомах оградить сирот от криминала удается не всегда. Характерна история двух сестер, которых едва спасли из паутины сутенера. А другую девочку с синдромом Дауна по прозвищу Кефирка не уберегли от посягательств насильника-санитара... Шоковое впечатление производит и рассказ волонтера Паши, бывшего детдомовца, о нравах, еще недавно царивших в этих заведениях: регулярные избиения, групповые изнасилования слабых, самоубийства. «Дедовщина была похлеще армейской... Только в армии она всего два года, а там — до совершеннолетия».

В книге немало таких «эмоциональных ударов»: это и развернутые сюжеты, вроде упомянутых выше, и колоритные характеры, и выразительные детали. Скажем, такая: из окон одного из детдомов открывается вид на кладбище... Здесь мрачная подробность пейзажа в свете приведенной автором статистики обретает значение совсем уж зловещего символа... Или: издательство «Всюду жизнь» (!), с которым сотрудничает Полина, находится в здании детской онкологической клиники... Вообще «Пластилин» — тяжелое чтение: концентрация боли, несчастий, смертей в романе зашкаливает.

Вспоминается мысль из чеховского «Крыжовника»: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, — и все обстоит благополучно...»

Между прочим, о волонтерах в романе говорится: это — «особая порода счастливых людей, которым в какой-то момент стало стыдно своего счастья». Феномен воистину впечатляющий: обычные семейные, работающие, небогатые люди, которые готовы добровольно, бескорыстно взять на себя горе и боль сирот, тратя немало сил и времени.

Что касается Чехова, то Полина (а ее устами автор) неслучайно признается в особом отношении к его творчеству. А также вспоминает мысль Достоевского (вернее его персонажа — старца Зосимы) о виновности каждого перед всеми во всем.

Предчувствие грядущих бед и лишений, готовность к ним свойственны поколению, к которому принадлежит Анастасия Ермакова. Они взрослели во время развала некогда великой державы, резкой смены общественного строя, отказа от традиционных устоев и ценностей, поэтому действительность воспринимают без иллюзий, остро ощущают трагизм и абсурд бытия, враждебность окружающего мира, бессилие и несовершенство человека — мотивы, часто и в разных вариациях звучащие в романе «Пластилин». Их же мы в обилии найдем в прозе Ирины Мамаевой, Дмитрия Новикова, Захара Прилепина, Надежды Горловой, Романа Сенчина... Это общее в их мировосприятии, но есть, конечно, у каждого

индивидуальные отличия, обусловленные психологическим складом, жизненным опытом и т.д. Главное, что определяет особое место Анастасии Ермаковой среди ровесников, — повышенный градус совестливости, непреходящее чувство вины перед окружающими, которым она в полной мере наделила и свою героиню.

«Стоило мне, к примеру, не уступить место в метро какой-нибудь бабусе — и совесть мучила потом целый день, гналась по пятам, как злобный пес... — признается Полина, — совесть не давала никаких поблажек, она была больше и сильнее, а главное — беспощаднее меня... Я постоянно чувствовала себя в чем-нибудь перед кем-нибудь виноватой... Я была виновата перед Кирой, перед Ильей, перед Ликой и Кефиркой, перед всеми этими брошенными другими матерями детьми».

Несчастные дети — тема беспроигрышная: она не может оставить читателя равнодушным... Но — при условии абсолютной искренности автора, без намека на спекуляцию или самолюбование. Что мы и видим в романе «Пластилин»: «Вина эта не была патетичной и зрелищной, она была тихой и простой, как трава под ногами». Таковы и воспоминания Полины о «детдомовском детстве», «хотя никогда оно таковым не было»... Оказывается, «можно помнить то, чего никогда не случалось».

Ощущение абсурдности существования, присущее некоторым героям книги, порождает скептическое отношение к рациональным способам осмысления происходящего и решения жизненных проблем. Ведь в чем суть конфликта Киры с Полиной? Девочка чувствует недостаток любви приемной матери, ревнует ее к родной дочери — такие вот иррациональные, неподвластные разуму чувства... Есть здесь и мистический элемент: однажды «Киру стали посещать видения», проявились сверхъестественные способности: дар предвидения, умение снимать головную боль. Эта линия будет ненавязчиво развита автором, что придаст дополнительные оттенки конфликту.

Анастасия Ермакова не упрощает свою задачу: нарисуй она Киру более покладистой (а если принять сравнение сознания ребенка с пластилином — мягкой и податливой), то на пути к счастливому финалу не было бы серьезных препятствий. Но нам будто хотят напомнить гоголевский призыв: «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит»...

В то же время автор понимает: если «эмоциональные удары» будут следовать подряд один за другим, реакция читателя на них может притупиться. Поэтому используются различные приемы — иногда не совсем обычные. Так депрессивное — вплоть до суицидального — настроение, периодически охватывающее Андрея, его жена использует как повод для не самых безобидных шуток... А рассказ о смерти бабушки Киры, написанный жестко, с натуралистическими подробностями, начинается с детской страшилки о грозящих гибелью желтых шторах, что придает истории едва ли не пародийное звучание... Кстати, в романе звучит такая мысль: «Жизнь всегда резче выступает на фоне смерти». И, судя по всему, наоборот...

Вообще Анастасия Ермакова нередко работает, что называется, «на грани». Касается это и языка. Словотворчеством постоянно занимаются и Полина, и Андрей (как мы помним, литераторы), и даже их дочка. В этом смысле характерно щемящее описание реакции детей-даунов на появление — стараниями волонтеров — рядом с интернатом будки с собакой по кличке Дурында: «На прогулке окружали будку, большеголовые и улыбчивые, нагибались, отталкивая друг друга, заглядывали внутрь и звали: "ЫУ! ЫУ!" Дурында нехотя вылезала, к ней тут же тянулись гладящие и галдящие руки. Они ласкали собаку... Те дети, кому не хватало места возле Дурынды, гладили будку, будто теплого доброго друга. Собака терпеливо сносила эту густую и липкую, смолянистую любовь... Виляла хвостом, время от времени лизала протянутые к ней руки, пахнущие детским снегом, и улыбалась». Автор пишет «не по правилам», рискуя навлечь на себя упреки их блюстителей. Но, по-моему, в подавляющем большинстве случаев такой риск

оправдан: текст становится эмоционально богаче, возникают новые смысловые оттенки.

Анастасия Ермакова мастерски выстраивает повествование. Некоторые сюжетные линии, поначалу казавшиеся случайными, необязательными, вдруг обретают неожиданное звучание, оказываются проводниками дополнительного смысла, работающего на главную идею романа. Так, при беглом, не очень внимательном чтении от нас может ускользнуть, например, то, что Илья и Кефирка — дети Аллы, с которой связана тема суррогатного материнства ...

В романе представлены разные стороны сегодняшней действительности, разные слои общества — от литераторов до бомжей (порой родителей детдомовцев) и гастарбайтеров. А судьбы последних в свою очередь отражают процессы, происходящие на постсоветском пространстве — в частности, на Украине и в Молдавии... Поиски новой работы уволенной из журнала Полины — повод показать такие «достопримечательности» столицы, как магазин «ИКЕА» или пиццерия. А заодно дать читателю представление о некоторых нюансах современных отношений «труда и капитала»... Таким образом, небольшой по объему роман в каком-то смысле представляет собой современную «энциклопедию русской жизни». Я даже не уверен, что такая задача сознательно ставилась — очень уж органично и непринужденно это получилось, будто само собой...

Автор «отрывается по полной» в постоянных спорах Полины со своей матерью, которая настолько «увлеклась фэн-шуем, патологически уверовав в него, как в действенную философию благополучия и полной гармонии», что каждый их диспут воспринимается как номер юмористического шоу. Сходный эффект имеет описание редакционных будней журнала «Женские советы»: его публикации, как и фэн-шуй, «дурачат одиноких несчастных баб».

Более сложную функцию выполняет фигура «полусумасшедшей старухи» Алевтины Федоровны. По ее устным воспоминаниям Полина, ищущая любую возможность подработать, взялась написать книгу. Однако каждый раз мемуаристка рассказывает о себе взаимоисключающие вещи: «То она была известной оперной певицей, то учительницей в сельской школе, то виртуозным ювелирным мастером, изготавливающим украшения для жен членов ЦК партии. Бездетная старая дева легко превращалась в измотанную несчастливыми браками кокетку, до сих пор ищущую своего единственного». В результате получился «роман о множестве ее судеб, прожитых полноценно и истово, и какая из них была реальной — не знает никто». В этих безумных фантазиях Полина улавливает сладостно-тревожный мотив влияния любви на судьбу человека. «Какая-то манкая жуть, — признается она, — держала меня час за часом возле этой старухи».

Однажды та нагадала Полине на кофейной гуще (!): муж вернется, они вырастят троих детей. «Двое своих, один приемный... А в целом жизнь будет трудная. Маеты вижу много, а счастья мало». Позже, узнав историю Киры, скажет: «Быть может, эта девочка... в конце концов будет оправданием вашей жизни».

Пророчества начнут сбываться, когда Кира заболеет. Ее недуг станет своеобразным катарсисом. Полина вдруг ощутит мощный прилив любви к ней и уверенность: это ее дочь...

...А мы стали свидетелями знаменательного события. Впервые за последние четверть века появился роман об остроактуальном и болезненном явлении — сиротстве в современной России. О его масштабах можно судить по тому, что сейчас брошенных детей больше, чем после Великой Отечественной войны. Кроме нескольких книг для подростков, выпущенных недавно, я не припомню заметных произведений такого рода. «Пластилин» — произведение яркое и глубокое — достойное начало восполнения зияющего пробела.

Марк Амусин

Гора и город сквозь призму мифа

Томас Манн когда-то говорил о своем «Иосифе и его братьях», что это роман не о евреях и не для евреев. О рецензируемой книге можно сказать: она не только об израильтянах, и уж тем более не только для израильтян, хотя действие ее разворачивается в израильском (мировом?) городе Хайфа и его окрестностях.

Книга Дениса Соболева состоит из 14 новелл, а ее пространственным (и смысловым) стержнем служит вертикаль горы Кармель, вокруг которой и разрослась древне-современная Хайфа — с ее Университетом и Технионом, портом и нефтехимическими заводами, заброшенными кварталами, парками, пещерами, полными воспоминаний и призраков...

Соболев, уроженец Ленинграда/Петербурга, любит свой второй родной город с его причудливым рельефом, эклектичной архитектурой, разноплеменными обитателями (евреи, арабы, «русские», последователи бахаизма). И он задался благородно-безумной целью: приобщить Хайфу к содружеству локусов, окутанных дымкой литературного мифа, — первым в этом ряду стоит, конечно, Петербург. Точнее, он хочет актуализировать мифотворческий потенциал Хайфы, явить его читателям. Замечу здесь, что если мифология Петербурга порождена в первую очередь умышленностью города, его стремительным возникновением на пустом месте, то «легенды горы Кармель» тщательно сшиты автором из лоскутов седой старины, соединенных вставками вполне современной «синтетики».

При этом, говоря о «граде», автор, несомненно, обращается к «миру». Иными словами, привязка к месту, его духу и «гению», для него важна, но общечеловеческая проблематика — на первом месте. Универсальные, вечные темы преломляется в этой книге через характерно хайфскую призму.

Соболев легко охватывает оком «глуби трех тысячелетий», непринужденно перемещает действие из времен Багдадского халифата и Средневековья в годы Первой мировой войны или в начало XXI века, а иногда сосредотачивает его в неких вневременных точках («О драконе горы Кармель...»). Эта новелла — одна из лучших в книге, к тому же очень показательная для авторского метода. Начавшись в протокольно-хроникальном ключе, повествуя о далекой предыстории Хайфы и еще более древнего поселения Шикмона, она нечувствительно («так гласит легенда») наполняется фантас-тическими, сюрреальными деталями и мотивами. И главный из них — расположенное в пещере хранилище («гениза») вышедших из употребления талмудических текстов. Образ стремительно расширяется, обретает символическое измерение: «хайфская гениза» — это свалка не только никому не нужных документов, но и писем, дневников, исповедей, надежд, мечтаний,

Денис Соболев. Легенды горы Кармель: Четырнадцать историй о любви и времени. — С.-Пб.: Геликон, 2016.

идеалов. Склад невостребованных мыслей и чувств.

А отсюда парабола повествования уходит в сферу щемящей, безмолвной любви между двумя разделенными, обреченными на не-встречу сердцами, наполняется томлением и тоской — чтобы завершиться философско-филологической максимой: «Любовь и жизнь возможны только в слове».

Сквозная тема, объединяющая (наряду с местом действия) цепочку историй в «роман» — это тема человеческого одиночества, великой трудности подлинного понимания, единения, любви. И — отчаянного стремления к преодолению одиночества. Не ново? Верно, однако в литературе давным-давно нет новых тем. Все — разработка. И Соболев решает поставленные задачи тонко, изобретательно и мастеровито.

Например, первая новелла книги «Про великого поэта Соломона ибн Габироля и фарфоровую куклу» являет собой поначалу лаконичнейший конспект современного «отчужденного» существования: с его механистичностью, меркантилизмом, замкнутостью индивидов на себе, с растворением всяких ценностей и смыслов в кислотной среде психоаналитических клише и псевдодуховной болтовни. Из тошнотворной этой реальности герой, Юваль, бежит в парадоксальное зазеркалье легенды, где не человек, а кукла, оживленная творческим усилием (подобное совершил когда-то поэт и маг Ибн Габироль), может стать существом близким, достойным любви...

А в рассказе «Про пустой дом на Халисе» русскоязычному инженеру-программисту Алексу, вполне современному израильтянину и гражданину мира, доводится приобщиться (пройдя сквозь дверцу магического шкафа) давно исчезнувшей реальности: с драконом, замками, рыцарями и прекрасными дамами. Контраст между интенсивностью, яркостью легендарной жизни и пустотностью окружающей Алекса повседневности оказывается таким горьким, что облегчить его боль может только встреченный им в развалинах Халисы философ — призрак героя другой новеллы, входящей в эту книгу.

Есть здесь сюжеты, вырастающие из почвы еврейской и израильской истории: турецкое владычество в Палестине, британское владычество в Палестине, зарождение и развитие сионизма, Катастрофа и создание Государства Израиль, волны репатриации евреев из России и Восточной Европы. В новелле «О пиратах хайфского залива» Соболев закручивает байку о евреях-корсарах, мстящих испанцам за изгнание, прячущих сундуки с сокровищами и соблюдающих субботу. Забавно звучит разговор двух таких персонажей XVII века, обсуждающих свои пиратские дела на современной блатной фене. А в рассказе «Про девочку и корабль» обсценная лексика звучит буднично и уныло. И это работает на достоверность в духе натуральной школы. Девочка Лена — «неблагополучный подросток» из русскоязычной израильской среды, чужая и в своей семье, и в своей компании, «потерянное дитя», выпавшее из общества и культуры. Встретившийся случайно на ее пути чудак-математик (он читает книжки!) становится для нее кем-то вроде капитана Грея или, по крайней мере, живым свидетельством того, что способ ее существования — не единственно возможный.

Прослеживая пунктирно бурные процессы, протекавшие в израильском обществе, Соболев склонен к весьма нелицеприятным оценкам и суждениям, оспаривая многие расхожие мифы, с печалью констатируя жесткое приземление сионистской утопии на почву «нормальных» устремлений к богатству, господству, довольству собой.

Стилистически книга изрядно разнолика. Здесь и «житийные истории», как «О духе замка Рушди» — о средневековом

еврее, ставшем монахом ради возможности расписывать церкви; и стилизация под «Сказки тысячи и одной ночи» («О любящем и любимом»), с ерническим и макабрическим финалом; и новелла «Про Биньямина из Туделы и нашествие бабуинов» — выдержанная в пародийной наукообразной тональности инвектива против человеческих пороков в духе Свифта или Анатоля Франса. О том, что автору не чужда и стихия юмора, свидетельствует заключительная история «Про ретривера и барсука», где тема поиска «родной души» звучит лирично и совсем не надрывно.

Не все в книге равноценно — порой автор отдает избыточную дань риторике и умозрительности. Но в лучших новеллах он достигает подлинной психологической пронзительности и виртуозно балансирует на тонкой грани, соединяющей реальность с воображенным или приснившимся. А еще — текст здесь проникнут неуловимыми излучениями духовной энергии, («струеньем невещественного света», говоря словами Гессе): как будто в темноте горят огоньки свечей, колеблемые ветрами безвременья, но не желающие гаснуть...

Людмила Синицына

«Привлечь к себе любовь пространства»

Главная тема живых, ярких, красочных фотографий Анзора — повседневная жизнь древнего города. Отсюда и псевдоним — Бухарский.

Когда рассматриваешь фотографии Анзора, всякий раз ловишь себя на мысли: ну до чего ему везет! Именно в тот момент, когда он наводит на что-то объектив, все соединяется волшебным образом. Свет падает так, чтобы осветить лица идущих мимо женщин в национальной одежде; собака выглядывает из-за глинобитной стены дома, а петух, распахнув крылья, вскакивает на крышку тандыра, где совсем недавно пекли лепешки и еще видны горящие угли.

Видимо, немалую роль в том, что его фотографии выстраиваются таким неожиданным образом, сыграло то, что Анзор (окончил художественное училище в Бухаре и учился в театральном институте Ташкента на факультете сценографии) долгие годы занимался графикой. Его перу принадлежат изысканные гравюры, которые с удовольствием покупали зарубежные туристы. Это приносило относительно стабильный заработок. Чего не скажешь о работе фотографа. И к тому же, занятие фотографией, я бы сказала, более рискованное.

Художник берет холст, картон или бумагу и волен изобразить все, что душа пожелает. Он ни от кого не зависит. А фотограф, отправляясь на улицу с камерой, не знает, сложится сегодня «картинка» (как говорит Анзор) или нет. Слишком много слагаемых должны совпасть: свет, цвет, ритм, движение.

К тому же фотографу нередко приходится объясняться с прохожими: сейчас многие, наслышавшись о «прайвеси», возмущаются при виде камеры, требуют удалить фото...

Что же заставило успешного художника покинуть удобную и комфортную обстановку мастерской и окунуться в полную противоречий гущу жизни?

Ответ мы находим в работах Анзора. Как признается он сам: «Меня не покидает ощущение, что все, что я делаю, — документирую время, традиции и обряды — очень важно. Когда-то это очень пригодится. Именно по моим фотографиям потом будут изучать историю моей страны, а не по глянцевым картинкам с фальшиво улыбающимися ряженными узбечками в хон-атласе на фоне HDR минаретов и куполов...».

Все это верно, кроме одного. Его фотоработы — больше чем просто документ. Потому что настоящий мастер — не просто запечатлевает объективную действительность. Каждая его фотография — небольшой рассказ. Рассказ о жизни древнего города, которую сторонний глаз не увидит. Потому что в Бухаре, как во всех старинных восточных городах, только рынки, площади да мечети — открыты стороннему глазу. А то, что происходит в доме, — все это скрыто от посторонних за высокими заборами. Если вам даже повезет и на секунду откроется невысокая

старинная деревянная резная дверца, что ведет во двор, вряд ли удастся многое разглядеть за этот короткий миг.

Чтобы человеку с фотоаппаратом позволили не только вот так «войти» во двор, но и свободно перемещаться по дому, он должен вызывать доверие. Это, как признается сам Анзор, удалось не сразу:

«Но в конечно итоге люди всегда безошибочно чувствуют, когда ваши намерения чисты, — объясняет он. — Иногда надо пошутить, иногда прикинуться дурачком, иногда "поймать волну"». Как в тот раз, когда он по обыкновению совершенно бесцельно шел по узким улочкам, «заглядывая в дома знакомых и малознакомых, фотографируя все, что кажется в тот момент интересным: я ведь не журналист, меня не ждут в редакции с материалом, меня не сковывают жанровые рамки, я могу снимать забор, двор, людей, животных... И я уже собирался уходить, как вдруг навстречу выбежала девочка лет тринадцати: "Идемте уже скорей, вас уже заждались!" — и за руку тянет меня к воротам какого-то дома. Возле ворот толпились люди, во дворе было не протолкнуться — начиналось большое семейное мероприятие. Оказалось, там ждали фотографа снимать обрезание пятилетнего мальчика. Меня по ошибке приняли за приглашенного. Я начал снимать. Фотограф, которого ждали эти люди, так и не пришел, а я в следующий визит принес им распечатанные фотографии. На снимке во рту мальчика лепешка — такова традиция, чтобы от боли не прикусить язык. За руки мальчика держат два дедушки — со стороны матери и отца. И это оказалась одна из самых примечательных фотографий. А люди, с которыми меня так неожиданно свел случай, стали моими друзьями».

Вот что ведет его! Неподдельный интерес к обычной жизни, к этим простым людям, которые заняты повседневными делами, свидетелями чего мы становимся, когда рассматриваем фотографии: женщины расстилают дастархан, снимают с плиты кипящий чайник, укладывают спать малыша, дети играют за марлевым пологом, старшие девочки красят усьмой брови...

И напрасно Анзор уверяют себя и нас, что это будет интересно в будущем. На самом деле это интересно сейчас. Не только как документ. А как художественное произведение. Ведь фотограф — вопреки распространенному мнению — не фиксирует объективную действительность. На самом деле он *организует пространство* неким, присущем только ему и никому другому образом. И в этом смысле фотография — магия. Каждый фотограф должен пройти ту же трудную школу испытаний, что и шаман, прежде чем у него откроется «третий глаз». И третий глаз у фотографа — это не объектив. Третий глаз — наше подсознание, которое видит и отмечает все. «Открыть» третий глаз — означает освободиться от установок, ярлыков, оценок и научиться видеть то, что происходит здесь и сейчас. Чтобы дать нам возможность разделить его способ видеть.

Вот почему одни фотографы — как Анзор — всегда оказываются в нужное время нужном месте, а другие — никогда. Просто гениальный фотограф устранил перегородки, отделяющие нас от реальности. Он открыт этому пространству, и оно открывается ему. А чтобы «привлечь к себе любовь пространства», надо просто любить то, что снимаешь.

Как сказала Густав Флобер: «Художник должен присутствовать в своем произведении, как Бог во Вселенной: быть вездесущим и невидимым».

Присутствие Анзора обозначено тем, что он делает мир радостным, гармоничным, светлым... В каждой его фотографии неизменно присутствует веселая легкая улыбка автора.

Впрочем, все описания не могут передать того, что есть в его работах. Их надо просто видеть.

Анзор Бухарский (Анзор Салиджанов) — фотограф из Бухары

Анзор Бухарский (Анзор Салиджанов) — фотограф из Бухары

Анзор Бухарский (Анзор Салиджанов) — фотограф из Бухары

Анзор Бухарский (Анзор Салиджанов) — фотограф из Бухары

Анзор Бухарский (Анзор Салиджанов) — фотограф из Бухары

Анзор Бухарский (Анзор Салиджанов) — фотограф из Бухары

Анзор Бухарский (Анзор Салиджанов) — фотограф из Бухары

Анзор Бухарский (Анзор Салиджанов) — фотограф из Бухары

Магомед — свидетель

Рубрику ведет Лев Аннинский

Он хотел поздороваться, а услышал: «Прощай!»

«Это были последние его слова. Последние звуки голоса... я навсегда сохранил в памяти по сегодняшний день...»

Чтобы понять, почему это прощанье так ранило душу, надо вспомнить, где и когда происходит действие.

Глухой ночью на 28 октября 1910 года у выезда из Ясной Поляны: живущий здесь обходчик случайно видит, что из дома выносят и укладывают в пролетку вещи; он подходит, думая помочь, и слышит от хозяина, уже сидящего в пролетке то, чего не должен слышать никто (а завтра будут обсуждать во всех краях России и Европы): владелец Ясной Поляны оставляет свое имение и покидает привычный образ бытия — *навсегда.*

Кто же этот Магомед, первым услышавший роковое слово?

Магомед Эфендиев, который до конца дней своих свято хранил память о годах пребывания в имении Толстого, издал в 1964 году свои записки в Дагестане под названием «Я знал Льва Толстого и его семью». Для нынешнего переиздания текст заново выверен по архивам, что исполнила теперь Евгения Брешко-Брешковская, авторитетный толстовед и вдумчивый редактор.

О последней, прощальной, фразе этой исповеди я сказал... Теперь скажу о первой фразе, которая меня поразила:

«Продолжение праздника обещало быть веселым и интересным. Но случилось несчастье: в уличной драке был убит наш зять Мисриханов. В село сразу же прибыли участковый, наиб и начальник окружной полиции с отрядом полицейских. Убийц арестовали, а с ними и меня как организатора стрельбы и нарушителя государственного спокойствия. Нас отправили под конвоем в участковую тюрьму».

И об этом — таким же тоном, как о празднике! Мое великорусское сердце сжимается от боли: ведь убили же! Это же несчастье, чье-то горе непоправимое, а тут...

А тут — с такой же непоколебимой эпичностью:

«Оказывается, в ночь моего возвращения в дом сестры отец нашего зятя с сыновьями, находящимися в селе (они были взяты сельчанами на поруки), убили кровника...»

Нет, в мое сознание это никак не укладывается: там убили, тут убили... И так эпически спокойно! С оглядкой на нас: вы там, может, сходите с ума от каждого трупа, а у нас, у горцев, это тысячелетний образ жизни! Жизни, в которой смерть — деталь векового обычая. И нечего вам лезть в наши тысячелетние традиции с вашими законами!

Так ведь лезет же российская полиция: пытается навести здесь свои порядки! И мальчишку, втянутого в вековые кроваво-родственные разборки, тащит в тюрьму как соучастника: выдернув из родного Дагестана, пускают по этапу в русскую провинцию. На исправление!

Нельзя сказать, что этот *этап* так ужасен, как грядущий ГУЛАГ, хотя разлука с малой родиной, естественно, переживается мальчишкой как беда! Но он к этой беде привыкает: с интересом подсчитывает, сколько кандальников в пешем строю связывают одной цепью... И следует этой вот цепью в неведомую Тульскую губернию, учась у арестантов русской разговорной речи и... проникаясь новым ощущением причастности к огромной, великой, бескрайней русской реальности.

Проникаясь этим ощущением, пятнадцатилетний лезгин добирается в Тульской губернии до Крапивинского уезда, и тут происходит эпизод, определивший всю его дальнейшую судьбу.

«...Почтовая контора была расположена от станции недалеко, на расстоянии 150-200 сажен. Я помогал Юдину грузить обширную почту. С работой мы управились быстро и уже садились в коляску, когда я увидел, что Егор Иванович смотрит куда-то вдаль, где по дороге, в клубах пыли, к станции мчались два всадника. Юдин схватил меня за локоть:

— Что такое? — спросил я.

— Ты слышал когда-нибудь на Кавказе про великого писателя Льва Николаевича Толстого?

— Да, слышал. Там его все уважают. А мне про него рассказывал в тюрьме политзаключенный Сергей.

— Вот он, с большой бородой, Лев Николаевич Толстой, — сказал Юдин.

— А кто этот юноша в кавказской форменной одежде, что стоит возле пролетки? — спросил Лев Николаевич у Юдина, указывая на меня.

— Это юноша из далекого горного аула Дагестана, — отвечал Егор Иванович.

— А как же он попал сюда?

— Сейчас он мой помощник по хозяйственным делам, а так он находится под надзором полиции.

Лев Николаевич с интересом на меня посмотрел, а затем повернулся к Юдину.

— А по какому же делу он находится под стражей? — спросил он.

— По делу за соучастие в убийстве кровника, — ответил Юдин.

— Вот как! — неопределенно произнес Толстой. — А он может говорить по-русски, если я с ним поговорю?

Егор Иванович кивнул головой и повернулся ко мне.

— Магомед! С тобой хочет поговорить великий русский писатель Лев Николаевич Толстой.

Я стоял молча. Конечно, я слышал о Льве Николаевиче Толстом. О нем много говорили политические, с которыми мне довелось сидеть, что есть такой писатель граф Толстой, который часто помогает арестантам, защищает их права.

Знал я и от тюремных стражников, что Толстой пишет книги, которые читают люди во всех странах мира. И вот теперь я растерялся и не мог вымолвить ни слова.

Тогда Лев Николаевич подошел ко мне, поздоровался за руку и спросил:

— Вы из какой местности?

— Я — из Дагестана.

— Кто вы: аварец, кумык или лезгин?

— Лезгин, — ответил я»...

Что, Толстой вот так выспрашивает обо всех, кого полиция гонит мимо Ясной Поляны? Нет, конечно: на всех внимания не хватит. Но 15-летний юнец — в горской одежде. И этого достаточно, чтобы Толстой замер, прислушиваясь к своим чувствам...

Русско-кавказская драма — тема всей его жизни. От «Казаков» застрельных — к хрестоматийному «Кавказскому пленнику» — и до многострадального «Хаджи-Мурата»...

Когда дело касается кавказцев (дополняет комментатор), Толстой замолкает и вслушивается в себя...

Что же до юного лезгина, то его Толстой немедленно извлекает из ведения полиции, оформляя на имя своего сына Андрея Львовича поручительство, и зачисляя Магомеда в штат Ясной...

Судьба определяется. Теперь он живет поочередно то у Толстого (где выполняет поручения самой графини Софьи Андреевны), то в имении Андрея Львовича (с которым находятся у него точки содружества, например в охоте).

У юного горца обнаруживается талант рисовальщика — Татьяна Львовна дает ему уроки, и он оставляет нам несколько картин, в которых увековечено его общение с Толстыми.

Главное же: он старательно записывает все встречи с великим писателем, не прибавляя ни слова и не упуская ни вздоха...

И эти записи драгоценными зернами входят в русское толстоведение.

Я воспроизведу один эпизод.

«Вдруг нам навстречу выехал на повозке яснополянский крестьянин. Он остановил свою лошадь около большой кучи сухостойного дерева, которую он собрал в толстовском лесу. Не видя нас, он начал ее грузить на свою телегу. Но груз был большим и тяжелым.

Вдруг крестьянин заметил Толстого и быстро, кланяясь, подошел к нему и стал просить прощения за порубленный сухостой.

— Простите, ваше сиятельство, — говорил он быстро и низко кланяясь.

— Ничего, ничего, Василий. Я помогу тебе погрузить, а то дрова тяжелые, — сказал Лев Николаевич и слез с лошади, и мы с доктором тоже слезли и стали помогать Василию грузить дрова на телегу.

— Скорей поезжай, чтобы управляющий тебя не увидел..

Василий постарался уехать побыстрее. А мы опять сели на своих лошадей, и, оборотясь ко мне, Толстой сказал:

— Магомед! Скажи черкесу-объездчику, пусть он не обижает крестьян за порубку сухого леса.

До самого дома Лев Николаевич не произнес больше ни слова. Около конюшни мы простились. Он поехал дальше в усадьбу».

Что же, Толстой так-таки и не знает о запрете крестьянам собирать сухостой в его роще? Если он и не был инициатором такого запрета, то уж наверняка о нем осведомлен. И что же? Толстой предпочитает, чтобы крестьяне нарушали запрет!

И то, что Толстой после этой сцены замыкается и не говорит больше ни слова, — показательно. И для характера Толстого, и для ситуации. Можно вырабатывать для человечества пути противления или непротивления злу, но когда дело доходит до конкретных лиц, интуиция немедленно берет свое.

Книга Магомеда Эфендиева неотменимо входит в круг чтения русских людей, на Толстом воспитанных. Я думаю, что каждый раз, открывая исповедь лезгина, спасенного Толстым от полицейской опеки, русский читатель ощутит не холод прощанья (с которого я начал), а тепло встречи. И скажет:

— Здравствуй, Магомед!

Summary

Four authors present the prose section of this issue.

Oleg ERMAKOV. The Adventure Is Strange. Long short story

One more returning of the writer to Afganistan with the story of men's friendship and searching for oneself. «People asked sometimes: aren't you brothers? … We wanted to fight for ideals … 2005: my friend is dead». On the anniversary of his death the protagonist has a dream: «I asked Andrej about the posthumous existence. And suddenly instead of him two round loaves appeared, newly-baked, sprinkled with caraway…»

Vladimir MEDVEDEV. Fly with the Wind

«Love is an iron chain you voluntarily fasten yourself to some person with…» Bitter meditations of the woman-protagonist over the slavery — forced and free-will. The scene of action is the Caucasus today.

Roman SENCHIN. To the Husband. Short story

«It's seven years now that Marina meets Eugenij for three days two times a year. Two years — at one zone, and five years — here». But there will be no rendezvous any more.

Alexander BLINOV. Tanjerine-Bird. Italian diaries and tales

All and everything become the characters of this new mythology: stars and God, children and animals, old olive-tree and sultry beach, the deceased, carabineers and even bikes — angels are cycling on them by nights.

Poetry

«Human is a participator of miracle» — this phrase from a poem by Sergej PAGIN consolidates the works of all the very different poets of this issue: the reserved philosophical lyrics by Sergey Pagin himself from Moldova, impressions and metaphysical miniatures by Inga KUZTETZOVA, nostalgic «Lermontovian» cycle by German VLASOV and religious poems by Natalia LYASKOVSKAYA.

Gennadij PRASHKEVICH, Alexej BUROV. About Comprehension

A writer and a physicist are discussing the motive forces of the cognition.

Alexander DJUMAEV. Brushwood for the Fire

Interrelations of Christian and Muslim civilizations have aggravated in many regions of the world. Mutual ignorance is turning out to be a destructive element which will be accumulating until it meets the united and purposeful counteracting independent of confession, class, social and civilization distinctions. Thus is the main thesis of the author.

Oleg KHLEBNIKOV. Three Fathers and Many Uncles

O. Khlebnikov is a favourite of literary fortune. He published his first poems at the age of 17 and the first book — at the age of 21. The best poets of those times were nursing him. Now the poet grown wise with the life is recalling his teachers and literary Moscow of those years in his documentary.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

на его странице в Живом журнале

http://drujba-narodov.livejournal.com/

и в Журнальном зале

http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8

Верстка Елены ЖИРНОВОЙ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»